ЮЛИУС
ФУЧИК

1

ПОЛИТИЗДАТ





ЮЛИУС ФУЧИК

ИЗБРАННОЕ

Книга 1

ПОЛИТИЧЕСКИЕ
СТАТЬИ
И РЕПОРТАЖИ

РЕПОРТАЖ
С ПЕТЛЕЙ НА ШЕЕ

ПОСЛЕДНИЕ
ПИСЬМА

Москва
Издательство
политической
литературы
1983

84(4Че)
Ф9€

Фучик Ю.

Ф96 Избранное. Кн. 1.— М.: Политиздат, 1983.— 416 с., ил.

Сборник избранных произведений национального героя Чехословакии, пламенного антифашиста, коммуниста Юлиуса Фучика издается в двух книгах. В первую книгу вошли «Политические статьи и репортажи», а также его политическое завещание — «Репортаж с петлей на шее» и последние письма из гестаповских тюрем.

Ряд материалов публикуется на русском языке впервые.

Книга рассчитана на массового читателя.

Ф $\frac{0900000000-053}{079(02)-83}$ **КБ—39—4—82** **84(4Че)+66.61(4Че)**
И(Чехосл)+3КИ1

© ПОЛИТИЗДАТ, 1983 г. Составление. Предисловие. Перевод на русский язык отдельных статей. Комментарии



Юлиус Фучик



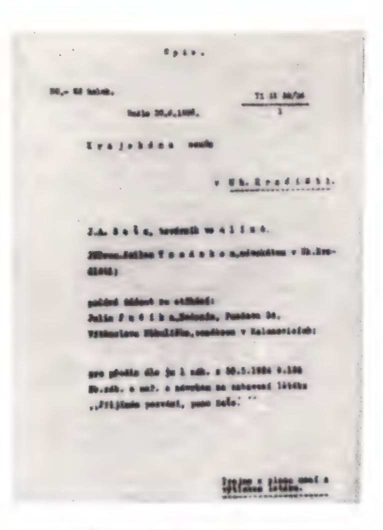
Юлиус Фучик в детстве



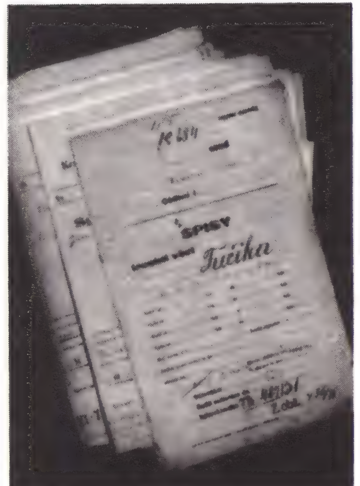
Юлиус и Густа Фучиковы



Ю. Фучик среди бастующих рабочих в г. Мосте (1932 г.)



Судебный иск промышленника Бати к Ю. Фучику



Дела судов буржуазной Чехословакии с обвинениями Ю. Фучика в «подрывной» деятельности



tvorba

16

roč. IV.

boj na severu

obsah

Журнал «Творба», который редактировал Ю. Фучик

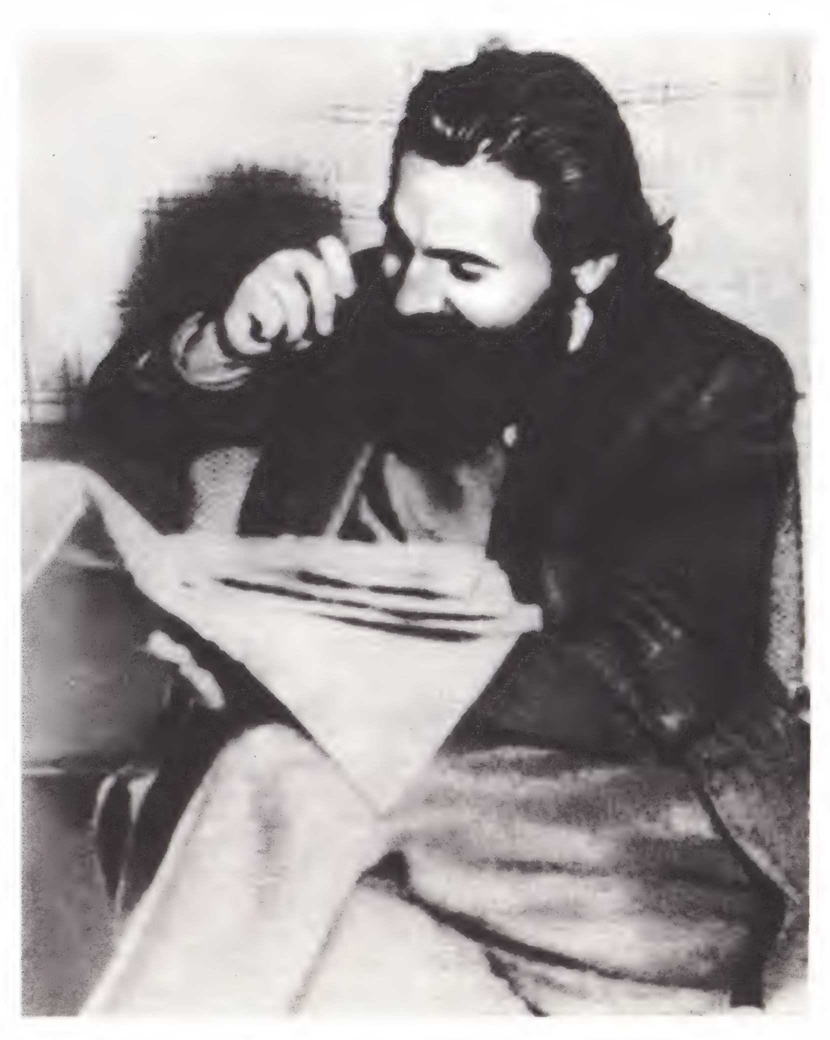
Zatykač.

Popis osoby

Ордер на арест Ю. Фучика (1934 г.)



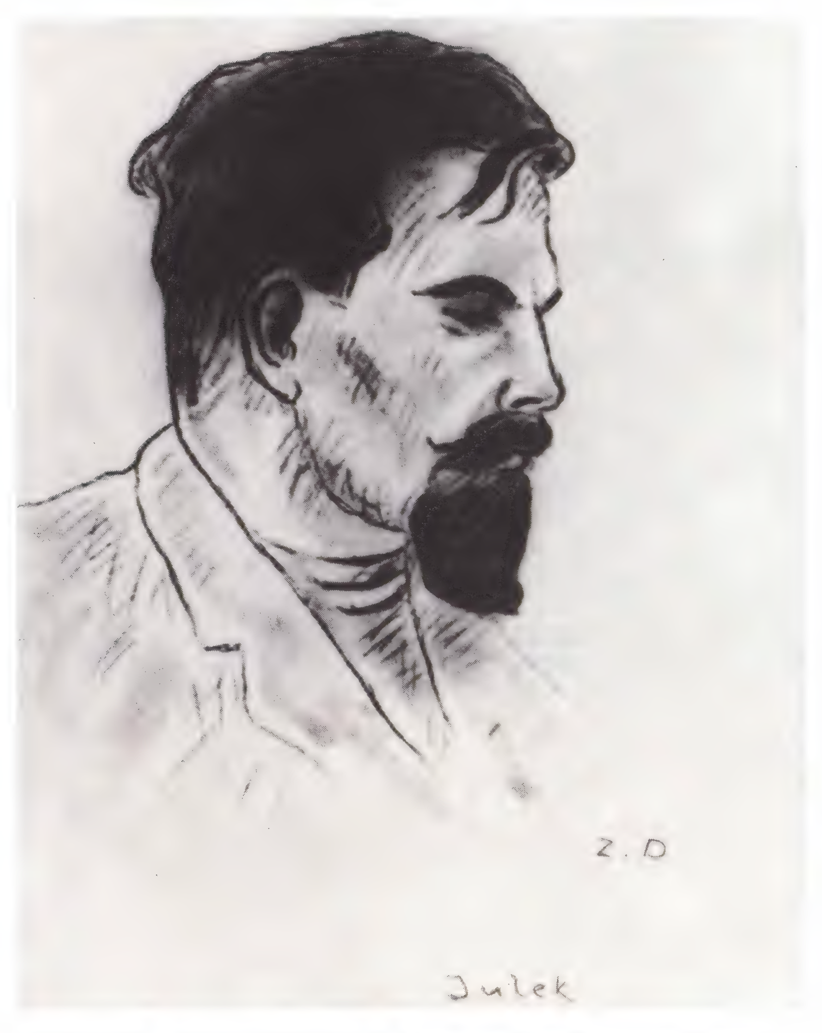
*Документ Ю. Фучика
на имя Карела Мареша
(1934 г.)*



Ю. Фучик на нелегальном положении во время немецко-фашистской оккупации



Удостоверение Ю. Фучика на имя учителя Горака



Портрет Ю. Фучика, сделанный З. Дворжаком, находившимся с ним в заключении (осень 1942 г., гестаповская тюрьма Панкрац).



Гестаповская тюрьма Панкрац

Последнее письмо Ю. Фучика



Strafgefängnis Plötzensee in Berlin, den 15. Sep. 1943 19 — 20

Fernruf: Hausanschl.:

Strafgefängnis Plötzensee in Berlin

Gefgb. Nr.: 1320/43
(bei allen Schreiben anzugeben)

Zum dortigen Geschäftszeichen:
8a J. 91/43

An den Herrn Oberreichsanwalt
beim Volksgerichtshof
in Berlin

17. SEP 1943

Mitteilung des Abganges eines Gefangenen oder Verwahrten
(Nrn. 207 Abs. 1, 208 Abs. 3 VollzO)

Familienname: Fučik
(bei Frauen auch Geburtsname)
Rufname: Julius
Zuletzt ausgeübter Beruf: Schriftsteller
Geburtstag: 23. 2. 03
Geburtsort: Prag
Staatsangehörigkeit:

Rassen- bezw. Volkszugehörigkeit:
Familienstand:
Zahl der Kinder:
Letzte Wohnung vor der Aufnahme zum Vollzuge:

ist am 8. 9. 1943, Uhr — in der Sache
entlassen — und — hingerichtet — zu — über — geführt — worden —
verbleibt für Geschäftszeichen:

Протокол о казни Ю. Фучика



Чехословацкий народ
чтит память Юлиуса Фучика

К СОВЕТСКОМУ ЧИТАТЕЛЮ

История каждого народа представляет собой не просто совокупность событий, это — прежде всего живая хроника, рассказывающая о борьбе, мечтах, стремлениях людей, а также о судьбах и делах выдающихся личностей, имена которых вошли в историю и о которых всегда вспоминают с гордостью и любовью, с глубоким уважением и восхищением. К таким людям в новейшей истории Чехословакии принадлежит и Юлиус Фучик, герой чехословацкого народа, который всем своим сердцем и разумом непоколебимо стоял на стороне справедливого дела рабочего класса, всех трудящихся.

Прогрессивным людям всего мира известен его жизненный путь — путь выдающегося журналиста-коммуниста, писателя и литературного критика. Особенно хорошо известна его бесстрашная героическая борьба в наиболее тяжелый для нашего народа период нацистской оккупации, борьба, в которой он принес самую большую жертву — собственную жизнь.

Юлиус Фучик родился 23 февраля 1903 года в Праге и пал смертью героя 8 сентября 1943 года. Руки фашистских палачей, которые оборвали его жизнь, не смогли уничтожить завет, оставленный им нынешним и будущим поколениям. Юлиус Фучик был коммунистом, человеком, который горячо любил жизнь. Он был неутомимым, страстным борцом за идеалы социализма и коммунизма, за установление социально справедливого общественного строя, в котором творческие силы народа и каждой отдельной личности могут найти свое полное применение и развитие.

Фучик пал в неравной борьбе с нацистскими оккупантами, когда ему было всего лишь сорок лет. Однако величие его жизни измеряется не количеством прожитых им лет. Оно определяется его делами, его решительной, последовательной борьбой в рядах КПЧ за освобождение человека труда от капиталистического гнета и эксплуатации, за победу социализма.

Свою короткую жизнь он прожил в историческую эпоху, которая характеризовалась исключительной динамикой общественного развития, быстрым ходом событий, вносящих коренные изменения в международную жизнь. Это был исторический период, в котором победа Великой Октябрьской социалистической революции явилась решающим переломом в новейшей истории человечества. Она открыла историческую эпоху постепенного перехода к социализму. Победа Октябрьской революции, образование, упрочение и быстрое развитие первого в мире социалистического государства — Союза Советских Социалистических

Республик были огромной вдохновляющей силой, притягательным примером в справедливой борьбе рабочего класса и широчайших масс трудящихся всего мира. Это стало могучим импульсом для дальнейшего усиления классовых битв в странах развитого капитализма и для национально-освободительного движения порабощенных народов в колониальных империях в Азии, Африке и Латинской Америке, укрепило их убежденность в том, что победа в этой борьбе не является вопросом далекого будущего и недостижимой целью, а реальной перспективой.

Эти решающие события в Стране Советов глубоко коснулись и жизни Чехословакии. Они оказали могучее влияние на борьбу рабочего класса, широких трудящихся и эксплуатируемых масс нашей родины, во главе которых со времени своего основания в 1921 году уверенно шла Коммунистическая партия Чехословакии.

В эту динамичную, бурную эпоху формировались, проверялись и закалялись политические взгляды и черты характера Ю. Фучика. В крупных классовых конфликтах буржуазной Чехословакии он быстро политически вырос в убежденного коммуниста, интернационалиста. Свои способности, преданность и мужество политического работника партии, свое острое перо коммунистического журналиста и публициста он полностью отдал делу КПЧ, ее борьбе за лучшую, социально справедливую жизнь для человека труда, за познание и распространение правды о Советском Союзе, против лавины антисоветской клеветы и вымыслов, распространяемых буржуазными политиками и буржуазной пропагандой. Он стоял в первых рядах

борцов против нарастающей угрозы фашизма и войны, в защиту независимости Чехословакии, а позднее и в борьбе с нацистскими оккупантами, за сокрушение фашизма и восстановление нашей национальной свободы и государственной самостоятельности на новых, справедливых, народно-демократических принципах.

Этот сборник позволит советскому читателю еще ближе познакомиться и больше узнать о Юлиусе Фучике, который внес выдающийся вклад в развитие революционного рабочего движения, чехословацкой культуры, наших народов и народностей. Чехословацкие коммунисты, вся чехословацкая общественность высоко ценят то огромное внимание, которое уделяется в Советском Союзе памяти Юлиуса Фучика, то уважение, которое питает советский народ к его творчеству и борьбе за лучшую, более счастливую жизнь человека труда.

* * *

Юлиус Фучик родился в рабочей семье и формировался в рабочей среде. Он прочно сросся с борьбой трудящихся против социальной и национальной несправедливости, с проявлениями которой в тогдашней буржуазной Чехословацкой республике Ю. Фучик встречался на каждом шагу. Это привело его к тому, что он вскоре после основания Коммунистической партии Чехословакии, еще в 1921 году, стал ее членом. В последующие годы он работал вместе с Яном Швермой, Эдуардом Урксом, Куртом Конрадом, Ладиславом Штоллом, Владимиром Климентисом, Ладиславом Новомеским, Яном Крейчим, Йозефом Рыбаком, с це-

лой плеядой коммунистических публицистов, редакторов, поэтов и критиков периода между двумя мировыми войнами. Его учителями были такие известные деятели чехословацкой прогрессивной демократической культуры, как Зденек Неедлы и Ф. Кс. Шалда, основатель современной чешской литературной критики.

Можно было бы долго рассказывать о жизни и творчестве Юлиуса Фучика, наполненных борьбой за свободу человека, против нищеты эксплуатируемых, грубости эксплуататоров, мелкобуржуазной реакционности, фашизма, за новую, лучшую жизнь трудящегося человека. Можно было бы много писать о нем как о выдающейся личности, оставившей глубокий след в развитии чехословацкой современной журналистики, литературы, литературной критики и истории. Его творчество, в котором он с огромной восприимчивостью продолжил прогрессивные традиции и дух чешского национального возрождения, зрело вместе с историческим опытом чехословацкого народа 20—30-х годов.

Не было, пожалуй, ни одного заметного события в общественной жизни, ни одного столкновения между пролетариатом и буржуазией, на которые бы Фучик не откликнулся в своих репортажах, публицистической и литературной деятельности.

Достаточно вспомнить о его деятельности в качестве главного редактора журнала «Творба», который он превратил в боевой культурно-политический еженедельник, или редактора газет «Руде право», «Руды вечерник» и «Гало-Новины». При этом характерной чертой Фучика —

журналиста-коммуниста было то, что в каждом репортаже о важных событиях он опирался непосредственно на личные наблюдения. Например, в 1931 году он едет в Духцов, где буржуазный аппарат насилия совершил кровавое преступление. В то время как буржуазная печать обошла молчанием стрельбу в рабочих, Фучик написал волнующий репортаж, в котором выразил негодование рабочих и всей демократической чехословацкой общественности. Точно так же в 1932 году, когда в Чехословакии вспыхнула большая мостецкая забастовка и весь шахтерский север пришел в движение, Юлиус Фучик выехал в Мост и несколько недель провел с забастовщиками. К этой поездке в Мост он привлек и писателей Марию Пуйманову, Карла Нового, поэта Витезслава Незвала для того, чтобы они непосредственно на своем опыте прочувствовали атмосферу решительной борьбы шахтеров, силу классовой солидарности трудящихся в совместной борьбе против эксплуататоров и нищету, в которой жили шахтерские семьи. В его подходе вновь в полной мере проявилось то, что он написал еще в 1929 году в репортаже о стачечной борьбе северочешских шахтеров «Бой на севере». Во вступлении к репортажу он писал, что в центре этих боев живет репортер. «Не ждите от него, что он будет лишь наблюдать. Не требуйте, чтобы он проявлял безучастность, которой у него нет».

Репортажи Фучика времен буржуазной республики были обвинением капиталистической общественной системе. Они, однако, содержали и нечто большее: показывали великое значение и непреодолимость солидарности рабочих

и всех трудящихся как силы, способной изменить судьбу униженного и эксплуатируемого человека. Фучик был также страстным и остроумным полемистом, обнажавшим перед рабочими-читателями истинную сущность эксплуататорской агрессивной политики империализма и фашизма, уличавшим мещанскую печать — послушный инструмент этой политики.

Юлиус Фучик неразрывно связал свою жизнь и деятельность с борьбой Коммунистической партии Чехословакии. Он полностью разделял ее судьбу и на решающих рубежах ее развития всегда знал, где его место. Это подтвердило и его отношение к V съезду Коммунистической партии Чехословакии, состоявшемуся в 1929 году, на котором во главе руководства партии стал Клемент Готвальд. Юлиус Фучик решительно и однозначно находился на позициях готвальдовского крыла. Он относился к людям, ясно понявшим исторический смысл действительно революционной линии, которую КПЧ начала решительно проводить после своего V съезда. Поэтому за ее последовательное претворение в жизнь и развитие он боролся не только как работник культурного фронта, художественный критик, но и как политический публицист.

Вся жизнь Фучика-коммуниста, его участие в политической и социальной борьбе партии — это выражение многократно проверенной историей правды о том, что основу ее силы и боевых успехов составляют прочные связи с трудящимися, с широчайшими народными массами, которые являются действительным носителем, творцом и наследником прогрессивных традиций народа. Фучик уделял

много внимания и усилий постоянному обновлению и укреплению этих связей, опирающихся на то, что партия понимает и выражает интересы трудящихся, борется за них.

Поэтому он всегда находился в самом тесном контакте с простыми людьми, изучал их жизнь и жил их действительными проблемами и заботами.

* * *

Значительное место в жизни и творчестве Юлиуса Фучика занимают его произведения о Советском Союзе, в которых с необычайной увлеченностью и пониманием исторического значения возникновения первого государства рабочих и крестьян для дальнейшего мирового развития убедительно раскрывает преимущества социалистического строя и его значение как будущего и молодости всего человечества. После Великой Октябрьской социалистической революции и в период между двумя мировыми войнами важное значение имело распространение правды о Стране Советов. Недруги Советского Союза, закоренелые враги идей марксизма-ленинизма не гнушались, как это они делают и сегодня, использовать любые средства для того, чтобы очернить первое в мире социалистическое государство, обмануть трудящихся своих стран, распространяя клевету и измышления о жизни советского человека. В подобном духе действовали чехословацкая буржуазия и ее прислужники.

Коммунистическая партия Чехословакии, прогрессивные силы наших народов защищали и распространяли правду о Советском Союзе, о стране, где утверждалась но-

вая жизнь — без капиталистов, безработицы и нищеты, без угнетения, эксплуатации и войн. Мы испытываем гордость оттого, что и в нашей прогрессивной литературе в 20—30-е годы появились произведения этого направления, являющиеся убедительными политическими и художественными документами, рассказывающими об историческом развитии Советского Союза. Их авторами были такие выдающиеся представители нашей политической и культурной жизни, как Зденек Неедлы, Богумир Шмераль, Иван Ольбрахт, Станислав Костка Нейман, Мария Майерова, Петр Илемницкий, Мария Пуйманова и другие. Одно из самых почетных мест среди них занимает Юлиус Фучик, чье пламенное, искреннее отношение к Советскому Союзу хорошо известно. Еще в статье, написанной к 10-й годовщине Октябрьской революции, можно прочитать: «Отношение к русской революции является для нас мерилом силы личности и ее способности трудиться в современном мире».

Ю. Фучик дважды посетил Советский Союз. Первый раз в 1930 году с рабочей делегацией, которую пригласил чехословацкий производственный кооператив «Интергельпо» в Среднюю Азию по случаю празднования 5-й годовщины со дня создания кооператива. Второй раз он приехал в Советский Союз летом 1934 года в качестве корреспондента «Руде право», первого московского корреспондента чехословацкой коммунистической печати. Вместе с Ладиславом Штоллом он работал и в редакции московского радиовещания на Чехословакию. Он находился в Советском Союзе двадцать месяцев.

Его литературное и публицистическое творчество о Советском Союзе базируется на непосредственно пережитых личных впечатлениях от многочисленных встреч с советскими людьми, которых Фучик полюбил и которые любили Фучика. Он принимал участие в партийных собраниях на московской фабрике «Большевик» и на других предприятиях. Когда он писал репортаж о строительстве метро, сам добровольно работал под землей. Он посещал семьи рабочих, постоянно открывал новые черты, присущие советскому человеку, и находил их в самоотверженности, каждодневном героическом труде, который не был проявлением личных, корыстных целей, а был продиктован стремлением участвовать в строительстве социалистического общества. Собственными глазами он видел огромные изменения, которые вызвала революция в советской Средней Азии, где социализм создал условия для расцвета национальной литературы и языка, систему образования, где возникли новые современные города и целиком изменились условия жизни людей.

При этом Ю. Фучик всегда правдиво писал как об успехах, так и о проблемах, которые сопутствовали процессу революционных преобразований советского общества. Ведь и сами советские люди, не скрывая, говорили о сложных условиях той поры, о трудностях, которые необходимо преодолеть. Однако они сознавали, что это трудности роста, которые остро контрастировали с общим положением, условиями и перспективами жизни трудящихся в капиталистическом мире, охваченном глубоким кризисом 30-х годов.

То, что Юлиус Фучик увидел и ощутил в Советском Союзе, он убедительно показал в книге, названной «В стране, где завтра является уже вчерашним днем», как и в многочисленных репортажах, статьях и на сотнях собраний и бесед с трудящимися. Широкой известностью пользуется и сборник его репортажей, помещенных в книге «В стране любимой», которая вышла после освобождения нашей родины Советской Армией. Юлиус Фучик представил свое восприятие жизни Советской страны, советского народа как борьбу нового со старым, как противопоставление социалистического и капиталистического мира. Со страстной увлеченностью, стремясь донести правду о Советском Союзе, он правдиво рассказывал людям о свободной и достойной жизни советского человека, ставшего подлинным хозяином своей страны, раскрывал перед ними, как происходит процесс изменения личности этого человека, формируется его новое отношение к общественному строю. При этом он всегда вселял в других уверенность, что придет день и нашим трудящимся откроется путь к новой, социалистической жизни.

На своем примере он познал, как дорого приходится платить за правду, которую он нес людям. После своей первой поездки в Советский Союз он написал о скрытом стремлении чехословацкой буржуазии, ее государственного и пропагандистского аппарата подавить, не допустить распространения правдивых информаций о Советской стране: «Если бы наша делегация вернулась со сказками, мы бы не почувствовали уже на первом собрании, на котором

мы хотели рассказать правду, полицейские дубинки на своих спинах, наши собрания не были бы разогнаны, наши статьи не были бы конфискованы и нас бы не арестовывали потому, что рассказ о стране, живущей в волшебном безвоздушном пространстве, не представлял бы опасности.

Ведь у нас, товарищи, не совсем запрещено говорить о Советском Союзе, о нем можно лгать. О нем можно говорить полуправду. И наверняка можно было бы описывать его как рай, созданный на земле таинственными, сверхъестественными существами. Потом было бы легко сказать — смотрите, рабочие и русский пролетариат дождались! Они надрывались, подвергались эксплуатации, страдали и посмотрите-ка — неожиданно получили рай! Вы тоже ждите и дождетесь, будущее вам даст то, что вам принадлежит.

Мы могли бы говорить, и никто бы нас не понимал. Это никого бы не касалось. Но мы видели не дело рук справедливых богов. Мы видели нечто большее, многим большее. Мы видели советских рабочих, строящих новый мир, новое, социалистическое общество. И ничего им с неба не упало. Никто им ничего свыше не преподнес. Они сами должны были все взять, завоевать и строить».

В репортажах Фучика всегда открыто, ясно и определенно выступают черты принципиальной, классовой позиции. Это он вновь ясно выразил и после своего второго возвращения из Советского Союза в 1936 году, когда написал: «Я прожил в СССР почти два года и привык к этой жизни... За те два года здесь прошли исторические десятиле-

тия, в период которых мечта превращается в действительность. На моих глазах вырастало то, за что мы только боремся и о чем мы еще только мечтаем».

Юлиус Фучик познал жизнь в Советском Союзе при социализме, где хозяином является сам трудящийся народ. В мае 1936 года он вернулся в капиталистический мир, в буржуазную Чехословакию, в которой правил капитал, плодящий кризис и массовую безработицу. Глаза, привыкшие видеть огромное счастье освобожденного труда, вновь видят капиталистическую Чехословакию и Европу, потрясаемые в своих основах экономическим кризисом и опасностью фашизма.

Пребывание Юлиуса Фучика в Советском Союзе означало для него, как он сам неоднократно заявлял, важный этап в его жизни и творчестве, оно окончательно убедило его в непобедимости социализма и коммунизма, их исторической неизбежности и созидательной силе.

В 30-е годы, в результате наступления фашизма, с возрастанием его агрессивности, перед коммунистическим и рабочим движением встали новые важные задачи. Обстановка объективно требовала мобилизации сил для противостояния ширящейся фашистской опасности, развития интенсивной борьбы за укрепление единства рабочего класса и создания широкого антифашистского и антивоенного фронта. Важную роль в обосновании и осуществлении этой линии сыграл VII конгресс Коммунистического Интернационала, который состоялся в 1935 году в Москве. Коммунистическая партия Чехословакии творчески претворила в жизнь эту линию в условиях нашей страны как политику

единого народного фронта защиты независимости чехословацкого государства. Такой подход был в условиях нашей страны тем более необходим потому, что Чехословакия непосредственно соседствовала с фашистской Германией, а в рядах чехословацкой буржуазии проявлялись сильные профашистские тенденции.

И в этот исторически ответственный период растущей опасности фашизма и войны Юлиус Фучик, как и сотни тысяч самоотверженных борцов, которым была дорога судьба родины, наших народов, хорошо знал, где его место. Полностью и безоговорочно он включился в непосредственную борьбу КПЧ и других патриотических сил с фашизмом. Эта борьба означает для него борьбу за завтрашний день. Так он сформулировал свои позиции в 1938 году и добавил: «...это дает нам силу, уверенность, отвагу и решительность в сто раз большую, чем кому-либо иному. И это нас также объединяет со всеми подлинными демократами...»

В этом духе Юлиус Фучик активно помогал проводить линию партии. Он боролся за разоблачение фашизма во всех его проявлениях и видах, вскрывал его истинные корни и причины. Этим он внес свой большой вклад в мобилизацию всех здравомыслящих людей на сопротивление бесчинствам фашизма. Бороться против фашизма значило для Фучика выступать против любых компромиссов с ним. Позже, особенно в период Мюнхена, это значило противостоять как пораженческим настроениям, так и пустым иллюзиям и показывать реальные силы и возможности в борьбе с грозящей опасностью.

Юлиус Фучик и в ходе борьбы с фашизмом не довольствовался информацией из «вторых рук». Он отдавал предпочтение собственному опыту очевидца. Несмотря на то что его разыскивала чехословацкая полиция, он в начале июля 1934 года посетил нацистскую Германию.

Когда из Австрии пришли вести об антифашистском восстании венских рабочих, он нелегально приехал в Вену и написал для газеты «Гало Новины» «Историю пяти дней гражданской войны».

Ю. Фучик писал о Лейпцигском процессе, об опыте немецкого пролетариата после захвата власти Гитлером, о заговоре Франко против Испанской республики и о событиях гражданской войны. Он разоблачал и осуждал вероломную политику западных держав, рассматривающих гитлеровский режим как ударную силу против Советского Союза, и капитулянтство чешской буржуазии перед фашистской экспансией.

После оккупации оставшейся части Чехословакии гитлеровской Германией 14—15 марта 1939 года и ухода КПЧ в глубокое подполье Ю. Фучик использовал любую легальную возможность для того, чтобы ответить на вопросы, которые ставило перед чехословацким народом суровое время. Он боролся за формирование мировоззрения простых людей, указывал им правильный путь в сложной социально-политической борьбе. Он уделял большое внимание молодежи. Снова вел полемику, хотя на сей раз таким образом, чтобы истинный смысл его публикаций и статей был скрыт от цензуры, но не от читателей, которых призывал к борьбе против фашистских оккупантов.

Борьба Ю. Фучика против фашизма достигла кульминации в 1940—1943 годах. После ареста членов первого нелегального центрального руководства КПЧ Ю. Фучик вместе с Яном Зикой и другими видными работниками партии стал членом второго нелегального центрального руководства КПЧ. Он отвечал за издание партийной печати, в первую очередь газеты «Руде право», и за партийную пропаганду. Редактирование нелегально издаваемого «Руде право» явилось в журналистской работе Ю. Фучика периодом интенсивного, исключительного творчества. Этот период в то же время знаменовал собой один из кульминационных этапов в истории коммунистической печати в Чехословакии.

В борьбе против фашистских захватчиков Ю. Фучика вела и придавала силы твердая вера в конечную победу справедливой освободительной борьбы народов. После вероломного нападения нацистов на Советский Союз эта вера превращается в уверенность. Для первого нелегально изданного номера «Руде право», который он сам редактировал и который вышел в середине июля 1941 г., Ю. Фучик написал статью, где с величайшим предвидением охарактеризовал нападение гитлеровской Германии на Советский Союз как действия «азартного игрока, стоящего на краю пропасти и поставившего все на единственную карту в безумной надежде, что эта карта каким-то чудом не будет бита». И далее продолжал: «Но в истории не бывает чудес. Эта карта будет бита, и ее уже бьют».

Нелегально издаваемое «Руде право» в тот период, когда Ю. Фучик был редактором, давало анализ положения

внутри страны и за рубежом, неустанно призывало к борьбе против фашизма. Сообщало о боях Красной Армии, о деятельности нашей партии в стране и о работе находившегося в СССР руководства КПЧ по организации движения Сопротивления. В статье, приветствующей заключение соглашения между Чехословакией и СССР о взаимной помощи и сотрудничестве в борьбе против нацизма, Ю. Фучик писал: «Красная Армия сражается и за нашу свободу. Делайте все, чтобы она победила как можно скорее, ибо ее победа является и нашей победой». Ю. Фучик написал и нелегально издал и другие острые антифашистские статьи, а в открытом письме, адресованном нацистскому министру пропаганды Геббельсу, горячо защищал честь и демократический характер чешской культуры, ее сопротивление фашистскому произволу и насилию. Борьба Ю. Фучика против фашизма не окончилась с его арестом. Он продолжал ее и в нацистских застенках. Лицом к лицу с гестапо, мучениями, со смертью Ю. Фучик не покорился. Он жил, а жить для него означало бороться, работать, писать. Так в камере № 267 панкрацкой тюрьмы создавался знаменитый «Репортаж с петлей на шее».

Так же как кульминацией жизни Ю. Фучика являлось его активное участие в антифашистском Сопротивлении, так и кульминацией его литературного творчества является эта книга, небольшая по объему, но исключительная по своим мыслям и содержанию. Она, бесспорно, вошла в золотой фонд чехословацкой литературы. Условия возникновения «Репортажа с петлей на шее» хорошо известны. От момента ее написания нас отделяют сегодня почти

четыре десятилетия. Время, однако, не ослабило ее значимость, а только усилило и подтвердило ее доходчивость и близость людям двадцатого столетия. Людям, живущим в капиталистическом классово разделенном обществе, в условиях угрозы ядерной катастрофы, в мире, где социализм и коммунизм, как и при жизни Ю. Фучика, являются единственной надеждой и оплотом мира, победой жизни и творческого труда. «Репортаж с петлей на шее» не утратил своей глубокой правдивости. Десятки тысяч людей во всем мире и сегодня читают его с волнением, любовью и уважением. Он неустанно зовет к борьбе против фашизма, за социальную и национальную справедливость, за гуманизм. Учит понимать, что такое коммунизм, учит мужеству, героизму и человечности. Является убедительным свидетельством того, какую моральную силу и твердость характера дают человеку идеалы социализма и коммунизма.

* * *

Юлиус Фучик, а вместе с ним и все те, кто пал в борьбе против фашизма или погиб в нацистских застенках, обращаются к людям всего мира. К людям, которых Фучик так любил и к которым адресован его пламенный, постоянно актуальный настоятельный призыв: «Люди, я любил вас! Будьте бдительны!» Он говорит с ними о любви к родине, подводит их к пониманию и верности пролетарскому и социалистическому интернационализму, показывает им роль, которую сыграл в победе над фашизмом беспримерный героизм советского человека на фронтах Великой Отечественной войны и на трудовом фронте. Фашисты рас-

правились с Фучиком. Но правда, которую он нес и за которую погиб, зазвучала с еще большей силой. Жизнь, которую он отдал в борьбе с фашизмом, его моральная сила, оптимизм и несокрушимая убежденность в окончательной победе над фашистской чумой многократно усилили каждое его слово, глубину его жизненного познания, правдивость его мировоззрения и политической позиции.

Юлиус Фучик в своем «Репортаже» свидетельствует о важном этапе национально-освободительной борьбы чешского и словацкого народов против фашизма. «Репортаж», однако, гораздо больше, чем просто свидетельство. Он является страстной полемикой с фашизмом, выражением всего, чем Фучик жил, его революционной убежденности, твердости, верности коммунизму, гражданского мужества, любви к людям, уважения к истории и страстной веры в будущее. Это манифест жизни и мира, изобличительное обвинение фашистского произвола и бесчеловечности. Фучик пишет о современности, но обращается к будущему. Своей книгой он подтверждает открытую им ранее истину: борьба против фашизма — это борьба за мир, который после поражения фашизма вновь расцветет в творческом труде, в новой радости. Фучик был глубоко и непоколебимо убежден, что этот мир будет социалистическим.

* * *

Оценивая величие личности Юлиуса Фучика, нельзя не упомянуть о его литературно-критической деятельности, являющейся составной частью его трудов, его борьбы за повышение уровня национального и социального созна-

ния, особенно в период нарастающей борьбы против фашизма и за мир. Свои знания и талант он полностью отдал на службу прогрессивной культуре. Хорошо известна его позиция по этому вопросу, сформулированная еще в 1930 году на страницах «Творбы»: литература должна быть активна по отношению к политическому движению народа, особенно рабочего класса.

Значение литературно-критической деятельности Юлиуса Фучика особенно возрастает в период кульминации борьбы за прогрессивный, демократический характер зарождающегося социалистического искусства. Фучик отдавал себе отчет в том, что именно в этот период обостренной политической борьбы, как никогда, актуальна постановка горьковского вопроса: «С кем вы, мастера культуры?» Именно отсюда исходят его постоянные усилия привлечь к борьбе с фашизмом и на защиту национальной культуры всех честных и мужественных художников, несмотря на разницу в их мировоззрении и художественной ориентации. Этим определяется его принципиальное неприятие и критика всего, что в сложных культурно-политических условиях того периода подрывало и ослабляло совместный фронт борьбы против фашистской опасности.

Исключительной и особенно значимой страницей литературно-критической и литературно-исторической деятельности Юлиуса Фучика было его восхищенное отношение к великим личностям и традициям чешского национально-освободительного движения. Это его отношение усиливалось по мере того, как с развитием событий в Европе и в мире нарастала фашистская опасность нацио-

нальному существованию чехов и словаков. Его интерпретация произведений таких авторов периода возрождения, как Ян Неруда, Божена Немцова, Карел Гавличек Боровский и другие, имела историческое значение. С марксистско-ленинских позиций Фучик раскрыл новые значительные страницы в их жизни и творчестве. Он приблизил их самым широким массам чехословацкого народа как самоотверженных борцов за правду, социальную справедливость, которые жили и трудились с непреклонной верой в силу перспективы и в будущее своего народа. Своим новым взглядом Фучик раскрыл перед нашим народом глубоко антифашистское, гуманистическое содержание и смысл ключевых произведений Карела Чапека.

Это вновь наглядно показало, что Фучик всегда понимал литературу не только как один из инструментов правдивого познания и отображения жизни общества, но и революционного переустройства мира. Он высоко оценивал роль литературы и искусства в политической борьбе, в формировании революционного сознания рабочего класса, в усилении национальной самобытности, в активном воздействии на общество и человека.

* * *

В памяти наших народов и в памяти всего прогрессивного человечества навсегда останется образ Юлиуса Фучика как верного сына Коммунистической партии Чехословакии, нашего народа. Как благородного человека, пламенного патриота и интернационалиста, одного из незабываемых героев антифашистского Сопротивления. Его

жизнь и творчество ясно и убедительно подтверждают, что большие художественные и человеческие ценности возникают в тесном единстве с каждодневной борьбой рабочего класса и всех трудящихся за общественный прогресс, в единстве с коммунистической партией, при глубоком понимании научного взгляда на мир и при активном участии в борьбе трудящихся.

Своим революционным гуманистическим пафосом, диалектическим единством национального и интернационального творчество Фучика представляет ценнейший источник современной культурной политики нашей партии и государства в условиях строительства развитого социалистического общества.

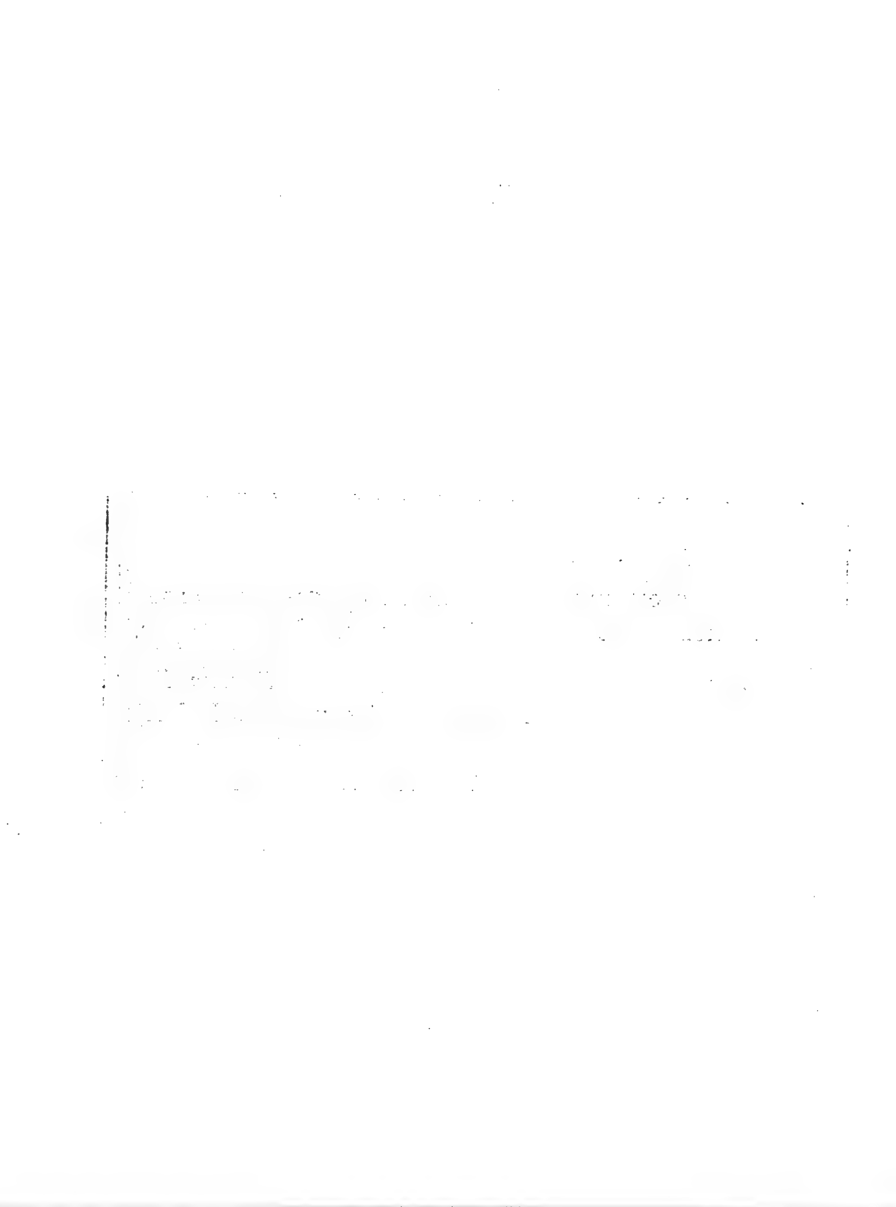
Новые и новые тиражи книг Ю. Фучика постоянно издаются в Чехословакии, Советском Союзе, во всем мире. «Репортаж с петлей на шее» уже в течение многих лет является наиболее часто переводимой чешской книгой. Ее читают увлеченно и с пониманием везде, где идет борьба против фашизма, за завтрашний день и будущее, за мир и прогресс.

Борьба Фучика была борьбой за мышление, характер и личность человека двадцатого века. Эта борьба продолжается и сегодня. И сегодня творчество Фучика, проникнутое борьбой за победу справедливого социального общественного строя, за освобождение трудящегося человека, борьбой против антисоветских и антикоммунистических кампаний буржуазии, травли, борьбой против фашизма, против войны, за свободу и мирную жизнь народов, является настоятельным обращением к актуальным и живо-

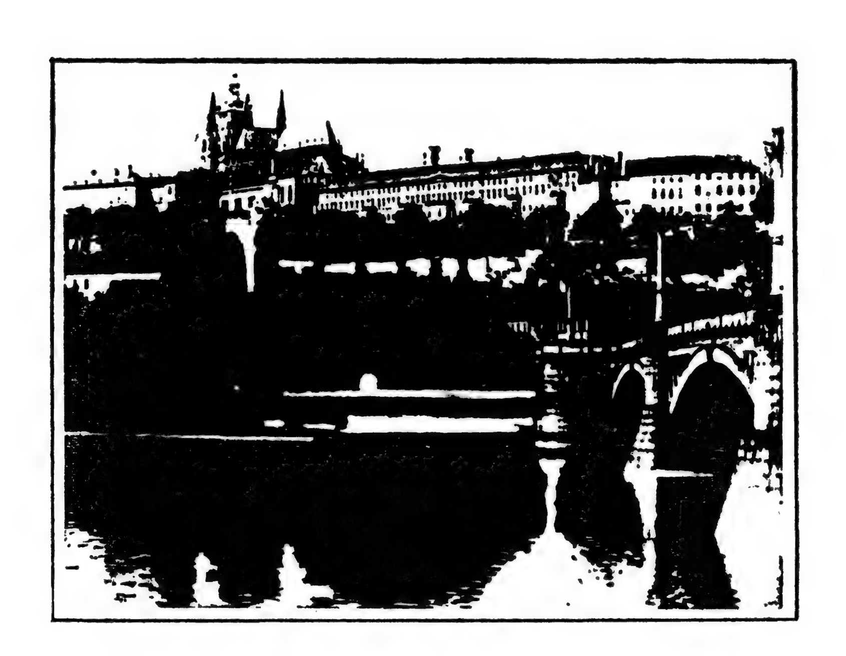
трепещущим вопросам современности. Это творчество проникнуто глубоким оптимизмом, верой в окончательную победу идей социализма. Оно опирается на несокрушимую верность марксистско-ленинским идеалам, убежденный интернационализм, познание и освоение объективных закономерностей общественного развития. Поэтому оно является чистейшим, постоянно вдохновляющим источником социалистического настоящего и коммунистического будущего.

Полагаю, что выпуск Издательством политической литературы ЦК КПСС нового двухтомника произведений Фучика к 80-летию со дня его рождения будет с большим удовлетворением воспринят советскими и чехословацкими читателями, прогрессивной общественностью и людьми труда во всем мире, за счастье которых беззаветно боролся и отдал свою жизнь пламенный коммунист, славный сын чехословацкого народа незабвенный Юлиус Фучик.

Густав Гусак,
Генеральный секретарь ЦК КПЧ,
Президент Чехословацкой
Социалистической Республики



ПОЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ И РЕПОРТАЖИ



БОЙ НА СЕВЕРЕ

Лом, 25 октября 1929 г.

Дни, скрывающиеся за завесой утренней и вечерней мглы.

Дни, убегающие быстро во время работы, не знающей дней.

Дни, которые не могут обнять все дела и события, не вмещающиеся в рамки дней.

И в это время живет репортер, отправившийся на северо-запад Чехии,— три часа, всего лишь три часа поездом от Праги,— чтобы найти там край, горящий сильным пламенем борьбы, найти неожиданную страну, полную совершенно особенных людей.

Не ждите от него, что он будет лишь наблюдать. Не требуйте, чтобы он проявлял безучастность, которой у него нет. Должно было пройти десять лет, прежде чем люди отважились возвращаться к военной теме в литературе и хотя бы создавать впечатление объективного, безучастного отношения к работе. И события на севере Чехии оставляют глубокий след в каждом, кто с ними соприкасается, заполняют его мозг и сердце.

Это — не забастовка.

Это — *война.*

В ста километрах отсюда горят световые рекламы, по улицам текут потоки людей, вертятся ротационные

машины, колеса фабрик, колеса автомобилей, вертится Прага, рабочие идут с работы и на работу, и никто, *никто* не знает, что северочешские шахтеры ведут настоящую кровавую борьбу, теснимые предательством и террором, но все-таки твердые, решительные, несокрушимые.

[Совершенство организации аппарата угнетения имело случай хорошо показать себя. Все буржуазные газеты, все социал-фашистские газеты молчат, лгут о забастовке словами и молчанием. Каждое сообщение о ней в коммунистических газетах конфискуется, телефонная связь с севером контролируется жандармами, письма с севера теряются на почте, свидетели арестовываются, полицейские комиссары разгоняют собрания, на которых слышат хотя бы упоминание о забастовке горняков на севере Чехии,— все это для того, чтобы никто не узнал, что делается в ста километрах от Праги, в краю, разрытом шахтами и закрытом завесой дыма.]

Признаюсь, что и я, отъезжая на север, находился в неведении. Машина подавления правды, создающая определенную атмосферу и настроение, произвела свое влияние и на меня. Но уже первый час пребывания в Ломе, революционном центре северочешского угольного бассейна, обнажил всю правду действительности. На севере — уже не забастовка. Это — война.

И все трудящиеся во всей Чехословакии должны на примере этой борьбы понять, что означает борьба сознательных рабочих и как она протекает.

Возникновение стачки на севере было совершенно стихийным. Боевое настроение, боевая решимость шахтеров вылилась в активное действие. Северочешский бассейн знал уже много забастовок, но не знал еще борьбы, которая бы велась с самого начала столь остро. Секретари социал-демократической, национально-социалистической партий, немецких унионистов и фашистов

с большим трудом организуют штрейкбрехерство. [Один фронт составляют они, отряды жандармов и весь государственный аппарат, а другой фронт — горняки. Лишь одни горняки, руководимые несколькими активными коммунистами, борются против всего этого аппарата, который использует подлейшую ложь, штыки, самое откровенное предательство и даже вводит осадное положение. Это — борьба на острие ножа. Десятки раненых в больнице, сотни арестованных в тюрьмах и жандармских управлениях показывают характер этой борьбы.

Шоссе, дворы шахт, улицы шахтерских деревень и городов вымощены жандармами. Штрейкбрехерская работа организована. И все-таки каждый день дело доходит до столкновений, — грязь дорог и камни мостовых становятся преждевременным одром не только для бастующих.]

(Продолжение)

Творба № 16, 30 октября 1929 г.

Примечание. 27 ноября 1929 года вместо обещанного продолжения «Творба» опубликовала следующую заметку Ю. Фучика:

БОЙ НА СЕВЕРЕ

Продолжение статьи о борьбе северочешских шахтеров, о котором напоминают уже несколько писем, необходимо пока отменить. Эти военные сообщения с поля боя рабочих приобрели такую явную нелюбовь у цензора, что нельзя даже сказать слово «штрейкбрехер», чтобы вместо него не оказался в статье белый след от раны, нанесенной карандашом цензора. А писать лирические пассажи о закопченной красоте северочешского края шахт не имеет смысла. Мы найдем иной способ

рассказать читателям «Творбы» правду об одном из самых крупных и самых поучительных боев рабочих, который когда-либо у нас был.

Творба № 20, 27 ноября 1929 г.

ПЯТЕРЫХ ОДНИМ ВЫСТРЕЛОМ

Рабочая кровь и буржуазная журналистика

На Лоховском шоссе у Радотина в воскресенье 20 апреля девять жандармов дали ружейный залп по колонне нескольких сотен рабочих, работниц и детей, шедших в Радотин. Пятеро тяжелораненых были привезены в больницу, нескольким легкораненым оказали помощь на месте.

В спешке, с которой мы помещаем это сообщение в готовый уже номер «Творбы», нет времени искать слов эзопова языка, какими необходимо писать комментарии к событиям, происходящим в капиталистических странах, чтобы после вмешательства цензуры от них не остались только рожки да ножки. Нужно, чтобы каждый понял, в какой момент дело дошло до расстрела. Нужно, чтобы каждый задумался над тем, что это связано с социал-демократией. Ведь социал-демократическое правительство Германии ровно год тому назад нашло в Цоргибеле первого человека, решившегося запретить и кроваво подавить майские демонстрации рабочих.

Пусть только каждый проследит развитие событий за последний год.

Залп будет ясным и понятным.

Но кое-что останется. Кое-что, о чем нужно говорить еще яснее, что надо ловить с поличным, добиваться, чтобы

и закон о печати в руках бандита стал ему отмщением, ибо это «кое-что» — клеветнические сообщения буржуазной и социал-фашистской прессы о радотинском кровопролитии.

Я умею читать газеты. Знаю, как они делаются. Уже довольно давно я заинтересовался историей журналистики. И нашел в ней до сих пор лишь один-единственный случай подлости столь гигантской, случай мошенничества столь огромных размеров, какой только может сравниться с тем, что вписала теперь в историю вышедшая в понедельник газета «А-Зет», являющаяся для нас самой характерной представительницей всех родственных ей фашистских и социал-фашистских органов, начиная с газеты «Пондельни лист» и кончая «Право лиду».

Первый случай произошел тогда, когда версальцы десятками тысяч убивали парижских коммунаров. Второй случай касается событий гораздо меньшего масштаба, но впечатление от него достаточно ощутимо и для человека, знающего методы буржуазной журналистики в ее борьбе против революционного пролетариата.

Я ни в коей мере не удивлен тем, что «А-Зет» и все эти остальные газеты одобрили кровавый, беспощадный расстрел рабочих. Отклики этих газет, собственно, мелочь для тех, кто решается дать приказ о подавлении демонстрации рабочих *всеми средствами*. Но методы, какими пользуются эти газеты, эта достигающая чудовищных размеров подлость производит слишком сильное впечатление, чтобы промолчать о ней или не сделать всех необходимых выводов.

«А-Зет», «Пондельни лист», «Рано» и им подобные газеты сполна воспользовались тем, что в пасхальный понедельник, согласно предписанию «Типографической беседы», было дано право выходить только им и революционная печать не имела возможности тотчас же разоблачить их подлые измышления. И они напрягли все силы, чтобы

ограничить проявления какого-либо сочувствия к тяжелораненым и умирающим, и обрушили на голову рабочих столько грубой лжи, сколько им только удалось придумать. Если бы кому-нибудь после прочтения такой вот «А-Зет» попали в руки старые венские «шмоки», травившие пражских демонстрантов двадцать лет тому назад, он был бы потрясен порядочностью, честностью и вежливостью этих изданий.

Как начинает свои сообщения «А-Зет»?

Я цитирую ее потому, что есть много людей, никогда не берущих в руки эту газету, и они лишены возможности узнать размеры ее подлости.

«Толпа коммунистов под руководством имперско-немецкого агитатора предприняла атаку на жандармский пост из девяти человек и принудила его воспользоваться служебным оружием. Было сделано всего два выстрела — один со стороны наступающей толпы и другой из карабина жандармского вахмистра, который спустил курок в ту минуту, когда находилась в опасности его собственная жизнь».

[С незапамятных времен для всех полицейских донесений о расстреле демонстрантов существует одно клише, где говорится: первый выстрел раздался из рядов демонстрантов. Этот штамп был уже, вероятно, в официальном сообщении Геродота, когда давались объяснения по поводу убийств невинных младенцев, и с тех самых пор никто не запомнит, чтобы первый выстрел имел какие-либо иные последствия, кроме ряда убитых и раненых среди демонстрантов. Вероятно, уже целое тысячелетие участники процессий и демонстраций стреляют первыми, но почему-то сами бывают убитыми и до сих пор никого еще не убили. Не кажется ли вам это странным?]

«Атака на жандармов,— продолжает далее «А-Зет»,— была организована так, что во главе ее были женщины и дети, из числа которых и оказались все пять жертв».

Смотрите-ка, атака на жандармов! И ни одного раненого жандарма, но зато пять тяжелораненых женщин и детей валяются в крови. Конечно, разве могло быть иначе, когда «во главе атаки» стоят дети? Но как все-таки могла находиться в опасности жизнь девяти взрослых и вооруженных жандармов при встрече с десяти-тринадцатилетними девочками!

Это один из пунктов, в котором подлое мошенничество «А-Зет» и ей подобных проявляется в полную меру. Факт, что впереди процессии шли маленькие дети (как это всегда бывает во время всех процессий, потому что маленькие дети, идущие медленнее взрослых, устанавливают максимальный темп движения) и что в этих маленьких детей стреляли, этот ужасный факт «А-Зет» и К° переворачивает наизнанку и использует в одной из самых позорных фальшивок, какие только когда-либо были на страницах печати.

«Начальник жандармского поста призвал толпу, грозно заполнявшую большую вымоину, разойтись. Призыв был трижды повторен, но без результата. *Как ответ на третье обращение жандармов, из толпы полетел дождь камней на головы жандармов. Одновременно с высоких стен вымоины посыпались на головы жандармов тяжелые булыжники по три— пять килограммов весом».*

Если бы речь шла об изнасиловании продавщицы из табачной лавки на Южном полюсе, очевидно, «А-Зет» имела бы прямое телеграфное сообщение со всеми точными подробностями [но расстрел рабочих можно хорошо описать, пользуясь только имеющимися у каждого жандарма официальными инструкциями. Да, жандарм должен троекратно призвать толпу разойтись, прежде чем воспользоваться оружием, затем он должен выстрелить в воздух и только потом в цель. Однако на самом деле все было по-другому. Не было ни предупреждения, ни выстрела в воздух. Просто приближающуюся процессию встретили

залпом как об этом единодушно говорят почти полтысячи свидетелей, присутствовавших при этом кровопролитии. Никто не бросил ни одного камня, пока не раздались выстрелы. И это также все свидетели подтверждают]. Но для «А-Зет» и К° достаточно лишь официального сообщения, чтобы сделать из него свои фальсифицированные выводы.

Цитируем далее:

«Ситуация создалась для жандармов в высшей степени критическая». Из толпы раздались призывы к атаке: «Ура! Штыков мы не боимся!»

Да, нечто подобное было сказано, когда процессия приблизилась на двенадцать шагов к жандармскому кордону и когда маленькие дети увидели направленные на них жандармские ружья. А именно: Ричи Катшнерова, одна из тех, кто присматривал за детьми, крикнула: «Дети, не бойтесь, они стрелять не будут». [И встала перед жандармами, чтобы защитить детей. В этот момент раздался залп, и одна из пуль попала этой мужественной женщине в живот.]

«А-Зет» орет о трусости руководителей демонстрации. Вот Ричи Катшнерова была одной из этих «трусливых».

«Толпа двинулась вперед, и один из жандармов, жандармский вахмистр, оказался в окружении. Его падение на землю, вероятно, было делом одного мгновения. В большой тесноте, защищаясь от ожесточенного напора, *он спустил курок служебного карабина.* Ему представлялись только две возможности: или целиться через группу детей прямо в головы спрятанных сзади взрослых коммунистов, руководящих атакой, или целиться в ноги. Стрелять в головы было бы уж слишком по-индейски,— он стал целиться в ноги. Пулей, которая, безусловно, отлетела от каменистой земли, было ранено три маленьких девочки и одна тринадцатилетняя школьница».

Это перл социал-фашистской службы информации. Здесь описана «ситуация», которую необходимо живо себе представить, чтобы понять все ее «правдоподобие».

Жандарм, вокруг малые дети, полная теснота.

Где-то за детьми взрослые люди, предпринимающие атаку. Действительно «грозная ситуация». Необходимо воспользоваться оружием. Две возможности: в ноги детям или в головы взрослым. Как тут в панике вспомнить о выстреле в воздух? Не правда ли? Пуля летит в землю. Какая неудача! Ей встречается на пути камень. Пуля отражается от него и попадает в людей. Пять человек одним выстрелом! Это результат почти сказочный. Тем более сказочный, что только передо мной на столе лежат *две пули* из жандармских ружей, вылетевшие 20 апреля в процессию рабочих и вынутые из тел жертв. Это не обычные пули. Это пули, которыми пользуются при стрельбе в цель. Гораздо худшие, чем «дум-дум». Потому что при ударе они разрываются в разные стороны наподобие крыльев и, как шурупы, пробуравливают ткань, ввинчиваясь в тело. В следующем номере журнала мы опубликуем фотографии этих пуль. Пусть эти немые вещественные доказательства говорят наиболее выразительно.

Этот «единственный» выстрел жандармского вахмистра — ужасно глупое объяснение. Каждый дурак, который провел хотя бы полнедели на фронте, должен все-таки знать, что одна-единственная пуля не пробьет пять людей, стоящих в разных углах от направления выстрела.

Но «А-Зет» не останавливается перед такой «мелочью». Наоборот, радуется, что один выстрел имел такие последствия, что, таким образом отпала нужда говорить о других, а «Лидове новины» через несколько часов после произведенного выстрела на месте преступления «обнаруживает», как эта волшебная пуля летала, как отражалась от камней, как проходила через одно тело и повертывала под

углом сорока восьми градусов по направлению к другому и т. д.

Вот так «А-Зет» и К° «объективно» описали столкновение и пришли к выводу, что:

«Подстрекатели из числа коммунистов воспользовались детьми школьного возраста и женщинами для того, чтобы трусливо спрятаться за ними и, спровоцировав кровавое столкновение, пуститься наутек».

Какое дело «А-Зет» до того, что на месте было арестовано несколько коммунистов из числа этих «подстрекателей» за «вмешательство в дела официальной власти»? Какое дело до того, что смертельно раненные девушки принадлежали к группе этих «подстрекателей»? Фашистские кретины плюют с высоты Градчан на любую логику, на факты, на правду, потому что никакая подлость не является для них достаточно большой, чтобы затмить революционную опасность.

Я не люблю слишком сильных слов, но есть моменты, когда целый набор ругательств не может квалифицировать позорные действия социал-фашистской и фашистской журналистики.

Золотая журналистская анонимность избавила авторов сообщений в «А-Зет» и других газетах от возможности стереть со своего лица наши плевки, самое чистое, с чем они когда-либо в жизни встречались. Подлый «герой» не подписался под своей клеветнической статьей. Но пусть он только объявится! Не для того, чтобы ощутить на своем лице нашу слюну,— от этого мы благоразумно воздержимся, сознавая, что этим можем ее осквернить,— но для того, чтобы не пропадала возможность зафиксировать в истории журналистской клоаки имя самого низкого ее представителя.

Творба № 16, 24 апреля 1930 г.

НЕ ВЫ ЛИ ЭТО, ДОКТОР МЕЙССНЕР!

Прага, 25 августа 1930 г.

Доктор Мейсснер, социал-демократ, министр юстиции Чехословацкой республики, попал в неприятное положение: именно к его особе обращаются теперь, чтобы на деле, наглядно и конкретно продемонстрировать всему пролетариату, что такое социал-фашизм. Доктор Мейсснер подвергается доскональному анатомическому вскрытию, и, хотя министр не хочет выглядеть, как препарируемый труп, в нем все же остается не намного больше жизни, и он теряет последние силы, когда решается ответить.

— Я не компетентен, не отвечаю. Я, член правительства, не несу никакой ответственности за действия правительства. Я, министр, не отвечаю за оплошность своих подчиненных. Это не я — это они. Это не я — это доктор Славик.

В таком случае позвольте привести небольшой пример, показывающий, с каким искусством вы лжете. Этот пример приводится, конечно, не для вас: вы прекрасно знаете, что не было никаких «оплошностей» и что не кому-то «из них», а именно вашему, прямо-таки вашему социал-фашистскому режиму полностью принадлежит заслуга в том, что мы покажем только на примере нашего журнала.

«Творба» выходила целых два года без конфискации. Не потому, что в ней писали, может быть, с большей осторожностью, чем сейчас, или что она уклонялась от решения различных «жгучих» вопросов. Она выходила без конфискации потому, что у нее был небольшой круг читателей и буржуазии просто нечего было ее бояться.

Начиная с третьего года издания круг читателей «Творбы» возрастал из месяца в месяц. То же самое можно сказать и о размере конфискации. Взглянем хотя бы на эту скромную таблицу, которая показывает, сколько процен-

тов вышедших номеров в эти годы подверглось конфискации:

	0	0	40%	38%	66%	
Год издания	I	II	III	IV	V	(33 номера)

Разве эта таблица недостаточно наглядна, если вспомнить к тому же о том, что пятый год издания целиком приходится на время ваших забот о справедливости на посту министра юстиции?

Но у нас есть и еще более показательная таблица. Возросло в процентном отношении не только количество номеров, подвергшихся конфискации, но и число конфискованных мест в этих номерах:

	0	0	17%	39%	57%	
Год издания	I	II	III	IV	V	(33 номера)

Этого мало? Нужны еще более ясные и наглядные цифры? Пожалуйста. Вот как выглядит таблица, показывающая объем конфискации, число строчек, конфискованных в отдельных годовых комплектах:

	0	0	52	863	1577	
Год издания	I	II	III	IV	V	(33 номера)

Из этих таблиц возникает совершенно правильное представление о том, что «Творба» подвергалась небывало усиленной конфискации как раз в то время, когда в кресле министра юстиции покоился один из социал-фашистских невинных младенцев.

Но поскольку могут возникнуть различные вопросы, то вот и четвертая таблица, которая показывает, что:

За четыре года до Мейсснера			За девять месяцев управления Мейсснера		
было подвергнуто конфискации в «Творбе»					
24% вышедших номеров	48 мест	1169 строчек	63% вышедших номеров	65 мест	1791 строчка

Сударь! Все ясно. Вы сделали за девять месяцев больше, нежели другие за четыре года. Производительность вашего труда, если учесть, что трудились вы всего девять месяцев, составляет двести сорок процентов деятельности ваших отменно буржуазных предшественников.

Мы ни на минуту не берем под сомнение, что вы должны нести ответственность за все действия всего правительства, но в данном случае ссылки на правительство тем более недопустимы, *что цензура является непосредственным органом министра юстиции,* а доктор Славик и пан Долейш в ней только исполнители. Вы утверждаете, что это просто перегиб и оплошность ваших подчиненных? Нет, такой огромный рост конфискаций тотчас же после вашего вступления на пост министра говорит кое о чем ином. Эта двестисорокапроцентная оплошность показывает совершенно ясно, что здесь все дело в режиме, социал-фашистском режиме, представителем которого является социал-демократ доктор Мейсснер.

Ясно?

Творба № 34, 28 августа 1931 г.

ЛАДОНЬ И КУЛАК

Наход, 29 августа 1930 г.

Если сказать сегодня истинную правду о Советском Союзе, то этот текст будет конфискован. Вот так:............ закончил цензор в еженедельнике «Творба» № 33 мою первую статью о том, что видела наша делегация в СССР. Белые строчки в конце статьи необыкновенно остроумно выдают отношение буржуазии к той действительности, имя которой — Советский Союз.

В этом частично проявилась страусиная политика, только тут отнюдь не буржуазия собирается прятать голову в

песок. Не она, а рабочие не должны знать правды об СССР. Все, что сегодня является задачей нашей делегации, наталкивается на этот запрет. Первое наше выступление предполагалось провести на собрании Союза друзей СССР на Виноградах. В тот момент, когда наступила наша очередь выступать, полиция распустила собрание. Через четыре дня после этого второе собрание закончилось так же перед нашим выступлением. Большое собрание в Годонине, созванное именно с целью информации об СССР, было запрещено. Наконец впервые нам разрешают выступить в Жофине — в присутствии пяти полицейских комиссаров в зале, нескольких десятков шпиков и семи полицейских взводов, окружавших все здание. Это случайность? Нет. Даже самое тихое место, оставленное полицией до сих пор в покое, вдруг заполняется жандармами, тайными агентами, сыщиками и полицейскими комиссарами, как только кто-либо из членов нашей делегации собирается рассказать о сегодняшнем СССР.

Да, о сегодняшнем Советском Союзе, живущем и созидающем в центре сегодняшнего капиталистического мира. Именно в том-то и дело, что Советский Союз существует не сам по себе, что он находится не в каком-то безвоздушном пространстве, а окружен пятью шестыми мира, капиталистического мира, причем каждый рабочий этих пяти шестых мира сравнивает свое положение с положением рабочих в Советском Союзе.

Вообще-то говорить об СССР не запрещается. О нем разрешается лгать. О нем разрешается говорить полуправду. И несомненно было бы разрешено изображать его как рай, как рай, созданный на земле какими-то неземными и сверхъестественными силами. В таком случае ничего не стоило бы сказать так: «Вот видите, и русские рабочие дождались своего; они страдали, их эксплуатировали, и теперь вдруг они оказались в раю». Какое спокойствие это могло бы внести!

Но «несчастье» в том, что в Советском Союзе рай был создан не какими-то сверхъестественными силами. Там было нечто большее: и теперь в Советском Союзе рабочие своими собственными руками строят основы социализма. Своими собственными руками, своей жизнью они должны были прежде всего завоевать возможность, создать предпосылки для этого строительства. И именно теперь они нагляднее всего доказывают, что никакие их жертвы не были напрасны. Не сверхъестественные силы, а человек, рабочий человек создает все, и именно это становится совершенно ясно каждому пролетарию в любой капиталистической стране.

Есть цифры, которые говорят об очень многом. Они совершенно понятны даже человеку, который ничего не хочет слышать ни о социализме, ни о диктатуре пролетариата. Именно они, эти цифры, показывают выход из нарастающего кризиса, стоит только обратить внимание хотя бы на такие четыре цифры. За первый квартал 1930 года (с 1 января по 31 марта) объем производства продукции тяжелой промышленности сократился во всем капиталистическом мире: в Германии — на 7 процентов, в Америке — на 10 процентов, в Польше — на 15 процентов. И только в одной стране — в стране диктатуры пролетариата он возрос на 26 процентов. Это не временный подъем экономики в одной стране и не временное падение экономических показателей в остальных странах. Это — свидетельство постоянного роста социализма и постоянного кризиса капитализма.

До советской пятилетки история знала только один случай действительно бурного роста промышленности. Это было в пятидесятые и шестидесятые годы прошлого века, когда формировалась капиталистическая Америка. До сегодняшнего дня люди читают об этом с удивлением, а буржуазные экономисты с гордостью ссылаются на те годы, когда ежегодный прирост промышленной продукции в

Америке составлял 8—9 процентов. Это был самый большой темп капиталистического производства. Никогда до этого и никогда потом не было достигнуто такого роста.

Но в 1927 году появляется слово «пятилетка». Она устанавливает средний годовой прирост промышленной продукции на 20 процентов. Весьма любопытно читать сегодня то, что говорили об этом пятилетнем плане буржуазные экономисты.

«Каждый экономист,— писала «Нью-Йорк таймс» в 1927 году,— прекрасно знает, что значит повысить объем промышленной продукции в большой стране хотя бы на 10 процентов в год. Попытка поднять его на целую треть — это сумасшествие. А если к тому же еще в Советском Союзе! Так это смеху подобно!»

Хорошо! Посмеялись в 1927 году, когда читали, что первый год пятилетки повысит объем промышленной продукции в СССР на 21,4 процента. Смеялись в 1928 году, когда пятилетка вступала в свою силу. Но нам уже ничего не известно об их смехе в 1929 году, когда были сообщены конкретные цифры, свидетельствующие о том, что за первый год пятилетки объем производства промышленной продукции в Советском Союзе возрос на 23,7 процента.

Эта цифра произвела удручающее впечатление на каждого порядочного буржуазного экономиста. Она показывала, что в три раза превзойден достигнутый рост капиталистической промышленности. Она была непонятна. Она никак не укладывалась в рамки капиталистической экономики.

А как бы они сами мечтали о таком подъеме!

Там, в СССР, растет не капитализм, там растет социализм. Там начинается самая великая эпоха в истории человечества.

Это тот «факт, который опровергнуть нельзя». И буржуазия прекрасно это осознает. Нашлось уже несколько буржуазных интеллектуалов, политиканов и их приспеш-

ников, столь же хитроумных, как и близоруких, решивших извлечь для себя урок и уберечь с помощью «упорядочения производственной анархии» капитализм, который никогда не сможет иметь плановой организации производства. Господа Прейссы, Левенштейны и другие, хотя они и менее хитроумны, но более дальновидны, понимают, что все теории об организации хороши для возбуждения иллюзий, но помощи от них они не ждут. Есть только одно средство, на которое они еще надеются: больше сыщиков, больше полиции, больше фашистского террора.

И это, разумеется, проявляется прежде всего там, где существует самая большая опасность: там, где звучит правда о сегодняшней жизни в Советском Союзе.

И это для нас — самый великий пример. Пример, вдохновляющий нас и угрожающий буржуазии. Потому что если пролетариат видит ладони советских тружеников, работающих на полях и заводах, строящих новую жизнь, удивительными темпами созидающих здание социализма, то буржуазия видит кулак.

Ладонь, строящая социализм. Кулак, уничтожающий капитализм.

Творба № 35, 4 сентября 1930 г.

ГОСПОДИН НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ

Читатели «Творбы» спрашивают, почему на прошлой неделе не вышел очередной номер журнала? Вы это знаете, господин начальник полиции, у вас для этого имеются свои методы. И свои испытанные сотрудники.

Говорят, были времена, господин начальник полиции, когда полицейский был господином господ. Он якобы мог все. Это было в старой Австрии, в той известной реакци-

онной монархии, которую и вы наверняка помогали сокрушать. Был тогда достойный осуждения обычай: провинившийся, которому предстояло отбыть наказание (кратковременное или длительное), получал специальное уведомление о том, что его час настал. Был, видите ли, такой пережиток, когда уважалась даже мертвая буква закона, требовавшего *заблаговременно* сообщить осужденному, что ему отказано в его апелляции, если он таковую подавал, и обусловливавшего принудительную доставку осужденного в тюрьму только в том случае, если он не подчинился даже особому напоминанию полиции с предупреждением о приводе (будучи, таким образом, заранее уведомлен о том, что его ожидает). Придерживались тогда законного порядка, который некоторые упрямые прогрессивные деятели до сих пор считают совершенно правильным; этот порядок был заведен для того, чтобы кратковременное наказание не превратилось для провинившегося в наказание, чреватое весьма серьезными последствиями, то есть чтобы провинившийся имел возможность уладить свои дела и из-за нескольких дней, вычеркнутых из работы, не случилось больших неприятностей.

Господин начальник, с того времени мы прошли гигантский путь развития. Человек, то есть человек вашего типа, свободен. Он не стеснен более глупыми параграфами дряхлой монархии. Захочется ему — он арестует, захочется — не арестует. Благодаря этому всякий человек уже избавлен теперь от мучительного сознания, что он будет в определенный день, в определенный час лишен свободы действий. Он, наоборот, может спокойно смотреть навстречу будущему, потому что время, когда он даже в качестве узника начнет злоупотреблять вашим гостеприимством, будет вне всех его расчетов.

Я имел возможность познакомиться с вами (невидимым, как господь бог, и, как он, всемогущим) тринадцатого ноября сего года. Вы послали ко мне с приглашением

трех господ приятной наружности, которые сочли недостойным показать мне свои официальные удостоверения и неудобным испугать меня сообщением, почему я должен с ними идти. Я был задержан людьми, относительно которых я до сих пор могу еще сомневаться, имели ли они право меня задержать. И я был оскорблен комиссаром, относительно душевного состояния которого я не имею права сомневаться вообще.

У меня был при себе портфель. В этом портфеле находились материалы для сорок шестого номера «Творбы». Поэтому я хотел передать его своему защитнику, юристу Ивану Секанине, который случайно присутствовал при моем аресте. Но полиция запретила это сделать, та самая полиция, благопристойность которой, как высказался недавно во время процесса Гаруса какой-то господин, общеизвестна. Руководимая благопристойностью, полиция на сей раз воспользовалась резиновой дубинкой, но, правда, обрушила ее только на мою руку, а не на голову. Я особенно возмущался тем, что не был предупрежден и не имел возможности уладить свои дела,— и был заверен (это выглядело необычайно правдоподобно), что шесть человек полицейских должны меня доставить только на допрос и через час я снова буду свободен.

В течение целой недели, находясь уже в заключении, я тщетно добивался допроса. Мне была только вручена — после четырнадцатичасового пребывания в «четверке» — повестка, извещавшая, что в апелляции против какого-то тюремного заключения мне отказано, и одновременно приглашавшая немедленно отбыть это тюремное заключение сроком на три дня.

Господин начальник, я ведь у вас просидел не три дня, а целую неделю, и до сих пор не знаю почему. Но речь сейчас идет не об этой неделе, хотя и эта затяжка снова доказывает, что революционеры стоят вне закона. Речь идет сейчас о портфеле.

Хорошо, я был осужден, но почему наказанной оказалась «Творба»? Я получил три дня ареста, а «Творба» потеряла десять тысяч крон.

Разве ей был присужден такой штраф? Или он был присужден мне? Нет, ничего подобного! Это только ваши полицейские методы привели к такому результату. Материал, подготовленный к печати, лежал в моем портфеле. Портфель валялся по вашим столам для того, чтобы ваши сотрудники, осведомленные в том, что разрешается законом и что не разрешается, могли *в мое отсутствие* перевернуть все вверх дном.

Господин начальник, читатели «Творбы» спрашивают: почему на прошлой неделе не вышел номер? Вы бы ответили им любезно и в соответствии с правдой, что это является вашей заслугой. Ведь вы это хорошо знаете и радуетесь тому, как далеко вы ушли вперед по сравнению с косными законами Австро-Венгрии. И вы также знаете, почему произошел такой «прогресс».

Когда я был вашим гостем, то есть сидел один в сыром, промозглом холоде нетопленой камеры (безусловно без книг, которые мне, согласно законам, развешанным в коридоре, полагались, как узнику, находящемуся в одиночке), один из ваших сотрудников сказал мне: «Здесь по крайней мере вы отдохнете. Ведь у вас теперь столько докладов об этой большевистской России».

Простите, господин начальник, что мы, коммунисты, стали уже немного недоверчивы, когда полиция проявляет заботу о нашем здоровье и наших удобствах. Нам кажется несколько подозрительным, что эта забота оказывается нам именно в тот момент, когда по всей Чехословакии, по всем местам, известным и забытым, революционным и отсталым, ширится стремление узнать правду об СССР. Нам кажется несколько странным, что именно в то время, когда не проходит ни одного дня без нескольких собраний, посвященных Советскому Союзу, вы принимаете валом в

свой санаторий людей, которые, возможно, и утомлены докладами об СССР, но не имеют ни малейшего желания отдыхать от своей работы и неоднократно были просто ошеломлены вашей заботливостью.

Вы, господин начальник, знаете, что огромный интерес к Советскому Союзу прямо зависит от условий, в которых живет чехословацкий пролетариат, что рабочие не только слушают, но также и *учатся*. А вы думаете, что этому воспрепятствуете, если посадите в тюрьму докладчика. О, святая простота! Правде об СССР уже не зажмете рта. Правда о Советском Союзе разрушает все ваши препятствия и учит, учит, и как учит!

Ваши старания напрасны, даже если вы делаете гораздо больше, чем ваш предшественник. Очень низким был уровень методов этого вашего предшественника. Вы носите фамилию Долейш, но это не обязывает вас стремиться еще более катиться вниз, господин начальник полиции.

На скорую, иную встречу надеется

Юлиус Фучик.

Творба № 46, 27 ноября 1930 г.

БЕЗ РАБОТЫ

Прага, 19 января 1931 г.

Если мы по методу министра социального обеспечения социал-демократа пана д-ра Чеха подсчитаем количество безработных в Чехословакии, то их окажется приблизительно семьсот тысяч. Семьсот тысяч человек, ранее приносивших домой зарплату и обеспечивавших семью, сегодня без работы. Свыше двух миллионов людей — без хлеба. И это — в Чехословакии, в небольшой стране, в которой, по статистике, немногим более 15 миллионов граждан.

Число безработных растет с головокружительной быстротой. Каждая приостановленная стройка, каждое уже убранное поле сахарной свеклы порождает новые сотни безработных. А ведь еще не закончена кампания по переработке сахарной свеклы.

Существуют самые разные проявления отчаяния от нищеты. Те, кого нищета затронула, ищут любые способы, чтобы избавиться от нее. Самоубийства от голода стали повседневным явлением. Пан Вишковский уже не отваживается провокационно заявлять о маловыносимой, нервной натуре чеха, которая якобы предрасположена к самоубийству. Письма мелких ремесленников, написанные незадолго до того, как их авторы либо повесились, либо утопились в Влтаве, были бы слишком красноречивым ответом на его «смелые» заявления.

В тот день, когда на Нусельском кладбище хоронили одну такую жертву собственной «нервозности», а полиция подчеркнуто напоминала присутствующим на похоронах об их причастности к политике, повесился парнишка. Целую неделю он не мог найти работы и боялся сказать об этом матери. Целую неделю в поисках работы ходил он по Праге. Неделя прошла, но денег домой он не принес. И повесился... Еще недавно его учили в школе, что каждый порядочный человек работает и что праздность — мать всех пороков. Свою смерть он принял как естественное наказание за свое безделье.

Он еще не дорос до того — как и тысячи других безработных,— чтобы понять, что есть другой, совсем другой путь избавиться от нищеты и что на этом пути его не подкарауливает смерть.

Многие рабочие не имеют работы, но понимают, что самоубийство — не их путь.

Ежедневно я получаю не отдельные письма, а целые пачки писем безработных. Обращаясь ко мне со словами: товарищ, пан, гражданин, они пишут:

«Вы были в Советском Союзе. Вам известно, что там нужны рабочие руки, а мы — без работы. Помогите нам попасть в Советский Союз, посоветуйте, как мы можем это сделать...»

Они уже ближе к возможности сохранить свою жизнь, но и они еще не на совсем правильном пути. В прошлом году в СССР еще два миллиона новых рабочих влилось в производство. На два миллиона больше стало рабочих в Советском Союзе. Два миллиона новых рабочих в течение одного года! И это в том же самом году, когда безработица в мире возросла до двадцати пяти миллионов! Но сопоставление двадцать пять миллионов безработных и два миллиона, пришедших на производство в СССР, показывает, даже если бы речь не шла о советских рабочих, что это тоже не выход из положения. Ежегодно в СССР из Чехословакии уезжают в поисках работы тысячи рабочих, и тем не менее количество безработных в нашей стране растет и исчисляется уже сотнями тысяч.

Нет, и эмиграция — это не то, что поможет безработным. И вообще, нельзя рассматривать вопрос о безработице как вопрос одиночек. А те, которые кончают жизнь самоубийством, да и те, которые мечтают уехать из своей страны, ставят его именно так. Поэтому-то все еще возможно, чтобы социал-демократические и национально-социалистические редакторы, секретари этих партий до отвращения повторяли, что этот кризис охватил не только Чехословакию, но и многие страны мира. Они повторяли это, чтобы успокоить рабочих, хотя именно в этом содержится самый ясный ответ — ответ, который ни в коей мере не способен «успокоить» массы: двадцати пяти миллионам безработных можно помочь, только ликвидировав безработицу. А это возможно, лишь устранив причины безработицы. Весь капиталистический мир охвачен глубоким кризисом, но на одной шестой части света, там, где управляют рабочие, социалистическое строительство находится

в полном расцвете. Ее не захватил кризис, в ней нет безработицы. У нее есть свои трудности, но это — трудности созидания, рождения нового.

Существование двух миров — мира разлагающегося капитализма и мира расцветающего социализма — должно подсказать рабочим, всем рабочим, и тем, которые не имеют работы и голодают, и тем, которых все это ждет, выход из бедственного положения.

Не убегать туда, где рабочие уже могут строить социализм. Это было бы слишком легко и бездейственно. К тому же Советский Союз слишком далек для одиночек. (Но совместными усилиями масс мы можем его приблизить.)

Творба № 3, 21 января 1931 г.
Подписано — «if»

ДУХЦОВ, 4 ФЕВРАЛЯ 1931 ГОДА

Алоис Ламач, тридцать два года. Похоронен на Духцовском кладбище.

Йозеф Студничка, двадцать семь лет. Похоронен на Духцовском кладбище.

У нас нет фотографии Студнички. Товарищи его говорят, что он был слишком беден, чтобы сниматься. Первый его снимок был сделан, когда он был уже мертв,— в духцовском морге. Негатив был конфискован и лежит сейчас в духцовском архиве опасных для государства вещей.

Антонин Зейтгамер, девятнадцать лет. Похоронен на Светецком кладбище.

Йозеф Кадлец, тридцать лет. Похоронен на Светецком кладбище.

Сведения о кровопролитии под духцовским виадуком четвертого февраля 1931 года, которые я здесь даю, осно-

вываются на показаниях непосредственных участников как этого столкновения, так и событий, предшествовавших или следовавших за ним. Использованы также показания официальных лиц, поскольку они были сделаны в присутствии свидетелей. Документы и имена свидетелей мы предоставляем в распоряжение редакторов всех газет, которые писали о событиях в Духцове только на основании сведений, сообщенных жандармами, и дополняли их комментариями, не соответствующими истине. Однако, поскольку эти комментарии все-таки не показывают, что здесь дело только в неосведомленности, а скорее всего заставляют предполагать политический умысел, политическую заинтересованность [*в соединении с ненавистью и подлостью*], у меня может возникнуть обоснованное подозрение, что эта возможность установить истину *не будет* использована. Заблуждающийся человек пользуется каждым удобным случаем, чтобы исправить свою ошибку. Лгун же не ошибается, лгун лжет, и всякая правда ему ненавистна.

У нас имеются люди, общественные деятели, которые твердят о себе, что они справедливы. Вот им и карты в руки. Теперь, когда четверо северочешских рабочих, лежащих на Духцовском и Светецком кладбищах, превратились в обвинителей, эти люди, называющие себя справедливыми, *обязаны* были бы прийти на помощь правде. Я не верю в надклассовую справедливость. Я знаю, что ни один, даже справедливый, буржуа не взглянет туда, куда указывают персты убитых, и не захочет увидеть *настоящего* виновника. Знаю также, что ни один, даже справедливый, буржуа не сочтет нужным удовлетворить жалобы мертвых. Но он должен по крайней мере оказать помощь при выявлении невиновного и прояснить некоторые вещи, которые были умышленно затемнены.

Итак, я обращаюсь к тем, кто считает себя справедливыми. *Публично предлагаю,* чтобы они сами немедленно

создали гражданскую комиссию, которая расследовала бы, под общественным контролем северочешских рабочих, хотя бы только самые характерные обстоятельства духцовских выстрелов и подала бы об этом докладную записку. Такое сообщение представителей буржуазии должно было бы уличить во лжи все официальные отчеты, заявление премьер-министра Удржала, а также и все комментарии буржуазной, социал-демократической и национально-социалистической прессы. Если же такая комиссия создана не будет, это только лишний раз покажет, что буржуазия уже достаточно перепугана и находится в слишком затруднительном положении для того, чтобы позволить себе роскошь сохранять «красивые формы» своего искусства повелевать.

(Эта часть статьи была включена в речь депутата Недведа на заседании парламента десятого февраля 1931 года.)

Опубликованный здесь отчет составлен на основании показаний сорока восьми свидетелей из Духцова, Гостомиц, Ледвиц, Бржежанек и Билины. Всего было записано сто двадцать шесть показаний. Поскольку я не мог проверить все остальные в достаточной степени, я их не использовал.

Первые показания были записаны четвертого февраля вечером в Духцове, спустя четыре часа после столкновения. Последние — в воскресенье восьмого февраля в Гостомицах.

Первый отчет после выяснения фактов составил для печати редактор газеты «Руде право», а для парламента — я и депутат парламента товарищ Юран. Отчет был опубликован в газете «Руде вечерник» пятого февраля, другой, подробный, дополненный сообщением по телефону,— в газете «Руде право» шестого февраля 1931 года. Прокуратура первый пропустила, а от второго осталось только то, что показывает снимок, опубликованный на этой

же странице. Отчет в тот же день был «иммунизован» депутатом Готвальдом в палате депутатов и после нескольких сокращений, сделанных парламентской цензурой, опубликован.

Поскольку не вызывает сомнений, что доктор Мейснер — министр юстиции — находится в хороших отношениях с министром внутренних дел и господином премьер-министром, и поскольку эти хорошие взаимоотношения могли сыграть свою роль и в судьбе отчета, в котором, впрочем, ничего не было, кроме подтвержденных свидетельскими показаниями фактов, я попросил депутата-коммуниста Недведа зачитать в парламенте (иммунизовать) все находящиеся под угрозой конфискации места. Кроме того, я считаю своим долгом напомнить прокуратуре, что все приведенные здесь факты были одновременно предоставлены в распоряжение заграничной прессы.

1. Нищета, голод, холод

Быстрое нарастание кризиса в северочешском угольном бассейне началось несколько раньше, нежели во всех других областях Чехословацкой республики. Это обстоятельство сделало положение в этом районе схожим с положением в соседней Германии. Нищета не знает различия между обеими сторонами границы.

Проезжая раньше по этому краю, можно было увидеть рудничные вышки, на верхушках которых беспокойно мелькали два рудничных колеса, вращающихся в противоположном направлении. Сейчас этого нет. Колеса остановились. Нет работы.

Каждую неделю несколько десятков забойщиков прощаются с шахтами, а у нескольких сотен шахтеров срезают рабочий день. Каждую неделю выбрасывают с работы несколько десятков рабочих-стекольщиков. Почти во всех шахтах работа ограничена тремя или только двумя днями

в неделю. Это уже нищета не тысяч, не десятков тысяч, а всех жителей этого края. И *занятые на производстве* забойщики приносят домой сто, восемьдесят, пятьдесят две кроны в неделю. Один из забойщиков показал мне свою книжку,— он получил двадцать шесть крон, на которые должны жить целую неделю пять членов его семьи.

В краю голодают, словно это остров, расположенный в тысяче километров от земли. А край этот — всего лишь в ста километрах от Праги, сердца цивилизованной Европы, от Праги, в которой дают торжественные, сказочные банкеты в честь принцев, генералов и директоров банков.

Для показа этой нищеты можно привести любой подвернувшийся под руку пример. Мы не станем выбирать примеров. Лишь обратимся к судьбам тех людей, которых выбрали пули жандармских винтовок под духцовским виадуком. Это, без сомнения, самый произвольный выбор примеров для показа нищеты.

Убитый Йозеф Кадлец из Гостомиц. Ему было тридцать лет. Полтора года назад он женился. Работал в шахте с четырнадцати лет. Последнее время — на шахте «Патриа». Его выбросили оттуда, и он потерял всякую надежду получить новую работу. Отступать, однако, он не хотел. Сдал экзамены на шофера, но в июне 1930 года заболел воспалением аппендикса. Его оперировали. После операции он не мог найти никакой работы. Как рассказывал его отец, был он человек крепкий, атлет, занимался спортом. Политикой никогда особенно не интересовался. Мягкий, тихий, как почти все сильные люди, он никогда ни с кем не спорил, не дрался. Но нищета заставила его страдать. Жена его работала на стекольном заводе. Он чувствовал себя несчастным оттого, что она вынуждена была содержать и его. Кадлец состоял в социал-демократическом профсоюзе. Когда пришла нищета, он стал присматриваться к тому, что происходит вокруг, и убедился,

что таких, как он, много. Его не покидала уверенность, что это должно как-то измениться. Он видел также, что его пятидесятишестилетний отец, проработавший в шахте тридцать четыре года, получает всего триста крон пенсии в месяц, из которой помогает ему и еще трем дочерям и двум сыновьям. Кадлец заходил домой погреться. Мать всегда приветливо встречала его, рада бывала, что он приходит к ней, как маленький. Утешала, что он опять найдет работу. На Светецком кладбище эта старушка так прощалась с ним:

«Никогда больше не придешь ты ко мне погреться, сыночек, когда тебе будет холодно».

Антонин Зейтгамер из Гостомиц, девятнадцати лет. С четырнадцати лет работал на стекольном заводе «Мюлиг». Когда ему исполнилось восемнадцать лет и он должен был уже получать заработную плату, как взрослый, его уволили. С той поры он стал безработным. Его отец, пятидесяти четырех лет, был уволен из шахты по болезни и получает пятьдесят крон пенсии. Эти пятьдесят крон он делит на девять человек. Старший сын, двадцати одного года, без работы, третий, пятнадцатилетний, учится. В одной комнате с семьей Зейтгамер живет еще замужняя дочь с больным мужем и ребенком и вторая дочь-подросток. У отца эпилепсия. Никто из них не состоял никогда ни в одной организации.

Оба старших сына и отец пошли на демонстрацию в Духцов: они чувствовали, что дальше так жить нельзя.

— Я боялся, как бы с ними чего не случилось, и потому пошел с ними сам,— рассказывает отец.

Когда началась стрельба, он оттащил обоих сыновей в сторону. Они сделали несколько шагов. И Антонин Зейтгамер упал на руки отца, сраженный пулей из жандармской винтовки. В этот момент старик как раз смотрел на жандарма, застрелившего его сына.

— Я узна́ю его...

(Эта часть статьи также входила в речь депутата Недведа на заседании парламента десятого февраля 1931 года.)

Йозеф Студничка из Бржежанек, двадцати семи лет. Родился в Гостомицах. Его отец работал сторожем на шахте «Амалия-IV». Йозеф тоже работал там с четырнадцати лет, а когда его уволили, стал искать работу в деревне. Летом батрачил у крестьян, на зиму возвращался домой. Прошлым летом он тяжело захворал; его выгнали с работы. Лежал он в больнице в Кладно. Когда выписался, не мог уже устроиться. Он был членом Национального союза, желтой организации, в которую он вступил, чтобы получить работу. У него три брата. Один из них женат, другой, у которого была еще работа, был призван на действительную службу и находится сейчас в артиллерийском полку в Рузине, учится стрелять.

Алоис Ламач из Билины, тридцати двух лет. За его гробом на Духцовском кладбище шла его невеста.

— Они любили друг друга,— сказал один из его товарищей.— Но он не мог жениться на ней, так как у него не было денег. Потеряв работу, он старался найти какую-нибудь другую. Так же как и его брат, он вступил в Национальный союз, потому что членство там стало условием для приема на работу. Но Алоис Ламач не мог нигде устроиться. Он получал только временную подсобную работу. В последнее время у фирмы «Конструктива». Однако и фирма прекратила строительство.

Алоис был четыре месяца без работы. Его отцу пятьдесят восемь лет, матери — пятьдесят шесть. Отец получает пенсию — сто пятьдесят три кроны в месяц. Без работы и другие два брата. И четырнадцатилетнего братишку, помогавшего семье своими двадцатью кронами, которые он получал на стекольном заводе, выгнали с работы. Два года назад на шахте «Плутон» был убит его брат Вацлав. После него осталась жена и двое детей. Жена умерла перед

рождеством. Старик отец взял детей к себе. Кроме того, вместе с ним живет и замужняя дочь с мужем, Пастернаком, тоже безработным.

Тяжелораненому Эвжену Сиржиште двадцать два года. Отец его — пенсионер. Эвжен Сиржиште был подсобным рабочим на стекольном заводе. Более полугода назад его уволили. Два брата и сестра, работавшие когда-то на стекольном заводе, тоже безработные.

Тяжелораненому Густаву Сиржиште двадцать три года. Он двоюродный брат Эвжена, младший сын шестидесятилетней вдовы, его иждивенки. Семья была когда-то в состоянии дать ему возможность учиться. Он закончил четыре класса гимназии. Полностью закончить учение из-за недостатка денег не мог. В последнее время, как и Ламач, работал у фирмы «Конструктива». Потеряв работу, пытался устроиться хотя бы жандармом в Желенках. Ему должны были помочь в этом отношении его четыре класса гимназии. Я говорил с одним из его братьев. Их у него семеро и две сестры. Тот, с которым я разговаривал, жил в ужасающей нищете. Чтобы облегчить жизнь семьи, его четырнадцатилетний сын ушел из дома. От истощения он упал около ратуши в Либерце и умер.

Вацлав Скутхан, тридцать лет. Зимой его уволили с шахты, потому что он был в красном кандидатском списке для голосования. Скутхан получил временную работу — колол лед. Затем вообще не получал работы. Он женат, у него двое детей. Его родные: старушка мать, два младших брата — безработные, сестра замужем, и муж ее тоже безработный. Вот семь примеров «жизни» северочешских рабочих. Семь иллюстраций, собранных в духцовской больнице после кровавого столкновения на Ледвицком шоссе.

Только один из восьми человек, находящихся на излечение в больнице, Ант. Крауз из Ледвиц (женат, отец двух детей) работает и приносит домой такую заработную плату, на которую можно по крайней мере жить.

2. По следам «спокойствия и порядка»

Что было сделано для облегчения нужды северочешских рабочих? Вот опять пример с места действия духцовского кровопролития. А также пример из Ледвиц, откуда вышли демонстранты, кровь которых была пролита спустя несколько минут при входе в Духцов.

Уже в Ледвицах местные господа чувствовали необходимость как-нибудь ослабить накал бурного недовольства рабочих. Начали они с раздачи теплой воды, получившей гордое название супа. Распределение этого супа продолжалось семнадцать дней. Порции выдавались по какому-то особому принципу, смысл которого был известен только старосте в Ледвицах, Венцлу, члену национально-социалистической партии. Безработные были недовольны. В конце января в Ледвицах произошло бурное выступление рабочих, где они ясно сказали, что думают о действиях старосты Венцла. Вскоре после этого, в последний день января «суповое мероприятие» было приостановлено. В начале февраля рабочие пришли на собрание местного представительства и потребовали возобновления раздачи супа. Но староста Венцл заявил решительно: «Мы никогда не боялись никаких шумных сборищ, не боимся их и сейчас, не будем бояться и впредь. То, что произошло тут на прошлой неделе, больше повторяться не должно. Мы позаботимся об этом». В тот же день, придя из школы, дети рассказали родителям, что в школе будут размещены на постой жандармы.

В Духцове в окружном управлении мы высказали предположение, что, быть может, раздачу супа в Ледвицах прекратили из-за недостатка средств. И захотели узнать, почему окружное управление не оказало материальной помощи Ледвицам.

Заместитель окружного гетмана доктор Лагарде и совет, в компетенцию которого входило это мероприятие, заявили, что на их телефонный запрос староста Венцл ответил, будто он прекратил раздачу супа из-за «беспорядков рабочих». На предложение окружного управления помочь в финансовом отношении он не реагировал.

Если мы даже не совсем поверим в радужные краски, которыми окружное управление явно хотело разрисовать свою буржуазную физиономию, все же остается фактом, что, как только ледвицкие безработные выступили против несправедливости, им было отказано в самой ничтожной «помощи» и что еще в начале кровавой недели национальный социалист, ледвицкий староста, имел уже некоторое представление о том, какие меры можно предпринять против недовольства голодных рабочих.

3. Подготовка

В середине первой недели февраля во всем северочешском угольном бассейне подготовлялись голодные демонстрации, которые должны были происходить в городах, где находились власти.

Эта подготовка повсюду протекала спокойно, даже если в ней принимали участие тысячные массы. Рабочие избирали депутации, которые передавали их требования окружному управлению. *Крупные* выступления рабочих были в Усти, в Мосте, Теплицах, Хомутове и во многих других городах. В Духцов должны были идти две демонстрации. Одна из Хробов, с севера от Духцова, другая с юга, из Ледвиц, Билины, Бржежанек, Гостомиц и Желенки. Участники этой демонстрации, около пятисот человек, собрались в Ледвицах у вокзала и двинулись по Ледвицкому шоссе к Духцову. По дороге не слышно было ни возгласов, ни даже песен. Такова была эта подготовка.

А вот другая. Узнав о возможных демонстрациях безработных, которые собирались направиться в город, духцовское окружное управление приняло особые меры. В город было стянуто из разных мест около трехсот жандармов, и им были даны соответствующие инструкции. На шоссе, по которым должны были пройти демонстрации из Хробов и с юга, были расставлены жандармские посты.

Из осторожного разговора, который вел с нами в окружном управлении заместитель начальника округа доктор Лагарде, можно заключить, что обороной Духцова от демонстрантов *руководило не только само окружное управление, но и непосредственно министерство внутренних дел.*

Приведем часть этого разговора, опубликованного газетой «Руде право» седьмого февраля.

Д-р Лагарде: — Начальник жандармского отряда получил приказ при всех обстоятельствах воспрепятствовать вступлению демонстрантов в город.

Мы спрашиваем: — Любой ценой?

Д-р Лагарде: — Да, любой ценой.

— А кто отдал такой приказ?

— Приказ был дан окружным управлением.

— С согласия высших инстанций?

— Не могу ответить.

Это «не могу ответить» прозвучало так же ясно, как ответ. Совершенно ясно, что окружное управление в Духцове действовало по указаниям свыше: в его распоряжение было предоставлено больше жандармов, чем обычно. И они явно собирались не допустить демонстрантов «любой ценой». Это явствует из того, что у одной жандармской части, стоявшей наготове в городе, был даже пулемет.

Так отличались друг от друга две подготовки: безработные, подготовившие только депутации к окружному

гетману, и во много раз увеличенный жандармский аппарат, подготовивший штыки, винтовки и пулемет.

(Эта часть статьи также была включена в речь депутата Недведа на заседании парламента десятого февраля 1931 года.)

4. Место столкновения

Столкновение произошло в том месте, где Ледвицкое шоссе проходит под виадуком железной дороги, в нескольких десятках метров от духцовского вокзала. В том месте, у поворота налево, оно соединяется с другим шоссе. Тут Ледвицкое шоссе сжато с одной стороны крутой высокой железнодорожной насыпью, а с другой — большим дощатым забором стадиона. От забора оно отделено рвом и широкой пешеходной тропинкой, ведущей к Ледвицам. Таким образом, толпа в полтысячи человек, не имевшая возможности возвратиться по тому же шоссе, могла быстро рассеяться только в одном направлении — по другому шоссе.

5. Столкновение

Под виадуком стоят десять жандармов и одиннадцатый — жандармский вахмистр Эммер. Из Ледвиц движется демонстрация. Доходит до самого жандармского кордона. Подходит настолько близко, что отдельные лица, которые шли в самом начале шествия или не участвовали в демонстрации (шоссе очень многолюдно), проходят через жандармский кордон. Среди них депутат-коммунист забойщик из Лома Петр Странский. Вслед за ним пытается пройти вся толпа, но жандармский вахмистр кричит:

— Стой! В Духцов нельзя!

Передние ряды демонстрантов, подталкиваемые сзади, продвигаются еще на два шага.

Согласно показанию жандармского вахмистра, затем приказы были отданы в такой последовательности: сначала — «Разойдись!», а затем, когда процессия, несмотря на предупреждение, двинулась вперед,— «Огонь!».

Из допроса жандармов, использованного премьер-министром Удржалом, явствует, что только четыре жандарма слышали этот приказ. Казалось бы, ясно, что жандармский вахмистр Эммер не обладает сильным голосом. Если из жандармов, стоявших совсем рядом с командиром, только четыре слышали его приказ, значит, очень трудно утверждать, что находившиеся гораздо дальше демонстранты слышали предложение разойтись. Кроме этой путаницы в свидетельских показаниях жандармов имеются еще расхождения между жандармскими показаниями и показаниями других свидетелей столкновения — не жандармов. Одиннадцать других допрошенных свидетелей столкновения показали, что не слышали ни предложения разойтись, ни приказа жандармского вахмистра открыть стрельбу.

И наоборот, они видели жандарма Прахеньского из Духцова, который сам, без предупреждения и без приказа, первым открыл огонь. Потом, видимо испугавшись, он нервозно кричал: «Так стреляйте же!» И тогда только раздалось еще несколько выстрелов. Предшествовал ли им приказ командира, ни один из свидетелей не знал.

В полном соответствии с донесениями местного жандармского отделения и окружного управления премьер-министр заявляет, что рабочие сами напали на жандармский кордон. Как же напали? А взяли друг друга под руки и, наклонив головы, как моряки при драке, бегом кинулись на жандармов. Жандармский вахмистр Эммер свидетельствует, что при приближении демонстрантов он приказал примкнуть штыки. Жандармский кордон так и стоял со штыками, направленными в сторону рабочих. В такую минуту стремительно кинуться с наклоненными

головами на жандармов и не разглядеть при этом заслон штыков — представляется не совсем удачным шагом со стороны нападающих и не особенно опасной угрозой для тех, на кого нападают. Если моряки набрасываются так на своих невооруженных соперников, то, вероятно, им на самом деле удается сделать то, что составляет смысл такого нападения,— они попадают головой в живот противника и валят его с ног. Если же так нападут невооруженные рабочие на жандармов с винтовками и штыками, то возможность хотя бы дотронуться головами до туловища жандармов совершенно исключена. Против такого нападения достаточно было просто поднять ружейные приклады, и демонстранты разбили бы себе головы. Я задал вопрос в окружном управлении: разве необходимо было в случае такого нападения стрелять? И доктор Лагарде (в присутствии депутата Юрана и местного жителя Бардоуна) ответил:

— *Господин редактор, вы все же должны знать, что имеются некоторые вопросы, на которые я не могу отвечать. Я здесь с тысяча девятьсот шестнадцатого года. Бывали тут очень трудные положения, особенно во время войны. Но ничего подобного никогда не случалось.*

Доктор Лагарде, высокопоставленный чиновник, констатировал буквально на месте столкновения, *что не осмелился бы говорить об обоснованном применении огнестрельного оружия.*

Совершенно иначе решил, разумеется, господин премьер-министр, удовлетворившийся несколькими строчками жандармских донесений, чтобы заявить:

— Из фактов, которые удалось пока расследовать, необходимо сделать вывод, что оружие было применено, согласно имеющим силу предписаниям и судя по обстоятельствам, *вполне обоснованно* и что жандармов, точно выполнивших свой трудный долг, никак нельзя упрекать в этом отношении.

После того как меня задержали жандармы в духцовской больнице, я разговаривал с комиссаром окружного управления, который (необходимо заметить, что держался он весьма осмотрительно) заявил:

— Если бы я был там, до этого не дошло бы! *В таких случаях нужно всегда поступать обдуманно.*

Я нарочно привожу прежде всего мнения начальства того окружного управления, в районе которого произошло столкновение. Сами эти мнения указывают на ужасающую и бесстыдную несостоятельность жандармских объяснений и «обоснований» кровопролития. Только людям, очень хорошо сознающим свою собственную ответственность за это кровавое дело, может показаться достаточным такой «разъяснительный» вымысел.

Но вот показания прямых участников столкновения. Свидетель И. Ш. рассказал, как он шел в колонне между Кадлецом и Зейтгамером. Были они не в первых рядах. Не слышали предложения разойтись. А если бы и слышали, то не могли бы немедленно исполнить его, так как сзади напирал жандармский кордон, шедший вслед за ними из Билины. Единственный же путь на другое шоссе — о котором мы уже упоминали в описании места столкновения — был отрезан от демонстрантов пулями жандармских винтовок. Свидетель решительно отрицает, что демонстранты в сомкнутых рядах напали на жандармский кордон.

Эти показания полностью совпадают с показаниями свидетелей Р. И., А. А., И. Н., Г. Ш. и И. З.

Свидетель Ф. Л. показывает:

— Уже при нашем приближении первый заслон жандармов направил штыки на демонстрантов, чтобы остановить колонну. Позади него стоял второй заслон и, несмотря на защитную стену первого, дал как раз первый разрозненный залп. Мы были так изумлены, что решили, будто эти выстрелы холостые. Сзади нас все кричали: «Не бойтесь, стреляют холостыми».

Но, расступившись, мы увидели, что несколько товарищей лежат на земле. Тогда только мы поняли, что выстрелы были не холостые.

Все свидетели, показания которых мы до сих пор приводили — за исключением одного,— были некоммунисты, двое из них состояли в Национальном союзе, один был членом национально-социалистической партии, остальные не входили ни в какие организации.

Следующий свидетель И. С., национальный социалист, поранил на работе левую руку. Он шел в Духцов, в больницу, по тропинке, параллельной Ледвицкому шоссе. Дошел до жандармского кордона раньше демонстрантов. Как только он приблизился к виадуку, жандарм крикнул ему:

— Стой!

И один из них приставил к его груди штык. Когда же свидетель, показав забинтованную руку, сказал, что идет в больницу, его пропустили. Но в это время уже приближалась демонстрация. И. С. прошел вперед и остановился. Он не знал депутата Странского, но решительно опроверг утверждение, будто тот вырвал из рук жандарма винтовку. Находясь очень близко от кордона, свидетель вообще не видел ни одного демонстранта, который напал бы на жандармов и пытался их обезоружить. Ничего подобного до первого залпа не было. Что произошло потом, он точно сказать не мог, потому что весь кордон был окутан дымом. Он слышал еще много выстрелов, грубые выкрики жандармов и стоны раненых. Помогал затем отвозить раненых в больницу.

Ни один из допрошенных свидетелей не допускал мысли, чтобы первый ряд или несколько передних рядов демонстрантов атаковали жандармов. Все утверждали одно: демонстранты намеревались добраться до города, но для достижения этой цели не применили никакого насилия.

Из случайного разговора в морге, около жертв столкновения, с одним из бывших в кордоне жандармов я выяснил, как он объясняет причину кровопролития:

— Мы опасались, что нас могут обезоружить. Это было бы позорно.

Четверо убитых предотвратили этот позор.

Однако речь идет не только о первых выстрелах. Их было всего пять или шесть. Буфетчик с вокзала, наблюдавший за всем столкновением, находясь за жандармским кордоном, пытается доказать, будто первые выстрелы были сделаны в воздух, о чем, впрочем, не говорится ни в одном из жандармских рапортов. Но затем он дает такое показание:

— Когда пространство впереди жандармов расчистилось, я увидел, что они потеряли человеческий облик. Как звери, набрасывались они на демонстрантов, стреляли, кололи, били прикладами и яростно гнались за убегавшими. (Это показание было дано при девяти других свидетелях.)

По показаниям рабочих и работниц из Ледвиц, Гостомиц и Билины, только два жандарма в кордоне не участвовали в бойне. Один из них делал вид, что стреляет, непрерывно заряжая и выбрасывая пули, другой, держа винтовку наперевес, старался оттеснить демонстрантов с шоссе. Все остальные неоднократно стреляли и применяли против демонстрантов штыки. При этом они действовали с умыслом [*пролить как можно больше крови*].

Стреляли они не наудачу, а целились в определенных лиц. Так, например, был убит Зейтгамер, так была нанесена вторая рана Эвжену Сиржиште. Раненный в ногу, он зашатался и протянул руку к своему товарищу, свидетелю И. Ш. Один из жандармов прицелился в И. Ш. и выстрелил. Но попал не в свидетеля, который отскочил в сторону, а в протянутую левую руку Эвжена Сиржиште.

Когда рабочие наклонялись к своим товарищам, чтобы помочь, жандармы отгоняли их выстрелами и штыками.

Тяжелораненый Кадлец с трудом подымался и снова падал. Свидетель Л. стал возле него на колени, приподнял его и перевязал. Два жандарма направили на него винтовки. Свидетель вынужден был отойти. Но так как в эту минуту раненый Ламач стал звать на помощь, то он опустился на колени возле него. У Ламача вывалились кишки, он смотрел на них и стонал:

— Мои кишки, мои кишки... Как больно!

Свидетель Л. думал, что Ламач так страшно мучается потому, что у него вывалились внутренности. Но так как они были слишком испачканы землей, чтобы можно было, не опасаясь заражения, снова засунуть их в живот, он решил вложить их в карман брюк Ламача. Во время этой операции ему несколько раз угрожали жандармы. Но свидетель на этот раз не сдвинулся с места, потому что был слишком потрясен страданиями товарища.

То же самое рассказал и отец раненого Зейтгамера. Когда в его сына выстрелили, старик в ужасе отскочил ко рву. Но тотчас же поднялся и стал на колени возле сына. Один из жандармов приставил к его горлу штык и заорал:

— Убирайся [*иначе я убью тебя, как собаку!*].

Отец Зейтгамера ответил:

— Если ты убил моего сына, убей и меня!

Отец, ставший на колени около умирающего сына, был, по-видимому, единственной причиной того, что нам не приходится к этим жертвам духцовского кровопролития прибавлять и другие.

Один из раненых позвал на помощь работницу В. Она подошла, но жандарм (это был ледвицкий жандарм Влк) направил на нее винтовку и крикнул:

— Идите обратно [*если не хотите получить свинец в брюхо!*].

Тот же Влк выстрелил в рабочего Краузе из Ледвиц, шедшего в город за лекарством.

Все было делом нескольких минут. Следствием этих нескольких минут было: один убитый на месте, трое умирающих, пять раненых и — по данным расследования на сегодняшний день — семь легкораненых. В больницу был доставлен один труп и восемь раненых. Один из них, которого так сильно ударили прикладом по позвоночнику, что он упал без сознания, лежал в больнице еще и в четверг после обеда. Однако в официальных сообщениях о нем не упоминали. Сколько еще времени он пробыл в больнице, узнать мне не удалось, так как окружное управление распорядилось не давать мне никакой информации. Служащий там врач-белогвардеец очень охотно повиновался этому приказу.

6. Помощь раненым

Кроме того, что жандармы мешали как участникам демонстраций, так и людям, не участвовавшим в демонстрации, просто случайно оказавшимся на месте происшествия, помогать раненым, они и сами ничего не предпринимали для того, чтобы медицинская помощь была им оказана как можно раньше. Телефонный разговор одного из жандармов со своим подразделением после столкновения касался только сообщения об этом происшествии. Из подразделения немедленно был послан один из жандармов в больницу, чтобы следить там за передачей раненых. Но врачей вызывать не торопились, и поэтому жандарм прибыл в больницу задолго до первых обливающихся кровью раненых и ждал их там.

Рабочие остановили легковую машину, из которой вышли три пассажира, готовые уступить место раненым, но жандармы заставили шофера отъехать. Лишь спустя продолжительное время приехал грузовик фирмы «Печены» (розлив пива в Ледвицах), куда и положили четверых раненых. Затем один из них был погружен на легковую ма-

шину, а другой на повозку из-под угля. Из-за такого — мягко выражаясь — равнодушия жандармов, которые смотрели на жертвы своей стрельбы, лежавшие в крови на шоссе, не стремясь даже ускорить оказание им медицинской помощи, количество мертвых увеличилось. От огромной потери крови и заражения умер Иозеф Кадлец. Первую помощь оказал раненым доктор Кратохвил. Насколько удалось установить, в больнице находились следующие лица:

Вацлав Скутхан из Билины, с простреленной правой рукой, верхней губой и пятью ранами от разрывных пуль. При столкновении Скутхан был прижат к стене. Прицелившийся жандарм не попал в него, пуля ударилась в стену, отскочила от нее и ранила его в спину и левый бок.

У *Антонина Краузе* из Ледвиц была прострелена левая нога.

Эвжен Сиржиште был тяжело ранен в правую ногу и левую руку. В четверг после полудня, когда он лежал в больнице с высокой температурой и отвечал на вопросы только кивком головы, жандармы подвергли его допросу.

У *Антонина Краузе* из Ледвиц была прострелена левая нога и поцарапана пулей правая.

В четверг в морге было проведено анатомическое вскрытие Иозефа Студнички из Бржежанек. Его рана, шириной в шесть сантиметров, находилась в четырех-пяти сантиметрах над соском. В морге лежал молодой парень, волосы его были отброшены назад, на груди и на лице запеклась кровь. Его рана, огромная, глубокая, зияла на груди, как вопрос. Очень трудно объяснить, как она была нанесена. При осмотре его одежды был обнаружен только один разрыв на месте ранения. Этот разрыв свидетельствует о том, что Иозефа Студничку проткнули штыком и штык повернули в ране. Такие раны наносились во время войны [*только в звериной агонии*]. Истинное объяснение причины смерти Студнички мог бы дать точный акт

вскрытия. Но акт этот не был передан в распоряжение печати, *он не был передан до тех пор, пока Студничку не похоронили.*

Алоис Ламач из Билины был ранен в правую сторону живота. Рана была, вероятно, нанесена пулей, рикошетом отскочившей от мерзлой земли.

Так по крайней мере утверждала жандармская комиссия. Алоис Ламач умер в больнице в четверг, спустя четыре часа после столкновения.

Антонин Зейтгамер из Гостомиц. Умер от пули, попавшей в правую сторону живота и прошедшей сверху вниз. Это была рана, нанесенная прямо, не рикошетом. Зейтгамер умер в больнице в страшных мучениях, в четверг, в пять часов пополудни.

Иозеф Кадлец из Гостомиц. Был ранен двумя выстрелами в левую ногу. Одна рана была, по-видимому, от пули, отлетевшей от камня, другая явилась результатом прямого попадания в мышцы левого бедра. Очень поздно приступили к ампутации левой ноги. Иозефа Кадлеца уже нельзя было спасти. Через два часа после операции, в десять часов вечера, он испустил последний вздох.

В морге лицо его было покрыто белым платком, рядом с ним лежала его левая нога.

Кроме этих убитых и раненых, перевезенных в больницу, медицинская помощь была оказана частными врачами или просто дома *еще восьми раненым* с колотыми ранениями. Один из них был очень серьезно ранен в голову.

7. После столкновения

После столкновения, на пути между виадуком и Духцовом, позади жандармского кордона собралось человек четыреста рабочих, избравших делегацию к окружному гетману — доктору Манну. Этот митинг превратился в демонстрацию, сопровождавшую делегацию до города. На

Музейной улице с помощью штыков и прикладов демонстрация была разогнана. Делегация же дошла до доктора Манна, который вначале встретил ее весьма раздраженно и сказал, что виновником кровопролития нужно считать депутата Странского. Рабочие стали решительно протестовать — в делегации был один коммунист, один социал-демократ и трое неорганизованных,— тогда доктор Манн начал постепенно отступать и в конце концов заявил:

— Я думаю, что после таких событий *государство даст округу кое-какие указания организовать какую-нибудь помощь. Я не знал, что здесь такая нищета.*

После кровопролития в Духцове атмосфера накалилась, ненависть к жандармам возросла. Чтобы нейтрализовать ее, в магазины и трактиры были посланы жандармы, завязывавшие разговоры и уверявшие, что демонстранты из Гостомиц, Билины и Ледвиц собирались в Духцове, чтобы грабить, и приготовили для этого в воротах некоторых домов большие связки палок и что в Духцове предполагалась большая резня. А на следующий день духцовские торговцы были «информированы» уже, что демонстрация состояла из подозрительных элементов, имевших при себе не деревянные палки, а железные шесты. Кроме того, говорили, что якобы депутат Странский трусливо сбежал после столкновения и скрылся. Обнаружен он был только позднее.

На основании всего этого были составлены сообщения буржуазной и социал-фашистской печати, предполагавшей, что вполне подготовлена почва, чтобы свалить ответственность на коммунистов. Они ошиблись. Слишком много очевидцев присутствовало при духцовском кровопролитии, слишком вопиющая нищета вызвала эту демонстрацию, чтобы таким сообщениям, равно как и сообщениям премьер-министра Удржала, верил кто-либо, кроме нескольких буржуазных и «социалистических» лидеров. Явным доказательством этого были похороны жертв кровопролития, состоявшиеся в субботу седьмого и в воскре-

сенье восьмого февраля в Духцове и Гостомицах. Не менее десяти тысяч рабочих и представителей средних слоев населения, присутствовавших на каждом из этих похорон, прямо указали, кого они считают [настоящими убийцами] рабочих. Над могилами мертвых они клялись:

[*Клянемся у ваших мертвых тел, что отомстим за вашу смерть. Мы, северочешские рабочие, клянемся, что отдадим все, что имеем, отдадим свою жизнь, как вы отдали свою за нас, чтобы победило наше дело. Клянемся вам, нашим товарищам, что не успокоимся, пока не сметем существующий строй, который вас убил. Сегодня палачи пролили вашу кровь, и мы заливаемся слезами. Но завтра, завтра настанет день расплаты, и судить будем мы. В этом мы клянемся вам.*]

(Вся часть сообщения, начиная с главы «Столкновение», была включена в речь депутата Недведа на заседании парламента десятого февраля 1931 года.)

Это сообщение не закончено, потому что мы еще не закончили расследования. Необходимо проверить ряд фактов. Они будут опубликованы в следующем номере «Творбы». Но из опубликованного до сих пор, я думаю, уже вполне ясно, что произошло под духцовским виадуком. Выводы будут сделаны после окончания нашего расследования.

Творба № 6, 12 февраля 1931 г.

ДЕМОКРАТИЯ ПОБЕДНАЯ!

Прага, 1 июня 1931 г.

В апреле 1930 года на шоссе у Радотина раздался залп из жандармских ружей. Упало несколько девочек. На другой день вышли буржуазные, социал-демократические, на-

ционально-социалистические газеты,— заголовки на четыре столбца, несколько слов слезливого сочувствия жертвам и несколько колонок самой подлой клеветы на депутата от Коммунистической партии, участвовавшего в демонстрации. Через несколько дней сообщения, касающиеся этого «случая», постепенно перекочевали с первой страницы на вторую, на четвертую, из четырехколонника превратились в простой петит и — исчезли совершенно. Затем газеты, указывавшие перстом на Коммунистическую партию как на платного провокатора кровопролития, скромно констатировали, что причина выстрелов расследуется и что действительно необходимо ее основательно расследовать.

В феврале 1931 года перед Духцовом раздался залп из жандармских ружей. Упало несколько раненых и четверо мертвых. На другой день вышли буржуазные, социал-демократические, национально-социалистические газеты,— заголовки на четыре столбца, несколько слов слезливого сочувствия жертвам и несколько колонок самой подлой клеветы на депутата от Коммунистической партии, участвовавшего в демонстрации. Через несколько дней сообщения, касающиеся этого «случая», постепенно перекочевали с первой страницы на вторую, на четвертую, огромные буквы превратились в простой петит и — исчезли совершенно. Затем газеты, указывавшие перстом на Коммунистическую партию как на платного провокатора кровопролития, были поставлены перед фактом публичного суда в Мосте, который не оставил сомнения в том, кто был настоящим виновником духцовского расстрела рабочих. И газеты скромно прошептали что-то об осторожности и разумности, которые необходимо было соблюдать.

В мае 1931 года на площади в Кошутах раздался залп из жандармских ружей. Упало несколько раненых и четверо убитых. На другой день вышли буржуазные, социал-демократические, национально-социалистические газеты,— и история во всех подробностях повторилась. Потом

будет «выяснено», что сельскохозяйственные рабочие Кошут были голодны, были возмущены, что «коммунисты-подстрекатели» «только ловили» рыбу в мутной воде, что необходимо было действовать «подумавши», с большей осторожностью.

Простой честный человек, читающий сообщения буржуазной и социал-фашистской прессы о расстрелах рабочих, глубоко возмущен и взволнован. Ему тяжело выразить это волнение. Есть мгновения, когда и самые спокойные люди чувствуют, как сжимается горло от неудержимого гнева, как хочется бить и плевать, бить в лицо подлым лгунам, плевать в глаза людям, для которых ни одна трагедия недостаточно сильна, чтобы потрясти их.

Но необходимо соблюдать спокойствие. Необходимо трезво посмотреть в лицо тому факту, что жизнь или смерть рабочего ни для кого из власть имущих не является причиной ночей, полных страданий; стремлений, полных желания помочь; забот, полных решимости.

«Мы одиноки,— говорит этот факт пролетариату,— мы одиноки в своей нищете, в своей обороне, одиноки в своей борьбе, и только мы сами можем себе помочь».

Трижды в течение короткого времени — тринадцати месяцев — в Чехословацкой республике стреляли в рабочих. Трижды в это короткое время раздавались залпы и падали раненые и убитые. Класс, который пытается помочь себе такими мерами, не доказывает уже своей силы. Жандармские карабины «выражаются» столь недвусмысленно, что весь дополнительный крик, извергаемый буржуазными и социал-фашистскими глотками, не может заглушить их выразительного красноречия. Теперь, только теперь видят «Право лиду» и «Ческе слово», что в Галантском округе была нищета. Теперь, только теперь говорят, что эти сельскохозяйственные рабочие не могли более жить на те буквально гроши, которые они получали. Те-

перь, только теперь рисуют глубину их нищеты и пытаются утверждать, будто «коммунисты-подстрекатели» спекульнули на этом бедственном положении и подбили рабочих на «авантюру».

Но за несколько дней до того, как четверо демонстрантов сложили головы в Кошутах, в округе была забастовка сельскохозяйственных рабочих. За несколько дней до того сельскохозяйственные рабочие боролись за повышение заработной платы, боролись вполне легальным оружием — забастовкой, и ни «Право лиду», ни «Ческе слово» о них не знали. Знал о них и руководил ими в этой борьбе «авантюрист» Майор, депутат парламента от Коммунистической партии.

В чем заключался его «авантюризм»? Он руководил сельскохозяйственными рабочими в борьбе, помогал им добиться повышения заработной платы, помогал им добиться удовлетворения их требований, помогал им сделать невыносимую жизнь более сносной. Да, это недопустимый «авантюризм». Потому что ведь этот человек подрывал основы строя, который предназначает богатство одним и нищету другим.

«Право лиду» и «Ческе слово» видят эту нищету. Но помогать бороться с ней, указывать выход из нее? Может ли помещик, состоящий в социал-демократической партии, позволить себе руководить сельскохозяйственными рабочими в их борьбе против своих коллег? Не было бы это скорее покушением на самоубийство?

Было бы. И поэтому он этого не делает. И поэтому он прольет слезу над нищетой и даст указание арестовать коммунистического «авантюриста», стремившегося эту нищету устранить.

Только однажды, один-единственный раз, мечтал я быть кинооператором. Только однажды, один-единственный раз, мечтал я иметь в руках киноаппарат и заснять одну-единственную сцену для звукового кино.

Это было во время первого заседания сената, после кошутского кровопролития. Я стоял в ложе журналистов и смотрел вниз на почти пустые скамейки, предназначенные для представителей аграрной, социал-демократической и национально-социалистической партий. Выступал тогда сенатор-коммунист, и в председательствовании чередовались бородатый Соукуп с седым Клофачем.

«Четверо рабочих,— говорит сенатор-коммунист,— пало в Кошутах. Снова четверо убитых после четверых в Духцове...»

Оратор взволнован, он говорит с негодованием.

А сенат? Отвечает.

С полупустых скамей с трудом поднимается какая-то гора мяса: «Эй, вы, снова у вас появился материал для демагогии!»

И смеется!

Смеется, когда сенатор говорит о четверых убитых рабочих. Смеются и его коллеги рядом с ним, когда сенатор-коммунист предъявляет свои обвинения в смерти четырех рабочих.

Сенат смеется.

Именно в этот момент я мечтал иметь киноаппарат и зафиксировать эту сцену, записать взволнованные слова коммуниста и этот смех полупустых скамеек, запечатлеть на правдивой пленке фильма сенат Чехословацкой республики в тот момент, когда один из его членов делает сообщение о том, что четыре гражданина демократического государства пали от выстрелов стражей закона.

Это был бы фильм, который я демонстрировал бы и в рабочих кварталах и среди деревенской бедноты без слов, без заглавия, без единого комментария. Один точный сухой фильм, пленку заседания самого высшего органа демократии. Ничего более. Фильм, принадлежащий общественной науке.

И, вероятно, никогда уже потом я не должен был бы взять перо в руки, чтобы объяснять, что такое демократия...

Творба № 22, 4 июня 1931 г.

ОПАСНЫЙ ПАМЯТНИК

С 1928 года в Подборжанах на Жатецке перед Рабочим домом стоял памятник. Усеченная пирамида с выбитым на ней рельефом: по бурным волнам, среди молний, несется корабль на раздутых парусах. У руля стоит невысокий человек с бородкой, прищуренные глаза таят энергичную улыбку. Ниже золотыми буквами написано имя. Золотые буквы под рельефом — ненужная роскошь. Это лицо известно миллионам рабочих всего мира.

Идея, двигавшая рукой рабочего, когда он выбивал изображение, ясна: бессмертный вождь пролетариата уверенной рукой ведет корабль мировой истории навстречу новым, лучшим временам.

Памятник воздвигли трое подборжанских рабочих. Простоял он три года — единственный памятник Ленину в Чехословакии. Первого мая 1931 года в Подборжаны пришло распоряжение окружной управы, гласящее:

«Лицам, поставившим памятник, предлагается убрать его в недельный срок на основании § 26 «Закона об охране республики». В противном случае памятник будет снят в официальном порядке».

В мотивировке распоряжения говорится:

«Учение Ленина несовместимо с государственными идеями Чехословацкого государства, его государственно- и конституционно-законными учреждениями, и постановка памятника имеет демонстративно-антигосударственную тенденцию».

С 1928 года в Чехословакии многое изменилось.

Число безработных и рабочих, занятых неполную неделю, возросло в несколько раз. Заработная плата с тех пор неоднократно снижалась, а социал-демократические депутаты и адвокаты за это время получили от банковских магнатов стотысячные гонорары.

Был Радотин, был Духцов, были Кошуты. И при выстрелах из жандармских карабинов, в растущей нужде все больше рабочих знакомится с человеком у руля и вступает на тот путь, который он им указывает.

И поэтому памятник Ленину, простоявший в Подборжанах три года, должен быть снят.

Утопающий и за соломинку...

Творба № 23, 11 июня 1931 г.,
за подписью «jf»

ПИСЬМО, ТАЙНО ВЫНЕСЕННОЕ ИЗ ТЮРЬМЫ

Милый Курт!

Мой отпуск был неожиданно продлен. Не знаю еще насколько. Возможно, на неделю, возможно, на две, возможно, больше или меньше. Не знаю. Значит, и в дальнейшем ты будешь замещать меня, за что я перед тобой извиняюсь. Ты, конечно, веришь мне, что я и сам не в восторге от этой затяжки, которая носит крайне недобровольный характер. Я очень спешил. Но иногда человек никак не может поспеть.

Задержали меня в Дечине и решили показать мне мою родную страну в таком свете, который считают, наверное, самым приятным. Любезно сообщили мне, что имеется ордер на мой арест и что в районном суде в Дечине еще достаточно места, чтобы принять меня в гости. Было это, надо сказать, неожиданно. В ушах у меня еще стоял шум

бурных демонстраций на берлинских улицах, звучали короткие и негромкие выстрелы на Бюловплаце — предвестники будущей борьбы. А около меня стояла тишина. Далеко-далеко гудели паровозы, отъезжающие в Германию и приезжающие обратно, на дворике, за решеткой моего маленького оконца, приглушенно разговаривали куры. Все это были звуки, углубляющие тишину. И в этой тишине возгласы бурной демонстрации становились все яснее, короткие, негромкие выстрелы были все ближе, ближе, часы отмеряли соответствие между тишиной тюрьмы и возгласами, выстрелами демонстрации — предварительным эхом будущей борьбы.

Потом пришел жандарм, строгое официальное лицо, не спускавший с меня глаз в течение всей дороги до Праги. Он не видел Лабы, через которую нас провозили, не видел Седла, Копца, с которого я любовался окрестностями, он не видел фабрик, пароходов, машин и людей, бредущих в пыли вдоль дороги и жалующихся на солнце, которого мне теперь так недостает. Он видел только «преступника», и озабоченное выражение его глаз не радовало меня. Любопытные дамы как будто бы по ошибке заглядывали в купе, где находился человек под конвоем, и испуганно прятали головы от опасных взглядов, а какая-то бабушка сочувственно пожалела о молодости, которая пройдет зря. Это были последние часы, хоть немного походившие на свободу.

Теперь я вспоминаю об этом — как будто бы поворачиваю фотокамеру, охватывающую весь пейзаж, и, прощаясь с Лабой, с лугами, фабриками, беру в фокус невзрачное здание панкрацкой тюрьмы, отделение одиночек, коридор из решеток, дверь камеры № 170. Если бы ты ее отворил или хотя бы приоткрыл окошечко, как это делает равнодушный жандарм в униформе, ты увидел бы подследственного № 2701 с красной повязкой на левой руке, подследственного, пишущего тебе это письмо на обрывках бумаги

спичкой, которую он нашел во дворе и окунул в пахучий раствор окурка. Это довольно сложная процедура, но все-таки самый верный способ написать письмо. Подследственный, конечно, имеет право писать, если следователь ему разрешает, а я не могу пожаловаться на своего следователя. Но тут возникают технические трудности. Заказываешь себе бумагу, а получаешь чернила и перо. Попросишь купить марку — получаешь опять что-нибудь другое, и к тому же все эти операции рассчитаны не на часы, не на дни, а на недели. Никто здесь не спешит. То, что на свободе можно сделать за четверть часа, делается здесь неделю. Никто здесь не спешит. Даже время. И четверть часа, незаметно пробегающие на свободе, тянутся здесь, как неделя... Становишься внимательным к каждому звуку, и даже движение клопа на выбеленной стене для тебя событие.

[Убиваю его, этого самоотверженного сожителя в камере, в которой мне положено быть единственным живым существом, но я не уверен, нет ли где-нибудь в излучинах «Закона об охране республики» наказания за такое преступление. Ведь это же все-таки государственный клоп.]

Живешь здесь жизнью глубоко интенсивной. Если бы ты мог ее тотчас же променять на видимые ценности, в проигрыше не остался бы.

Я беспокоюсь, что будет с моей книжкой. Она еще не готова. Если бы я мог писать ее здесь, я расценил бы тюрьму как хорошее монастырское заточение. Но здесь настоящая тюрьма, и где-то внизу на складе краденых вещей лежит чемодан моих материалов, советских книжек и заметок, которые едва ли могут служить обличающими документами против меня.

А мне они были бы очень нужны. Но вместо них я читаю литературу из тюремной библиотеки. Здесь разрешено читать всем подследственным. Получаешь одну книгу на целую неделю и учишься самоотречению, ухитряешься не

прочесть ее за полчаса или ищешь пути, как бы обменять ее.

Я нашел этот путь. И читаю. Все это — настоящая криминальная литература. В одной книге некая пани Фильдова рассказывает об Эльзасе, об одной жительнице Эльзаса, которая вышла замуж за немца и потом пожалела об этом, так как поняла, что национальности никогда нельзя примирить и что представители двух разных народов остаются навсегда врагами. Этот «мужественный патриотизм» я обменял на следующий день на книгу божественных притч, изготовленную для чешской молодежи из «Камо грядеши» Сенкевича. Целые фразы об отречении, об уповании на волю божию, о послушании начальству, о бедности и так далее там подчеркнуты по линеечке, чтобы никто из читающих не забыл, почему эта книжка дается ему в руки именно на Панкраце. Потом были другие книги, в которых страстно любили и наконец поженились (чтение, необычайно успокаивающее людей, от которых жена отделена тремя стенами и пятью замками), и такие, в которых бедные, но набожные люди уезжали в Америку, усердно работали там и с божьим благословением возвращались на родину, где становились уважаемыми фабрикантами.

Говорю тебе: хорошая, подлинно криминальная литература. Но жаль ее. Вчера и ее у меня отняли. Такой здесь порядок: можешь читать, это полагается по тюремным законам, но в понедельник утром книжку у тебя отнимут, а в среду вечером тебе снова дадут новую. Можешь читать.

Ну, я все-таки читал. Я читал надписи, выцарапанные на двери, на столе и на стенах. Это дело гораздо интереснее и ближе к жизни. На полочке пан Качаба охотно констатирует складным ножом, что идет сорок девятый день следствия. На столе какой-то философствующий автор запечатлел свою мудрость, выраженную словами: «Жизнь одна из самых тяжелых», на двери выцарапал

свою подпись некий Воловик, а под ней, уже после суда, он приписал немного взволнованно, но рукой, все же не забывающей о вечной памяти человеческой: «веревка». На столе, на полке, на двери, на стенах и на железной кровати отметки тихо и медленно уходящих дней, отметки, которые учишься понимать. Есть здесь такие, которые стоят в ровном ряду, точно отсчитанные и перечеркнутые рукой узника в одиночке. Это календарь заключенных.

И есть здесь другие, они неровно ложатся то легкими, то глубокими штрихами, как их написало настроение раннего утра, открывающего новый день в одиночке.

Это календарь подследственных.

День я читал книги своей камеры. Только к вечеру надо мной сжалился охранник и принес мне книгу Свободовой. Непредвиденно нежными руками он выбирал из тюремной библиотеки лучшие произведения, и в этой тишине книга представлялась всегда верхом совершенства. Пожалуй, историю чешской литературы следовало бы писать в тюрьме. Это было бы для нее выгоднее.

Дни здесь идут так. В шесть часов встаешь, в девять засыпаешь. Пятнадцать часов ты отсчитываешь по ударам часов на тюремной башне и всегда бываешь удивлен, что не слышишь на один удар больше. С улиц, которые не видишь, слышится грохот трамваев, а к вечеру печальный шум играющих детей. Воскресенье обостряет твою тишину и твое одиночество, и музыка из далекого загородного ресторана вызывает в тебе неприятное беспокойство.

На прогулке, обегая низкую траву двора, видишь результаты тюремного воспитания, слышишь разговоры заключенных:

— Когда меня отпустят, нужно будет что-нибудь быстренько сообразить, чтобы по крайней мере бабьим летом воспользоваться.

Неисправимый, непокорный.

— А ты? — смеются надо мной.

— Я, ребята, здесь не для бабьего лета, я здесь ради весны. Эта тюрьма, ребята, из вас никого не исправила. И нас она никак не может переделать, даже если бы она была еще хуже или лучше. И если меня отпустят, я встану туда, откуда меня взяли.

Много еще нужно сделать, Курт. Наверное, кое-кому это опять не понравится. Полицейская реляция, которую я слышал на следствии, показывает, что не любят они слушать о Советском Союзе и очень остроумно предполагают, что мы хвалим Советский Союз как пример. Я говорил о защите Китайско-Восточной железной дороги, о летчиках Красной Армии и о том, как к ним относится китайская армия. Господин комиссар убежден, что под китайской армией я мог разуметь только армию чехословацкую. Я рассказывал только то, что произошло и было зафиксировано историей. Но кто его убедит и докажет ему, что он ошибается? Господин комиссар «видит» далеко за словами, государственная прокуратура тоже.

Да, если бы они хоть чуть видели дальше, сдались бы.

Передавай всем привет, Курт. И в первую очередь Гарусу. Я надеялся, что снова с ним встречусь. Немного это откладывается. В пятницу — день свидания. Приходи сюда, на Панкрац. Поговорим пару минут о «Творбе». А пока — до свидания.

Юля

Творба № 34, 27 августа 1931 г.

«ПАТРИОТЫ»

Прага, 8 января 1932 г.

Вчера Прага была дважды патриотической. В Люцерне и на Славянском острове. Стршибрны и Клофач, Клофач и Стршибрны нагромождали слова, подчас без разбора, но временами чистосердечно (говоря о том и о сем),

склоняя во всех падежах слова «патриот» и «патриотизм». За это им аплодировали и тут и там. Огромный красно-белый флаг вырывался из их глоток, он развевался над их головами и над их руками, чтобы не было видно, чем эти руки занимаются.

Тысячи людей страдают. Тысячи людей голодают. Тысячи людей чувствуют, что что-то поистине не в порядке. Но когда на улице гремят слова «родина» и «патриотизм» и шумно полощутся красно-белые полотнища, то находятся многие, которые всему этому еще верят. Они любят страну, в которой живут, и полагают, что эта любовь взаимна. А те, кто присваивает их права, их труд, здоровье и жизнь, торгуют словами о патриотизме, придавая им блеск, словно в этих словах заключен какой-то иной смысл, а не стремление предавать и обогащаться за их счет.

Сколько раз от таких людей, которые живут в нищете, мы слышали:

«Вы, коммунисты, правы, но вы же идете против нашего государства». Это произносилось таким тоном, словно они хотели сказать: «Но вы же против народа». Это ошибка, когда подменяются два такие понятия. И это ошибка, когда кто-то полагает, что коммунисты идут против народа. Если кому-либо в мире и соответствует слово *патриот,* так это именно нам, коммунистам.

Мы любим свой народ и поэтому не хотим, чтобы миллионы его граждан жили в голоде и в нищете. Мы любим свой народ и поэтому не хотим, чтобы несколько его представителей могли эксплуатировать огромное большинство народа, чтобы они могли обкрадывать и притеснять его. Мы любим свой народ и поэтому не хотим порабощения других народов, их ненависти. Мы любим свой народ и поэтому хотим, чтобы он был свободен. Мы любим свой народ и поэтому боремся за свободу большинства этого народа.

Эта борьба стоит нам тяжелых жертв. На этой борьбе мы не зарабатываем миллионов. Этой любовью мы не прикрываем никакие грязные дела.

Мы любим свой народ.

И поэтому мы — коммунисты.

Прага, 9 января 1932 г.

Буржуазные и «социалистические» газеты высказали удивление: «Как, коммунисты — патриоты? Шмераль наверняка привез из Москвы новую политику!»

Нет, ее не привез ни Шмераль и никто другой, потому что она не новая. Коммунисты всегда боролись за свободу подавляющего большинства чешского народа, коммунисты боролись за освобождение чешских рабочих и крестьян, за свободное развитие творческих сил чешской трудовой интеллигенции. Чешские же капиталисты и «социалисты», манипулирующие со словами *родина* и *патриот,* как с самым лучшим товаром, могут в данном случае быть абсолютно спокойны: их наша любовь не касается.

Она не слепа.

Так же как мы любим чешский народ, мы ото всей души ненавидим чешских эксплуататоров. Мы ненавидим в чешском народе всех, кто паразитирует на его труде. Мы ненавидим в чешском народе всех, кто обрекает его огромное большинство на бедственное существование, на нищету и голод. Мы ненавидим всех, кто способствует притеснению трудового большинства. Мы ненавидим всех, кто во имя народа убивает большую часть его жестокой эксплуатацией.

Наша любовь не слепа, она не является пустой фразой. Мы знаем, что лежит в основе нищеты чешских трудящихся. Мы не представляем себе народ как нечто единое целое, мы прекрасно видим, что в нем есть два класса, два класса, интересы которых диаметрально противоположны.

Есть «патриот», который гребет миллионы, видя, как сотни тысяч страдают без работы,— и это подлинная картина жизни народной, и тот, кто налепляет на эту картину виньетку общественных интересов,— лгун. Вместе с большинством народа мы идем против его эксплуататорского меньшинства, и в этом выражается наша любовь к нему.

Редактор одной национально-социалистической газеты рассказывал на собраниях о национальной гордости советских рабочих, чтобы обосновать свой национализм. Он злоупотреблял фактами и извращал правду. Но это не пример для нас. У несвободного пролетария нет родины. У свободного пролетария есть своя родина. И мы, коммунисты, существуем здесь для того, чтобы бороться за свободу чешского пролетариата и осуществить величайшее дело в истории этого народа, опираясь на такие же устремления миллионов пролетариев во всем мире!

Руды вечерник, 8 и 9 января 1932 г.
подписано — «if»

ЧЕРНАЯ ЛАВИНА НА СЕВЕРЕ

Отпуск господина директора

Господин директор Креглер любит весну в Италии. Раннюю весну с умеренными холодами, когда с наслаждением смакуешь благоухание теплого ветра, раннюю весну, когда в пучинах синего неба еще несутся облака и бушует обычно спокойное море, когда цветы — на пути между почкой и бутоном, а листья на деревьях узкие, изжелта-зеленые.

Именно такую раннюю весну в Италии любит господин директор Креглер и теперь мечтает о ней. Слуга уже готовит тяжелые чемоданы, беспокойно ворчит спортивное авто. Через два часа прощай, черный север!

Должно быть, по контрасту директора шахт любят светлую итальянскую весну.

Господин директор смотрит на медленно ползущие по циферблату стрелки...

Через два часа...

И едва не забыл. Нужно отбросить мечты. В распорядке дня у директора есть еще один план, который нужно выполнить. И перевыполнить. План увольнения. Будешь добывать уголь, создашь запасы,— глядь, чего доброго, он и подешевел. Нет, нет! В распорядке дня директора есть один план, и северочешская угольная компания сегодня примет его предложение.

Авто зафыркало, господин директор Креглер едет на совещание.

— Ну, что?

— Предлагаю «Гумбольдтку»!

Предложение принято.

Триста восемьдесят три шахтера будут уволены, на «Гумбольдтке» остановятся подъемные клети и наглухо закроются ворота.

Что станут делать триста восемьдесят три шахтера? Господина директора об этом никто не спрашивает, а если бы и спросили, господин директор пожал бы плечами. Это его не касается, а бояться... не нужно. Уже два года увольняют людей на севере. Прежде жизнь шахтера была такова: спустишься под землю — и не знаешь, выйдешь ли еще оттуда. А сейчас она идет по-другому: поднимешься из шахты — и не знаешь, не ждет ли тебя расчетная книжка, попадешь ли ты еще когда-нибудь в забой хоть на две смены в неделю. Уже два года увольняют людей на севере — и все тихо.

У господина директора и его коллег слегка захватило дыхание весной прошлого года: голодные демонстрации. Неприятная вещь. Если у них нет работы, если они голодны, зачем кричать об этом на весь свет? В этом нет ничего достойного похвалы, и господин директор постыдился бы признаться в подобной слабости.

Уже два года увольняют людей.

Вопрос решен, и господин директор в облаке сигарного дыма предается рассуждениям о красотах Италии.

— Вы тоже приедете, коллега?

— Да, только вот нужно решить с «Нельсонкой»...

Мотор спортивного авто стреляет, Италия все ближе. Директор Креглер высовывается из машины и старается перекричать мотор:

— До скорого свидания, коллега!

— Скоро увидимся в Италии, коллега, до свидания!

Но не только палка, иногда и пророчества бывают о двух концах.

Триста восемьдесят три человека

Франц спускался в шахту в первой клети. Ему далеко идти до забоя, а если ты работаешь всего три смены в неделю, становится ощутима каждая потерянная минута. Кредит исчерпан. А с пятью детьми при девяноста кронах в неделю трудно сводить концы с концами. Если бы хоть жена еще работала в депо — ладно, но она уже девять месяцев сидит без работы. Веселый Франц давно утратил свой юмор.

Прежде чем клеть успела коснуться дна шахты, один из товарищей сообщает:

— Слыхал? Говорят, шахту закроют.

Франц не верит:

— «Гумбольдтку»? Всю? А как же мы? Ерунда.

— Не знаю. Так я слышал. Наверху, говорят, и объявления уже повешены.

Франц не верит. Но когда клеть останавливается, он не спешит к забою. Ждет. Спускается вторая клеть. В ней стоит удручающая тишина.

— Это правда?

— Да.

Вся «Гумбольдтка». Триста восемьдесят три человека. Сегодня понедельник, двадцать первое марта. Все работающие на шахте подлежат увольнению через две недели, считая с завтрашнего дня.

Франц даже не дошел до забоя. Всюду бросают работу, со всех сторон несутся выкрики, заглушающие скрип вагонеток:

— Значит, гнуть спину еще две недели!

— А потом подыхать с голоду!

— Всем!

— Триста восемьдесят три человека!

— Нет!

— Нет, ребята!

Утренняя смена поднялась на-горá необычно быстро. В раздевалке полнехонько. Послеобеденная смена стоит и не думает переодеваться. Перед ламповой не заметно обычной сутолоки. Кругом беспорядочный шум. Объявление кричит: «...все рабочие шахты «Гумбольдт» через две недели, считая с 22 марта, подлежат увольнению».

Объявление знает, чего хочет. Кричит среди беспорядочного шума — и наводит порядок.

— Через две недели? Всех? Нет, сегодня же, товарищи, один за всех, все за одного!

— Бросай работу!

— Не спускаться!

— Подыхать с голоду дома в углу — ни за что!

— Бросай работу!

— Не спускаться!

Послеобеденная смена осталась наверху. Из управления шахты несколько встревоженно звонят в Мост. В рудничное управление, в профсоюз:

На «Гумбольдтке» вспыхнула «дикая» забастовка!

Секретарь «Униона» у телефона:

— «Дикая» забастовка — неслыханное дело! Немедленно примем меры. Для защиты шахтерских интересов имеются соответствующие организации. Скажите им об этом. Заводской комитет немедленно вызываем в Мост.

Приезжает заводской комитет. От имени шахтеров заявляет, что они не хотят больше ждать, что они уже долго мирились с сокращенной рабочей неделей, со снижением заработной платы, но после того, как их приговорили к голодной смерти, они все-таки хотят сказать свое слово...

Заводской комитет говорит это энергично, но зеленое сукно на столе и утонченное воспитание чиновников управления и представителей профсоюза действуют успокоительно. Или, лучше сказать, завком несколько теряется. Как можно сердиться на человека, который не только говорит сладкие слова, но и облекает их в изысканную форму. Да, заводской комитет успокоился. Его дело, дело «Гумбольдтки» — в верных руках, его решают люди знающие и весьма доброжелательные. Решено приостановить стачку и поручить организациям в течение двадцати четырех часов договориться о возвращении на работу трехсот восьмидесяти трех человек.

На «Гумбольдтке» сообщение заводского комитета выслушали с удовлетворением. Смотрите, одна только смена не спустилась в шахту — и сразу начались переговоры. Так и нужно. Профсоюзные организации наведут порядок. Так это и нужно.

Когда в среду утром ночная смена поднялась на-горá, ее уже дожидалась утренняя. Получено сообщение. Профсоюзные организации обсудили вопрос и настоятельно рекомендуют всем рабочим шахты согласиться с выгодным решением, которое может быть расценено как значительный частичный успех. Управление уступило. Триста восемьдесят три человека увольняются через две недели, считая с первого апреля, а не с двадцать второго марта.

Четыре члена заводского комитета находятся на своем месте. Трое от Союза и «Униона», один — коммунист.

— Промышленный союз не согласен с этим решением.

— А «Унион»? А наш Союз?

— Согласны.

— Мы, мы не согласны!

Тихая, благородная шахта бушует.

— На неделю отсрочили голодовку!

— Предали нас!

— Не подчинимся! Не спустимся в шахту!

— Остановить машины!

Ночная смена поднялась. Колеса подъемника остановились. Никто не спускается под землю. «Гумбольдтка» стоит вторично. И не одну смену.

Среда, двадцать третье марта, утро.

Черная лавина

Среда, двадцать третье марта, утро. В этот миг рождается лавина. Черная лавина на севере. С «Гумбольдтки» валит поток шахтеров. Кто-то кричит:

— На «Центрум»!

Никогда не узнаешь, кто дал эту команду. Может быть, один человек, может быть, все. Но эта команда остановила подъемники всего северочешского бассейна. А может быть, и больше.

— На «Центрум»!

«Центрум» — ближайшая шахта. И там тоже знакомы с планами такого сорта. И там уже знают, что такое увольнение. И еще узнают. «Гумбольдтка» не может победить одна. Пусть поможет «Центрум»! Пусть поможет «Фортуна»! Пусть помогут «Геркулес», «Квидо», «Гедвика», пусть помогут мостецкие, ломские и духцовские шахты!

Собирается демонстрация из трехсот человек — пока небольшой клубок черной лавины на севере. На дороге ждут женщины.

— Забастовка? На «Центрум»? Мы пойдем с вами.

Пятьсот мужчин и женщин стоят во дворе «Центрума».

— Товарищи, так жить мы больше не можем. Не можем, сидя в уголке, ожидать смерти. Бросьте работу! Помогите нам! Дело идет и о нас и о вас. Нам никто не поможет, кроме нас самих! Не спускайтесь под землю! Идемте с нами!

— Бросай работу!

— Не спускаться!

— Забастовка...

— Товарищи,— старается кто-то перекричать возгласы, призывающие к стачке,— товарищи, нельзя так начинать!

Все стихают. Это Ронеш, социал-демократ, член заводского комитета. Он говорит громким, убедительным голосом. Стачка не подготовлена. Нужно немедленно уведомить профсоюзную организацию, посоветоваться, договориться, выработать условия, шахтеры должны уважать закон и доверять своим организациям.

Ронеш говорит недолго. Тишина, в которой он черпал мужество, нарушена. Толпа разражается криками протеста:

— Ты предаешь наше дело, говоришь, как ваши секретари!

— Замолчи!

— Оставьте его, пустите к нему нас! — кричат теперь женщины. Мужчины расступаются.

Ронеш говорил недолго...

— На «Фортуну»!

Лавина катится к «Фортуне». Пока все тихо, но эта тишина сейчас кажется зловещей.

— Забастовка!

«Фортуна» присоединяется.

— На «Юлиус-V»!

Три тысячи мужчин и женщин стоят во дворе государственной шахты. Смена уже под землей.

— Прекратить работу! Поднять всех на-горá!

Управление шахты пытается вести переговоры.

— Прекратить работу! Поднять всех на-горá!

Из управления шахты требуют по телефону жандармов. Они приезжают. Перед ними стоят три тысячи мужчин и женщин и словно не замечают их.

— Прекратить работу! Поднять всех на-горá!

Из управления звонят под землю: «Прекратить работу! Поднять всех на-горá!» Больше ничего не остается делать. Выходит черная от угля смена, ее приветствуют, она отвечает:

— Вам давно бы следовало прийти.

Среда, двадцать третье марта. Вечер.

Стоят «Гумбольдт», «Центрум», «Фортуна», «Юлиус-V».

В четверг с утра лавина катится от шахты к шахте. Катится и растет.

Вечером стоят четырнадцать шахт: «Гумбольдт», «Центрум», «Фортуна», «Юлиус-V», «Квидо I—III», «Квидо-IV», «Колумбус», «Геркулес», «Рихард», «Эвжен», «Юлиус-II», «Юлиус-III», «Громан» и «Роберт».

Триста восемьдесят три шахтера выбросила «Гумбольдтка».

Шесть тысяч шестьсот сорок четыре шахтера бастуют на следующий день.

На Лом, на Духцов!

В пятницу утром шахтеры ломских шахт, спускаясь под землю, были уверены, что долго работать им не придется. Государственные шахты уже стоят, стоят шахты Северочешской угольной компании.

Вчера вечером, расходясь, иржетинские шахтеры, утомленные двухдневным походом, бросили призыв:

— Завтра в Лом!

— И в Духцов! Нужно остановить «Александр»!

«Венера» дожидаться не стала. Там уже никто не работает.

На площади в Ломе образуется новое ядро огромной лавины. Митинг. Никто не спрашивал разрешения, никто не давал его. Жандармы ходят по городу и смотрят. Больше ничего — только смотрят. Люди съезжаются со всех сторон, наспех захватив с собой завтрак. Государство слишком пренебрегло своими обязанностями: у каждой шахты должны бы стоять кордоны, у каждой шахты — пулемет, как на эрвеницкой электростанции, тогда господин директор Креглер не лишился бы возможности провести прекрасную весну в Италии.

Утро начинается многообещающе. Пытаются установить спокойствие и порядок. На «Рихард» у Моста пришли жандармы. Пришли все рабочие, созванные заводским комитетом...

— У нас есть директивы от организаций. Увольнение будет отменено. Не нужно бастовать, товарищи! Сегодня мы уже спускаемся под землю.

Как? Кто спускается? Члены заводского комитета бледны и пытаются отстоять свое предложение. Авторитеты из профсоюзных организаций также.

— Спускайтесь! — кричат рабочие.— Спускайтесь! Мы примем меры, чтобы вы оттуда не выбрались!

«Рихард» держится твердо. И наряд жандармов уходит, чтобы сообщить, что нельзя десятку человек в серо-зеленых мундирах нарушить спокойствие и порядок в рядах тысяч шахтеров.

Утро началось многообещающе.

И в одиннадцать часов уже стояли тршебушицкие «Саксонка», «Вашингтон», «Венера», «Минерва» и ломские «Маринка», «Плутон».

А в двенадцать часов спокойствие в Ломе было сметено пятью тысячами иржетинских и литвиновских шахтеров, идущих в Лом и в Духцов.

Огромный двор «Раче» набит битком. В управлении заметили лавину, катящуюся к шахте, и сами позвонили под землю: «Поднять всех на-гора́!»

К раздевалке подходят первые ряды бастующих как раз в тот момент, когда первая клеть поднялась на поверхность.

— Правильно, товарищи! Мы вас ждали. Заводской комитет не позволил даже проголосовать вопрос о стачке.

Но что случилось с заводским комитетом? Председатель, высокий, ловкий Иоганн Кленбер, член «Униона», снизошел до того, что стал говорить, с трудом овладев собой:

— Сегодня забастовка!

— А завтра?

— Решат организации.

Шахтерам уже известно решение реформистских организаций: они против забастовки, обьявленной «дикой». Иоганн Кленбер стоит перед барьером. Позади — бездна. Толпа медленно подступает к нему. Иоганн Клен-

бер инстинктивно отступает от барьера. Позади него — бездна!

— Вон! Вон! Скажи-ка это всем! Нас здесь пять тысяч во дворе. Пусть все тебя послушают!

Это кричат уже люди из смены Кленбера. Кленбер, может быть, и не из трусливых. Может быть, он только верит в правоту своей организации, которая столько раз уже предавала борьбу рабочих за свои права. Может быть. Но люди из его смены хорошо его знают. Поток выносит председателя заводского комитета во двор.

Пять тысяч заявляют о прекращении работы на «Раче».

Под землю больше никто не спускается.

Пять тысяч ставят вопрос о «Плутоне» и «Александре». На «Плутоне» реформисты, члены заводского комитета, послали тридцать восемь человек под землю. Якобы на предохранительные работы. Зачем нужно тридцать восемь человек для предохранительных работ? На «Плутон»! Но «Александр» в Грдловке — самая большая, ведущая шахта Духцовского округа — все еще пока работает. На «Александр»! Нужно решение! Голосуют.

На «Александр» послана армия велосипедистов. Шестьсот человек выезжают сообщить рабочим «Александра», что шахтеры ждут их помощи.

— Разрешаем оставить на предохранительных работах десять человек. Всех остальных — на-горá!

Через полчаса из шахты выбегают двадцать восемь человек.

— А теперь на «Александр»! На помощь велосипедистам!

На дороге между «Плутоном» и Ломом они встречаются. Пешие и велосипедисты.

— «Александр» стоит!

— Все благополучно?

— Благополучно. Жандармы зашли в канцелярию, нас остановил только привратник. Ну, мы его отстранили, пришел инженер, и затем в раздевалке мы единодушно объявили стачку.

Вечер, пятница, 25 марта.

Триста восемьдесят три человека выбросила «Гумбольдтка».

Пятнадцать тысяч человек остановили подъемники на тридцати одной шахте.

Прощай, Италия!

Не только палка, иногда и пророчество оказывается о двух концах.

Господин директор Креглер прощался: «Скоро увидимся в Италии, коллега, до свидания!»

Оно наступило скоро!

Хотя и не в Италии.

Сегодня в Мост пришла телеграмма. Над господином директором светило итальянское солнце, в синей пучине неба неслись облака, и бушевало обычно спокойное море, тихо распускались цветы, в Италии была прекрасная ранняя весна — все это было, когда господин директор писал свою телеграмму:

«Приеду во вторник точка отмените точка что делает окружной гетман точка Креглер».

Окружной гетман делает все, что в его силах. Правительство — тоже. Господа Погл и Брожик — тоже.

Но в субботу утром семнадцать тысяч северочешских шахтеров на тридцати пяти шахтах выступили на защиту трехсот восьмидесяти трех товарищей с «Гумбольдтки».

Руде право, 27 марта 1932 г.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЗАБАСТОВКА И КРОВОПРОЛИТИЕ НА СЕВЕРЕ

Справедливую борьбу шахтеров хотят потопить пусть даже в потоках крови.

Из речи депутата товарища Готвальда 30 марта 1932 г. в парламенте.

Мост, 13 апреля 1932 г.

В половине восьмого утра звонит телефон в секретариате центрального забастовочного комитета. Духцов говорит, что забастовка охватила сто процентов рабочих. Встал литейный завод, фарфоровый, стекольный, металлургический, остановилось строительство, в магазинах опускаются шторы — Духцов стоит.

После восьми приезжают велосипедисты из Верхнего Литвинова. Литвиновские текстильщики присоединяются к забастовке.

Вот как это произошло: молодые горняки расставили патрули, текстильщики спокойно брели на работу.

— Куда вы? Неужели вы ничего не знаете о генеральной забастовке?

Забастовочный патруль выполняет свои обязанности. Он говорит о солидарности. Текстильщики краснеют и поддакивают. Потом возвращаются домой. Бастуют Пик и Шицк.

Двадцать текстильщиц бредут из Залюжей.

— На работу?

Но забастовочному патрулю не удается закончить. Галопом скачет взвод драгун, и обнаженные сабли, указывают работницам, куда им надо держать путь. Молодые

ноги поглощают десятки метров пути, но, прежде чем работницы добегают до ворот, вырастает их протест и рождается решение, к которому их призывал патруль.

— Нет, драгуны не погонят нас на фабрику!

Текстильщицы разбегаются по полю, и взвод драгун без добычи останавливается перед воротами...

Это рассказывают первые велосипедисты из Литвинова. Возвращаясь обратно, они встретят по дороге товарищей с новыми вестями. Маленький, выкрашенный в яркий цвет домик в Мосте стал подлинно «Нашим домом», как написано на его фасаде. Он стал домом центрального забастовочного комитета, домом всех северочешских комитетов, всех северочешских пролетариев. Десятки велосипедистов съезжаются к нему со всех сторон. Приходят все новые и новые сообщения. Уже стоит Лом, уже стоят Ледвицы, уже стоят Осек и Грдловка.

И вот опять литвиновцы. Поступают сведения о двух с половиной тысячах бастующих текстильщиков и текстильщиц, направляющихся на шляпную фабрику, которая еще не остановилась.

(Вторая часть репортажа, отсюда и до конца, была прочитана депутатом товарищем Запотоцким на вчерашнем заседании парламента.)

Литвиновская баррикада

Три тысячи бастующих стоят сейчас перед фабрикой. Они посылают делегацию в заводской комитет. Трудно не впустить ее на фабрику, если три тысячи человек оказали ей доверие. Но у жандармов есть винтовки, а у драгун — сабли и кони. Кажется, этого достаточно, чтобы не была уважена воля людей.

Толпа стоит спокойно и тихо, ждет своих делегатов и освобождает место: «Расступитесь, товарищи, пусть пройдут драгуны».

Однако драгуны на севере существуют не для того, чтобы объезжать людей. Они здесь для того, чтобы врываться в толпу. Господин надпоручик знает это и дает приказ к наступлению. Коротким, стремительным галопом драгуны и конные жандармы врезаются в тело толпы. Забастовщики испуганно отступают. Но затем испуг сменяется негодованием. «Мы стояли совершенно спокойно. Даже не кричали. За что драгуны нападают на нас? Долой!»

«Долой!» — это не пожелание, это лозунг, а северные чехи уже умеют проводить в жизнь свои лозунги. Драгунам и жандармам не удается использовать ружейные приклады и сабли, копытам их лошадей не удается смять толпу: на головы драгун и жандармов летят первые камни.

Атака отбита. Драгуны отступают и после краткого совещания предпринимают новое наступление.

Литвиновцы хорошо знают свои права и не уступают. Внезапно посреди улицы, когда никто этого не ожидал, вырастает барьер. Длинный деревянный забор установлен на краю шоссе. Гора камней и обломков кирпича. Это баррикада, зародыш баррикады, которая должна остановить драгун и жандармов. За баррикадой стоят три тысячи бастующих, и единственное их оружие — камни. Драгуны и жандармы пришпоривают коней и бросаются на баррикаду. Демонстранты открывают пальбу камнями. Несколько человек держат эту примитивную баррикаду голыми руками вплоть до того момента, когда над их головами занесены драгунские сабли. Теперь баррикада обрушивается под ноги коней, кони становятся на дыбы и — они разумнее всадников — отказываются слушаться приказа офицера. Идет бой, короткий и жестокий. Несколько раненых с обеих сторон — и вот драгуны во всю прыть удирают с поля сражения.

Последние сообщения из Литвинова: весь Литвинов стоит. Но еще до этого известия велосипедисты рассказали о бурном начале событий, не о генеральной забастовке,

а о столкновениях с драгунами и жандармами, через которые прошел Литвинов раньше, чем удалось сообщить о стопроцентном участии в генеральной стачке.

И вот, наконец, последнее сообщение по телефону из Духцова о том, что он забастовал весь целиком и дело обошлось без раненых, без жертв, потому что там государственная сила не вмешивалась.

Мост

Во вторник в министерство внутренних дел явилась депутация бастующих.

Прежде всего она заявила, что хочет договориться о самом важном вопросе: о человеческих жизнях, о спокойном ходе демонстрации бастующих, которые не собираются устраивать революцию, а идут на демонстрацию, где хотят во весь голос сказать о своей нищете и провозгласить свое боевое единство. Вот все, что думала передать делегация борющихся горняков господину министру. Но для этого у господина министра не нашлось времени. Он не принял делегатов и препроводил их к министерскому советнику Рейзеку. Господин министерский советник знал о том, что окрестные уездные начальники в Мосте, Хомутове и Устье запретили выступления рабочих. Господин советник знал о том, что эти запрещения приняты против воли всего трудящегося населения чешского севера. Он также прекрасно знал и то, что приказы такого рода — провокация и те, кто провоцирует, имеют цель пролить кровь. Но господин министерский советник знать ничего не хотел о том, что за все это несут ответственность не только местные уездные начальники. Он не хотел ничего знать о том, что за все это ответственно министерство внутренних дел, а с ним и все правительство. Господин министерский советник говорил гладко, много и так, чтобы ничего не сказать. Все-таки в конце концов он оставил свою сдержан-

ность и заявил, что хотя не может отменить отданное распоряжение потому, дескать, что оно исходит не от министерства внутренних дел, а от местных учреждений, но, однако, уездным начальникам будет дан приказ, чтобы они мирились с демонстрациями и митингами бастующих до тех пор, пока это не явится прямой угрозой общественному спокойствию. Так заверил господин министерский советник, это слышали делегаты от забастовщиков севера и спокойно возвратились к себе, чтобы передать обещание властей своим товарищам.

Это произошло во вторник двенадцатого апреля, вечером.

В среду тринадцатого апреля, в полдень, в Мосте без предупреждения было установлено военное положение.

К Мосту — резиденции стачечного руководства, к Мосту — центру горняцкой забастовки — стремились тысячи шахтеров, текстильщиков, металлургов и безработных всего округа. Их созвал туда на митинг забастовочный комитет, их собрало уездное начальство, которое, согласно обещанию министерского советника, должно было благосклонно относиться к митингу. Но уездный начальник приказал окружить Мост тысяче жандармов, пешим войскам и драгунам, полиции государственной и местной, находившейся в распоряжении города, во главе которого стоял фашист. Мост слишком явно походил на город, в котором армия ждет врага и стягивает все свои силы, чтобы одолеть его в уличном бою. На каждой площади сотня жандармов и, кроме того, полиция; перед уездной управой взвод в военной форме, в стальных шлемах, с пулеметами в руках. Десятки жандармов ходят по улицам, десятки драгун разъезжают по городу с обнаженными саблями; остановишься — на тебя уже наставили штык; попытаешься группой в три человека перейти улицу — за тобой уже едут драгуны.

Вот сколь доброжелательны были действия, обещанные господином министерским советником!

Но о них не знали шахтеры из Лома и из Литвинова, из Соуши и из Коморжа. Шахтеры шли, веря, что их право признали даже власти демократической республики, шахтеры считали, что только человек без сердца и без разума мог бы выступить против них. Они верили, что господин министерский советник говорил правду. Они верили, что господин министерский советник обещал доброжелательное отношение не для того, чтобы погнать больше тысячи северочешских рабочих под жандармские винтовки, под сабли драгун, под пулеметы, несущие смерть.

Спокойствие и порядок

Жандармы с утра расхаживали по Лому и считали первейшей своей обязанностью напоминать о своем существовании людям, собирающимся маленькими группами. Но к полудню эти группы превратились в большую толпу, и жандармы вернулись в полицию и в жандармское управление. Хорошо быть жандармом, когда десяток человек при виде тебя обращается в бегство. Но куда менее выгодно выступать против тысяч людей, которые и не собираются бежать.

Толпа медленно формируется в колонну. Затем колонна демонстрантов во главе с шахтерами из Кох-И-Ноора движется вперед по Литвиновскому шоссе — тому самому шоссе, по которому месяц назад шагал Ванек из Литвинова, их товарищ, который, придя в шахту, упал возле тех семерых из Лома, из Флайи и из других мест.

В Литвинове демонстрантов уже ждут патрули. Велосипедисты обгоняют шествие, снова возвращаются и сообщают, каково положение там, куда направляется процессия. Перед Литвиновом велосипедисты объявляют, что колонну ждет пять-шесть тысяч литвиновцев. Это сообщение принимается с восторгом. А жандармы и кавалерия? Женщины пожимают плечами. Зачем это? Мы сами охраняем спокойствие и порядок.

Теперь колоссальная процессия уже движется вниз по шоссе, ведущему от Литвинова к Мосту. По пути к ней присоединяются сотни новых пролетариев. В центре велосипедисты, за ними женщины, потом мужчины в праздничной одежде, шахтеры, текстильщики — все забастовщики; сбоку партийные организаторы с красными повязками, сзади отряд первой помощи. Так они идут: пять, шесть, восемь тысяч пролетариев в образцово построенных колоннах — прочная гарантия покоя и порядка.

И так же как прежде литвиновцы на Ломском шоссе, бастующие из Копист ждут демонстрацию, о которой им уже сообщили патрули-велосипедисты.

Тысячи рабочих стоят на площади. То там, то тут пройдет местный полицейский, то там, то тут покажется местный жандарм, иногда он поздоровается кое с кем из ожидающих и идет дальше своей дорогой. Он знает, что ему здесь нечего делать. Знает этих людей, знает их нищету, знает, что они правы, и знает, что они сами охраняют спокойствие и порядок.

«Драгуны едут»

Восьмитысячная процессия движется вдоль первых бараков Копист. Вдруг на повороте улицы появляются велосипедисты. Они мчатся быстро, еле переводя дыхание. Вот они соскакивают около первых демонстрантов и кричат: «Драгуны едут!»

— Ну и что же! Пропустим их!

Колонна не заколебалась, она по-прежнему спокойно двигалась по первой улице Копист и вышла на площадь. Площадь большая, посредине разбит сквер, и молодые акации в нем говорят о наступлении весны. Пока демонстрация вступает на площадь, жители Копист, столпившиеся на другом конце, пристально смотрят на улицу, ведущую к Мосту. С той стороны приближаются драгуны. У деревни

они останавливаются. Трое с командиром во главе выезжают вперед, и командир по-чешски и по-немецки именем закона предлагает всем разойтись. Но жители Копист этого не слышат. Шахтеры, которые воевали в легионах, шахтеры, которые после переворота целую смену еженедельно работали сверхурочно во имя молодой Чехословацкой республики, шахтеры, которые всегда слушались лидеров в правительстве, шахтеры — национальные социалисты и социал-демократы — снимают фуражки и поют: «Где родина моя». И это не ирония. Шахтеры совершенно серьезны: этим они хотят сказать чешским драгунам, сопровождаемым чешскими жандармами, что они — граждане своей демократической страны и что в их демонстрации против голода и нужды нет стремления разрушить государство. И в тот самый миг, когда несколько сот шахтеров и их жен поют: «...всюду — словно рай земной...» — штабной капитан Шках дает команду, и взвод драгун первого кавалерийского полка из Терезина с саблями наголо стремительно врывается в толпу жителей Копист.

Песня смолкает, фуражки надвигаются на головы, шахтеры, воспевавшие свою родину в государственном гимне, разбегаются в разные стороны. Драгуны галопом въезжают на площадь. Колонна из Литвинова дошла уже до середины площади. Штабной капитан преисполнен гордости от сознания легкой победы над тысячами жителей Копист. Он отдает команду идти в атаку против восьмитысячной колонны. Но колонна не останавливается, она движется навстречу взмыленным коням. Кони становятся на дыбы, сабли опускаются на головы демонстрантов. Но это длится лишь несколько мгновений. Лишь столько, сколько нужно, чтобы демонстранты осознали, что удары, нанесенные саблями и копытами коней,— это и есть обещанная доброжелательность правительственного учреждения. Через минуту рабочие понимают, что драгуны прибыли с целью нарушить спокойствие и порядок в рядах демонстрантов.

Во имя сохранения порядка и спокойствия нужно употребить все средства. Так говорит министр внутренних дел, так говорит уездный начальник, так говорят стреляющие жандармы. У демонстрантов нет ни ружей, ни револьверов. Все их оружие — это камни, колья из заборов, прутья молодых акаций. Этого хватит. Драгуны и конные жандармы обращаются в бегство, а спокойствие и порядок на минуту водворяются. Штабной капитан не желает признать своего поражения и через две минуты начинает новую атаку. Но теперь дела идут хуже. Демонстранты видят, что уж чересчур настойчиво нарушается обещание правительства. Против атаки драгун они предпринимают контратаку. Уже не дождь камней, а каменная завеса вырастает на пути драгун и жандармов. Демонстранты срывают атаку драгун, расстраивают их ряды и гонят назад, назад к Мосту, через всю площадь, за село. Кони спотыкаются и падают. Один драгун летит на землю, а испуганный конь тащит его по мостовой, по тротуару, ломая его телом небольшие деревца по пути. Все остальные это видят. Видят, что их товарищ остается лежать на земле и его берут в плен демонстранты. Но никто не решается вернуться. Пленного драгуна демонстранты отправляют в городскую управу. Там, увидев, что он ранен, ему оказывают первую помощь. Теперь совершенно ясно, какую роль играют демонстранты в вопросе сохранения порядка и спокойствия. Они заботятся о своем раненом пленнике и увещевают его. С раненым демонстрантом, попавшим в руки жандармов, вероятно, обошлись бы по-другому.

Штабной капитан хочет заслужить себе награду. Во главе своего поредевшего отряда он возвращается на площадь и предпринимает третью атаку. Но энтузиазм драгун уже иссяк, и наступление прекращается посреди площади, на виду у тысячи людей, окруживших взвод. Это напоминает случай с одним из драгун, который во время второй атаки отказался въехать в ряды рабочих и был тяжело

ранен конным жандармом саблей по голове. На площади шахтеры обращаются к солдатам. Потом из городской управы доверенные рабочих телефонируют в уездное управление. Они объявляют перемирие на площади, требуя, чтобы тысячам демонстрантов разрешили вступить в Мост. Они гарантируют спокойствие и порядок, которые превосходно сохраняли всю дорогу и за которые должны были бороться в Копистах. Они предупреждают, что рабочие массы возмущены провокацией уездной управы, и говорят, что опасаются очень серьезных происшествий.

Господина уездного начальника нет на площади в Копистах. У господина уездного начальника, по фамилии Немец, которого министерство внутренних дел, выполняя желание горнозаводчиков, послало в Мост, только одно убеждение: против рабочих хороши любые средства. Перед зданием управы стоит войско, тут же пулеметы. Господин уездный начальник решил, что сегодня на его улице будет праздник. Поэтому его ответ стереотипен: не позволю, не уступлю, запрещение имеет силу, до Моста не дойдете, чего бы это ни стоило. Через четверть часа звонит по телефону жандармский начальник. Его голос дрожит, он просит совета и начинает уговаривать, чтобы запрещение отменили, так как положение неустойчиво. Уездный начальник прерывает его:

— Не позволю!

Что из того, что девять тысяч граждан Чехословацкой республики требуют свободы демонстраций? Господин уездный начальник не позволит, потому что не желает подорвать свой служебный престиж,— и пусть это стоит человеческих жизней, пусть даже, наконец, разобьют головы жандармам и драгунам, господин уездный начальник может себе это разрешить: ведь в его распоряжении еще двадцать пушек и шестьдесят пулеметов; у девяти тысяч граждан Чехословацкой республики пропадет желание устраивать демонстрации, когда им всадят пулю в грудь.

Но после третьего телефонного звонка господин уездный начальник заговорил более мягким тоном.

— Я разрешу вам провести митинг завтра или послезавтра,— опять обещает он,— разрешу провести его, когда только захотите, но сегодня сделать это не могу.

Поток демонстрантов отхлынул по направлению к Мосту. На шоссе их встретили сорок жандармов, посланных в помощь тем, которых в Копистах окружила толпа. Пришло подкрепление, и мудрый командир приступил к осуществлению перемирия, до сих пор сохраняемого в Копистах. Но ситуация оставалась очень серьезной. Велосипедисты принесли из Моста известие о том, что город осаждают жандармы и войско. Конечно, можно призвать: «Товарищи, идемте!» — и тысячи людей двинутся вперед и дойдут до Моста. Но сколько их погибнет! Теперь опять выясняется, кто здесь охраняет спокойствие и порядок. Члены забастовочного комитета, рабочие-коммунисты, организаторы демонстрации, держат совет. В конце концов они решают еще раз попытаться мирным путем войти в город и договариваются с жандармским начальником о разрешении митинга в Копистах. Жандармский начальник — вокруг него тысячи рабочих — дает свое согласие,— митинг разрешен. Выступают несколько ораторов, которые опять и опять подчеркивают, что шахтеры сами обеспечивают спокойствие и порядок и будут защищать их ото всех, кто вздумает их нарушить. Потом колонна демонстрантов снова движется к Мосту. Жандармы и драгуны уже не вмешиваются. Над ранеными, над убитыми, над истоптанной площадью висит вопрос: за что?

У Моста состоялся еще один митинг. Уже третий по счету вместо того, который не разрешили в самом Мосте. Теперь комиссар из политического управления вынужден был его разрешить. Митинг «охраняет» тройной кордон жандармов. Митинг проходит под дулами пулеметов. За-

тем так же организованно, как и пришли, рабочие, повинуясь указанию организаторов, расходятся по домам.

Можно было, конечно, овладеть Мостом, но только ценою многих человеческих жертв. Если с этим не хочет считаться уездный начальник, то с этим считаются шахтеры, металлурги, текстильщики.

Между Соушью и Мостом

По Хомутовской дороге из Соуши, Комодржан и Тршебушиц, так же как и от Литвинова, Лома и Иржетина, тянулась в Мост колонна забастовщиков в две тысячи человек. На окраинах Моста, там, где внизу у канала вьется полевая дорога, ведущая к винокуренному заводу, забастовщики наткнулись на кордон жандармов. Те, что впереди, ведут переговоры с комиссаром. Снова и снова повторяют, что хотят спокойно пройти в город. Хотят попасть на митинг, который, дескать, будет разрешен уездным начальником согласно обещанию министерского советника. После длительных переговоров комиссар пропускает депутацию в город. Одновременно в помощь кордону жандармов приезжает отряд драгун.

Около тысячи жителей Моста с другой стороны кордона движутся навстречу процессии из Соуши; тем временем к ней присоединяется еще тысяча человек. Через полчаса депутаты возвращаются и докладывают, что уездный начальник ни за что не уступает. Три тысячи демонстрантов с одной стороны, тысяча — с другой, а посредине — кордон жандармов и драгун. После новых переговоров полицейский комиссар разрешает митинг на шоссе.

— Товарищи, последнее, что надо сказать на сегодняшнем митинге, это вот что: дорога к Мосту может быть залита кровью. Действия уездного начальства — провокация. Мы не должны поддаваться. Это дало бы повод для кровавого подавления нашей борьбы...

Но митинг не заканчивается. Тысяча демонстрантов, стоящих по ту сторону кордона, хочет принять в нем участие. Кордон жандармов не желает выпустить демонстрантов из города, хотя до сих пор повсюду на окраинах Моста действует только один приказ — не впускать в город. Предстоят большие волнения, и доктор Эйхлер, комиссар политического управления, отдает приказ действовать против демонстрантов, находящихся в городе. Дело доходит до стычки, во время которой доктор Эйхлер теряет знаки отличия и саблю, исчезающую в канале. Теперь драгуны предпринимают атаку. Когда демонстранты, которые находятся за городом и участвуют в митинге, видят, что происходит с их товарищами в Мосте в тот самый момент, когда к ним обращаются с призывом поддержать порядок, они начинают протестовать гневными криками против действий жандармов и драгун.

Организаторы плотной стеной окружили участников митинга, чтобы помешать столкновению. Но несмотря на то, что митинг разрешен, несмотря на то, что демонстранты сами сохраняют образцовое спокойствие и порядок, начальник поворачивает драгун против народа и начинает стремительную атаку. Люди разбегаются по полю, драгуны за ними. Люди спотыкаются о глубокие борозды и падают, драгуны галопом перескакивают через тела, а конные жандармы — более исполнительные — останавливаются над упавшими, чтобы нанести им удар саблей.

Теперь, конечно, самое время, чтобы и здесь обеспечить спокойствие и порядок. На головы драгун и жандармов летят камни — единственное оружие рабочих. Полчаса длится битва. Земля усеяна камнями и утоптана лошадиными копытами. Еще на железнодорожной насыпи рабочие защищаются от жестокой атаки. Затем драгуны и жандармы отступают, и бастующие свободно проходят через поле на шоссе.

Три четверти часа царит спокойствие. Потом драгуны

и жандармы нападают на демонстрантов, стоящих на Мостецком шоссе. Это бессмысленное, жестокое нападение, во время которого один из взводных командиров кавалерии вытаскивает револьвер и стреляет. Первые три выстрела на этом шоссе, которые повторятся не скоро, потому что командир взвода уже обезоружен.

Однако атаки и выстрелы опять собирают демонстрантов, которые разбрелись по полю и хотели было уходить домой. Теперь, увидев, что творится в Мосте, рабочие и их жены возвращаются. И вот уже опять две тысячи рабочих стоят на Соушском шоссе. Стоят и смотрят. В нескольких сотнях метров от них жандармы и драгуны бьют демонстрантов. Вот из гущи боя вынырнула беременная женщина с окровавленными губами, бледная и испуганная. Ее подхватил Иван Кржиж, рабочий-коммунист из Соуши, который как раз пробирался из Моста домой. Испуганная женщина жалуется ему:

— Смотрите, что со мной сделали. Муж остался лежать на улице, а я едва вырвалась. И я еще в таком положении... Прямо-таки не знаю, что теперь будет. Помогите мне!

Поддерживая женщину под руку, Иван Кржиж отвел ее к городским баракам, тянувшимся по левой стороне Соушской улицы.

Когда они приблизились к первым рядам демонстрантов из Соуши, Кржижу пришлось несколько раз ответить на вопрос: «Что случилось?» Он рассказывал все, как было. Люди возмущались. Женщина, перед которой каждый из них вежливо бы посторонился, была избита прикладами жандармов и саблями драгун. В этот момент из Моста прибыл еще двадцать один жандарм. Их послали сюда для того, чтобы вновь нарушить порядок в рядах демонстрантов. Люди, возмущенные всем происшедшим с бедной женщиной, встретили их негодующими криками. Жандармы выстроились против колонны.

Демонстрантов невозможно остановить. Опять летят камни. Жандармы отходят. Наступает минута напряженной тишины. Затем жандармы снова идут в атаку, и демонстранты снова обороняются камнями. Жандармы опять собираются на том месте, где стояли прежде, и дают первые залпы. Они стреляют в воздух. Дождь камней прекращается. Демонстранты разбегаются в разные стороны. Только с правой стороны, с полевой дороги, ведущей к винокуренному заводу, летит несколько камней.

Командир жандармов еще колеблется, но начало положено, и он без сигнала трубы, без вызова, без предупреждения отдает приказ к дальнейшей стрельбе. Три залпа и очередь коротких выстрелов; жандармы целятся в демонстрантов. Камни уже не летят, демонстранты слишком далеко, чтобы докинуть до жандармов. Все-таки сбоку падает несколько камней. Но жандармы стреляют прямо по шоссе. На дороге к винокуренному заводу лежит мертвый. Это девятнадцатилетний Иозеф Шевчик из Лома, ему прострелили легкие. Остальные лежат на шоссе, и ближе всех Иван Кржиж, тот самый, который помогал беременной женщине и поэтому опоздал, тот, которому труднее всего было убежать, и поэтому он оказался ближе всех к кордону жандармов. Он мертв, у него прострелена голова. Он лежит в ста четырнадцати шагах от места, с которого выстрелили жандармы.

Пальба прекращается. Демонстранты возвращаются к своим раненым. Жандармы со штыками наперевес отгоняют их. В это время по линии между Мостом и Соушью идет пассажирский поезд. Нигде поблизости нет ни машины, ни телеги, на которых можно было бы отправить раненых в безопасное место. Рабочие бросаются на рельсы и останавливают поезд. Но тем временем приезжают санитарные машины. Узнав об этом, рабочие отпускают поезд. Однако тот уже немного опоздал и потому вынужден возвратиться в Мост. Возмущенные демонстранты в конце

концов заставляют жандармов отступить и позволить рабочим унести раненых. В рабочих семьях раненым оказывают первую помощь и затем отвозят в больницу.

Двое убитых, пять тяжелораненых, семнадцать легкораненых — вот они спокойствие и порядок государственного управления.

Духцов

Уездный начальник в Духцове разрешил собрание. Явилось девять тысяч демонстрантов. Уездный начальник учел, что помещение не может вместить всех, и разрешил митинг. Он отозвал жандармов, предоставив демонстрантам самим заботиться о спокойствии и порядке. Их было девять тысяч. Не раздалось ни одного выстрела, не произошло ни одной стычки. Спокойствие и порядок были сохранены.

Руде право, 15 апреля 1932 г.

ДВОЕ УБИТЫХ

Прага, 1 августа 1932 г.

Письмо людям о казни товарищей Шаллаи и Фюрста

В пятницу, двадцать девятого июля, в девять часов утра, по коридору будапештского суда прошел палач с двумя помощниками. В тот же самый момент в зале заседаний встал государственный прокурор и начал обвинительную речь. В четыре часа виселица была готова. Без четверти пять врач отсчитал последние удары сердца.

Они мертвы.

Товарищ Шаллаи и товарищ Фюрст.

Мы знали их имена раньше, чем они были арестованы и предстали перед трибуналом. Это были два наших товарища. Двое молодых коммунистов, никогда не покидавшие своего места, на котором должны были работать. Их работа не была службой. Буржуазные газеты удивляются: они так мало получали, а вели столь опасную работу, что даже поплатились за нее жизнью. Да, они не были чиновниками, не были служащими. Они были коммунистами и знали только один-единственный приказ и одну-единственную волю: приказ пролетариата и волю пролетариата к победе. Поэтому они всегда были там, где рабочие нуждались в руководстве. Поэтому усталыми до смерти они возвращались с собраний и совещаний, поэтому они должны были скрываться от полиции, и у них никогда не хватало времени на личную жизнь, поэтому они сидели в тюрьмах, поэтому были казнены.

А вы прочли их имена, вероятно, уже в тот момент, когда к ним было присоединено одно жестокое слово *казнь*. Вы не знали о них ничего, о них двоих, и о третьем товарище Карикаше, который сейчас ожидает приговора трибунала в Мишкольце, о четвертом, пятом, десятом, о тысячах таких мужчин и женщин, отдающих все, что имеют, свои лучшие силы, свое здоровье и свою жизнь на наивысшую службу, которая только возможна для человека, на службу свободе трудящихся, на службу рабочим, создающим новый мир.

Двое из них были казнены.

Товарищ Шаллаи и товарищ Фюрст.

Казнила их белая диктатура Венгрии. Казнила потому, что они хотели устранить порядок, при котором трудящиеся испытывают голод и нищету. Так об этом сказал трибунал. Но казнены они были прежде всего потому, что их работа давала результаты. Венгерское правительство трепещет. Голодающие жители деревень возмущаются. В промышленных городах тысячные толпы рабочих гото-

вы к борьбе. Лучшие люди Венгрии приходят к коммунизму. Венгерское правительство знает, что речь может идти о нескольких днях его существования. Знает, что голод — это страшный порох, и хочет залить его, утопить в жестокости. Хочет *запугать* людей, которые уже не имеют работы и в течение многих месяцев не каждый день едят хлеб. Оно хочет запугать людей, которые поняли, что только один-единственный путь ведет к спасению, что только один-единственный путь выводит из нищеты. Тот путь, о котором говорили и эти два казненных.

Товарищ Шаллаи и товарищ Фюрст.

Теперь они пали. Палач, обычно затягивавший петли на шеях бандитов, казнил двух молодых коммунистов. Телеграф отстучал краткое сообщение об их смерти во все концы света. Вы прочли и оцепенели. Вы сказали: убийство!

Да, *убийство.*

Страшное и трусливое убийство.

Весь мир был потрясен. Раздались воззвания и протесты против венгерского террора, против белой диктатуры Венгрии.

Но вы, которые оцепенели, вы, кричавшие слова протеста, вы, возмущенные убийством,— вы убеждены, что сделали все? Вы, которые не молчали, вы убеждены, что ваша совесть может теперь спокойно спать?

К вам, да, именно к вам, обращаются эти двое.

Товарищ Шаллаи и товарищ Фюрст.

Забудьте, что они были молоды. Забудьте, что они были людьми, полными жизни, забудьте о горе матери Фюрста. Не к вашим чувствам, пусть к вашему сознанию взывает их смерть.

И говорит вам.

Не одна только Венгрия. Весь капиталистический мир таков же. Он имеет те же основы и те же законы и убивает Шаллаи и Фюрстов всех стран, убивает по приговору

или без приговора, убивает свинцом и виселицей, убивает во дворах тюрем или на улицах, убивает все больше и больше потому, что мстит, потому, что хочет запугать, потому, что испытывает страх, потому, что защищает «спокойствие и порядок», означающие смерть для трудящихся.

И вы, задрожавшие от ужаса, вы будете дрожать снова и снова и будете дрожать уже как соучастники, если не поймете, что и в вас сила, которая может спасти новых Шаллаи и Фюрстов и тысячи рабочих от убийств не менее трусливых.

Не оставляйте живых Шаллаи и Фюрстов в одиночестве.

Выходите из своих укрытий. Беритесь за перо не только для того, чтобы подписать протест, а для того, чтобы подписать самое почетное обязательство человека, обязательство борьбы за свободу трудящихся. Выходите из своих укрытий, в которых вы судите о мире, и придайте свои силы к силе, которая его изменит.

В этом ваша *обязанность.* Обязанность по отношению к тем, которые потрясли вас своей смертью, обязанность по отношению к тем, которые живут и борются.

Творба № 31, 4 августа 1932 г.

100 000 КИЛОГРАММОВ ПОД ВОДОЙ

Умный человек, у которого голова находится в добром согласии и контакте с органами пищеварения и который, следовательно, больше всего стремится к спокойствию, выразил бы сейчас свою точку зрения где-нибудь в примечаниях или просто бы промолчал. Даже припертый к стене, он нашел бы, вероятно, себе лазейку, рассказав сказку, в которой гиены и волки выглядят бараш-

ками, несущими на своих четырех ногах бесконечные грехи человека. Но где найдешь в мире зверей такой звериный строй, в каком живем мы?

«У Подмокльской пристани было потоплено 100 000 килограммов зерна, которое испортилось от долгого лежания».

Такое газетное сообщение появилось на прошлой неделе. 100 000 килограммов хлеба выброшено в реку Лабу. Что касается количества, то это, конечно, ничтожная часть того, о чем сообщали телеграфные агентства Соединенных Штатов, Канады или Бразилии, где были сожжены миллионы тонн пшеницы, уничтожены в топках паровых котлов сотни тысяч тонн кофе, где миллионы тонн зерна были потоплены в море, на другом берегу которого умирают миллионы китайских крестьян и рабочих. Как неизмеримо ничтожны, по сравнению с этими миллионами, 100 000 килограммов зерна! Но слишком большие цифры, вероятно, скорее сокрушают, чем что-либо доказывают. Вероятно, они не так доступны для понимания и не всегда передают всю величину преступления. Вероятно, голодные глаза, в которые мы сами смотрим, говорят нам больше, чем громкие крики умирающего где-то вдалеке.

Атлантика далеко. Воды Лабы мы видим собственными глазами. До американских берегов от нас несколько дней пути. До Подмокльской пристани всего два часа езды.

Страшно слышать далекие слова о голодной смерти. Но еще страшнее слушать, как урчит в голодном желудке твоего собеседника. Ты можешь не понять рассказов. Но ты не можешь не понять, если видишь сам, если ты сам взвешиваешь факты, если являешься их непосредственным свидетелем.

Здесь рассказываются факты одного дня — обрывки разговоров, собранные во время поездки по Праге в тот

день, когда газеты сообщили о 100 000 килограммов зерна, выброшенного в Лабу.

По узкому руслу реки плывет баржа через границу к Гамбургу. Она опустошила свои трюмы, и течение реки рассеивает теперь зерно, которое она везла, по дну Лабы. Зерно, которое никогда не взойдет. Потопленный клад, который никогда не будет выловлен.

На одной из центральных пражских улиц стоит женщина с тремя детьми, один из них — у нее на руках. Есть какая-то жестокая ирония в том, что она стоит и просит милостыню под рекламой, извещающей, что в таком-то и таком-то ресторане можно получить дешевые и вкусные обеды от десяти крон и выше. Ни у нее, ни у мужа, ни у сестры нет работы. Муж получает «вспоможение» — десять крон в неделю.

По постановлению «социалистического» министра юстиции попрошайничество безработных сейчас официально разрешено, потому что тюрьмы не могут вместить всех голодающих, которых «сознательные» полицейские задерживали за «бродяжничество» и «попрошайничество».

«Добрые» люди на дверях своих квартир повесили таблицы: «Помогаем только местным нищим», как вешают обычно объявления: «Осторожно, злая собака!» Недавно эти люди твердили, что быть нищим — доходная профессия. Сейчас Прага переполнена людьми, которые просят на хлеб, на ночлег (или хотя бы просто окурок). Просят словами, руками; а более всего — глазами. Но кто посмотрит в глаза, которые так быстро опускаются вниз от стыда и погружаются в беспросветное отчаяние?

Просит глазами женщина с тремя детьми, один из них — у нее на руках. И несколько монет, в десять геллеров каждая, которые она положит дома на ящик (стол уже продан), не хватит даже на то, чтобы накормить детей. Сегодня утром, когда она брела по пражским улицам на свое место, взгляд ее упал на продавца газет, и она

заметила газетный заголовок: «100 000 килограммов зерна брошено в Лабу». Все время она думает об этом. Не может забыть. Сто тысяч килограммов под водой! Иметь бы хоть одну тысячную, хотя бы одну десятитысячную! Она не пошла бы сегодня утром сюда, к вывеске, предлагающей вкусные обеды, не раздражала бы сытых своим изможденным видом, не просила бы милостыню — вероятно, нашла бы где-нибудь кусок угля,— и на день, на два, на три вернулось бы время, когда муж работал, а она крутилась у плиты, полная заботливого внимания и торопливой ласки к детям, как твоя мать, читатель, о которой я считаю нужным напомнить тебе, если твое равнодушие к чужому горю сильнее горя десяти тысяч таких же женщин, у которых в водах Лабы погибло три дня жизни.

«Марженка,— наклоняется она к ребенку,— я испекла бы тебе...»

И плачет.

Всего лишь в нескольких шагах от нее ресторан дешевых и вкусных обедов от десяти крон и выше. Мужчина, который сейчас там сидит и доедает хорошо приготовленный robeaf de sauce Tartare, возмущен. Точка зрения его выражается кратко.

«Чего хотят эти люди? — удивленно спрашивает он, изобразив на лице страдальческую гримасу.— Выходит, они хотят, чтобы мы ели испорченную муку? Сгорело зерно, что же с ним делать? Выбросили его в Лабу. Правильно. Можно даже удивляться, что у людей осталось еще столько честности; и вот тебе раз — находятся газеты, которые недовольны. Видите ли, уничтожают продукты, а люди голодают! Что же, нужно было это зерно отдать безработным? А потом не оберешься крику: «Кормят безработных испорченным зерном!» Разве возможно им угодить? Всегда найдут какой-нибудь повод для возбуждения граждан. Но что же спит цензура? Разве не ясно, что

ни в чем мы так не нуждаемся в эти тяжелые времена, как в спокойствии?..»

Можете вы что-нибудь противопоставить этой точке зрения? И может ли этот мужчина, который воплощает в себе обеспокоенную общественность и ест со смаком свой роскошный ростбиф, представить себе, что его чревоугодие непосредственно связано с потоплением зерна? И может ли он примириться с тем, что существуют газеты, которым разрешено публично сопоставить такие факты, как уничтожение продуктов и нищета населения?

Два человека, которых мы об этом спрашиваем, смотрят на нас испуганно,— не то мы хотим пошутить, не то хотим оскорбить их. Мы нашли их на рынке среди помойных ям. Они быстро вскочили и все время держатся так, будто вот-вот бросятся бежать.

Это муж и жена. Восемнадцать лет работал он на одном и том же заводе. Пять месяцев тому назад его оттуда выгнали. Она работала прислугой у инженера. Инженера уволили, теперь у него недостает денег и вполне хватает времени, чтобы самому для себя стать и прачкой и горничной.

Муж и жена по утрам выходят из дому. Пока они были прилично одеты, они заходили в открытые буфеты, находящиеся в центре города. Караулили. Дама, которая лакомилась салатом из крабов, пренебрегая булкой, на которую он был положен, или господин, который в спешке не доел кончика остывающей сосиски,— какие это были благодетели! Муж и жена набрасывались на остатки и ревниво оглядывались на таких же голодных конкурентов.

Но теперь платье пообтрепалось, а полицейские охраняют буфеты от нищих.

Муж и жена обходят мусорные ямы и рынки. Когда на дверях палаток повесят замки, а непроданные товары спрячут под брезентом и перевяжут веревками, они ки-

даются на кучи испорченных овощей и фруктов и поспешно выгребают яблоко, которое еще может побороться с червем, или абрикос, который, словно убывающий месяц, еще показывает серпик здорового лица. При этом необходимо действовать быстро-быстро, потому что через минуту придут дворники и поливочная машина смоет остатки продуктов, следы неряшливой торговли, а эти остатки, если их хорошенько почистить, могли бы еще сойти за ужин.

Сто тысяч килограммов зерна было брошено в Лабу.

— Почему?

— Испортилось.

— Мы голодаем.

— Оно совсем сгорело.

— Должны были бы его перебрать...— говорит женщина,— зернышко по зернышку. Наверное, нашли бы и хорошие. Мы бы поели... ах, поесть...

Они стояли, держа в руках завядшие листья салата и капусты, и от голода предавались лихорадочным мечтаниям. А волнение господина из ресторана дешевых и вкусных обедов от десяти крон и выше, вероятно, уже успокоил черный кофе.

Сто тысяч килограммов зерна.

Наше интервью продолжалось около булочной. Там стоял молодой парень, устремив глаза на витрину. Булочная благоухала ароматами. Это невыносимо раздражает аппетит, если ты не обедал. Однако в Праге есть люди, которые не только не обедают, но есть и такие люди, которые к тому же и не завтракают, и не ужинают, люди, которые испытывают постоянный голод, жестокий, бесконечный голод. [Я думаю, что полицейское управление

по соображениям общественной безопасности, спокойствия и порядка запретит аромат булочных и колбасных или обнесет их колючей проволокой, а вход в них разрешит только по предъявлении толстого бумажника. Запах свежего хлеба, который не на что купить, придает слишком много сил рукам, ослабевшим от голода.]

Казалось, что под взглядами молодого парня стекло витрины может расплавиться. Его глаза не отрывались от булок и калачей даже тогда, когда он говорил с нами.

Жили-были отец и три сына. Это — начало сказки, которая никого не порадует. В один и тот же месяц трое из них потеряли работу. Остался самый младший — с сорока восемью кронами еженедельного заработка. Один получал деньги, четверо голодали. Парень, который стоит сейчас перед витриной у булочной, убежал из дому. У него уже не хватило совести брать у самого младшего. Приближался момент, в который могла вспыхнуть ненависть между четырьмя людьми, которые когда-то любили друг друга, а теперь хотели только одного — есть. Три недели он уже бродит по Праге. Попрошайничает, продает газеты или фиалки, и желание убить кого-нибудь чередуется с желанием убить себя.

«Долбануть, разбить, взять, понимаете, взять один-единственный калач,— разве я не имею права хорошо питаться, есть то, что мне нравится? Разве я не хочу работать? Кто выбросил меня из общества людей, которые смеют быть сытыми? Я ведь лично ни в чем не виноват. *Наше* зерно топят в Лабе, отнимают его *у нас*, предоставляют нам и дальше страдать от голода,— а я хочу есть. Долбануть, разбить, взять один-единственный калач! Ведь они там топят целые вагоны зерна. Разве мы не должны помешать им делать это? Разве не имеем права отнять у них то, что они бросают в Лабу?»

Перед хлебной биржей на Гавличковой площади завершилось наше интервью по поводу зерна, выброшен-

ного в Лабу. Завершилось легкой усмешкой и пожатием плеч.

— Вы читали?

— Да!

— Понимаете это? К чему столько речей из-за нескольких вагонов зерна? Собачье время! Ведь даже если б потопили целую пристань, все равно не наживешь ни одного геллера на тонне. А здесь они делают сенсацию из-за десятка вагонов! Нет, я брошу свое дело к чертовой матери и пойду в журналисты! Они зарабатывают на десяти вагонах больше, чем наш брат на целом транспорте. Всего сто тонн, господа. Ну стоит ли говорить об этом?!

Сто тонн. Действительно, только сто тонн. Это такая незаметная цифра, чтобы повысить цены на хлебной бирже! Всего лишь сто тонн — для спекулянтов. Ну а сто тысяч килограммов для людей, которые голодают?!

Сочинители, набившие руку на социальной тематике, писали сентиментальные рассказы о ребенке, который стоял за решеткой ограды, тщетно протягивая маленькие ручонки, чтобы достать упавшее яблоко. Не дотянулся. Яблоко постепенно сгнило.

В настоящее время выдумки сентиментальных рассказов превращаются в самую жестокую действительность. Сотни тысяч людей, которые читали о голоде ребенка, теперь *испытывают* голод.

Сто тысяч килограммов зерна было потоплено в Подмоклях. А всего лишь за час грохочущий поезд доставит нас к тому месту, где безработные вышли на демонстрацию, потому что у них не было ни грамма хлеба, и по возвращении домой недосчитались своих четырех товарищей, которые были убиты.

Сто тысяч килограммов зерна было выброшено в Лабу всего в нескольких шагах от того места, где от нищеты

утопились два молодых парня, утопились потому, что у них не было работы. На мертвых сыпался хлеб, которого они не могли получить, пока были живы.

Сто тысяч килограммов зерна гнило на Подмокльской пристани. Всего в двух часах езды оттуда умирала семья от тифа на почве голода. Сто тысяч килограммов зерна несло течение Лабы. И всего в нескольких километрах оттуда безработные останавливали людей, возвращавшихся с военной службы, и просили хотя бы кусок старого, высохшего казенного хлеба, который тут же жадно съедали или, как святыню, прятали в карманы, чтобы принести его детям.

Таковы примеры, таков урожай, который дали сто тысяч килограммов зерна, брошенного на дно Лабы. С каждой следующей сотней тысяч килограммов, с каждым следующим вагоном уничтоженных товаров ширится круг тех, кто брошен во власть нищеты и голодает перед складами, полными продуктов, которые гниют.

Окрестности Подмоклей или голодная Прага — это мир, уменьшенный до микроскопических размеров. Не сотни тысяч, а миллиарды килограммов уничтожают капиталисты, а их законы в то же время свято охраняют эти же килограммы. Если бы вы взяли хоть один килограмм из того, что предназначено к уничтожению, законы осудили бы вас. Считалось бы, что вы украли.

Украсть?

Ни сто тысяч, ни миллион килограммов не могут спасти всех голодных.

«Долбануть, разбить, взять...» — сказал безработный парень перед булочной.

Нельзя его не понять. Глядя на выставленные калачи и булки, он имеет в виду не витрину хлебного магазина.

Творба № 34, 25 августа 1932 г.

ЛЮБОВНИКИ С ЭКРАЗИТОМ

Прага, 6 августа 1933 г.

Среди бела дня на оживленной улице большого города раздался взрыв. Небо застлала туча пыли, половина гостиницы обрушилась на тротуар, посыпались стекла из отдаленных зданий, а люди бросились бежать; одних ранило, другие перепугались и потом стали гордиться тем, что были свидетелями этих кошмарных минут. А несколько человек остались лежать под обломками. Весь город потрясла дикая катастрофа. Она была так необычна, так внезапна, что вывела из равновесия тысячи людей. А телеграф и телефон известили о ней мир, который не слышал взрыва, но всегда готов слушать о любых ужасах, где бы они ни происходили. Через двадцать четыре часа город и мир узнали, что бесчувственная сила, разрушившая здание и погубившая несколько человеческих жизней и немало взлелеянных планов, была делом рук человека. Что это был не мертвый механизм, который все время служил людям и вдруг вышел из повиновения, что все это было не просто несчастным случаем. Это сознательно сделал человек, восставший против своей судьбы и напрягший все свои ничтожные силы, чтобы покончить с собой.

Самоубийство?

Да, действительно, не что иное, как самоубийство. Двое любовников, у которых недавно родился ребенок и которые не могли пожениться, потому что она зарабатывала мало, а он два года был без работы, решились на самоубийство и покончили с собой способом, случайно не принадлежавшим к обычным. Они нашли гостиницу в оживленной части города и поселились там, захватив с собой чемодан экразита; кто знает, как провели они свою

последнюю ночь, а когда забрезжил свет, они взорвали экразит. Погибли они сами, погиб их ребенок и еще пять человек, которые не имели понятия о их существовании и внезапно умерли по дороге на работу или уже на работе, не зная, почему и вместе с кем они умирают.

Это безумное самоубийство ужаснуло город и его окрестности. И все порядочные люди, с приличными манерами и с желудком, который никогда не подозревал о заботах своего хозяина, отплюнулись со страхом и возмущением:

— Что же это, самоубийство? Разве это самоубийство? Нет, нет! Это преступление.

И правда, как мало похожи на самоубийц люди, которые потеряли работу, а затем и надежды, у которых осталась одна только нужда и отчаяние. Но к отчаянию безработных очень легко относятся те, у кого достаточно хлеба. И особенно легко им бывает, если отчаяние других достигает предела. Когда потерянная тень тихо и боязливо скитается по городу, уже не глядя на своих ближних, уже не тревожа их молящими взглядами, богатым не нужно обороняться от нее идеями о профессиональных нищих, как это советовал делать один бургомистр-социалист. Обычный самоубийца заранее все обдумает: он перестанет существовать раньше, чем дойдет до набережной. Потом он пересечет мост пять или десять раз, чтобы его никто не видел, чтобы никто не мог ему помешать, и, когда никто не будет смотреть в его сторону, он прыгнет. Вот каким должно быть нормальное самоубийство безработного, вот какую деликатность он должен проявить к тем, кто хочет жить и кому есть на что жить,— чтобы его никто не видел, чтобы он исчез и не оставил иных следов своей смерти, кроме круга на воде.

В типографиях газет достаточно маленьких литер, чтобы имя самоубийцы, когда его выловят, затерялось в

двухстрочной корреспонденции. А еще более приличный самоубийца постарается даже, чтобы его имя не могли установить в тот момент, когда будут набирать полицейскую корреспонденцию. «Неизвестный самоубийца, добровольно покончивший с жизнью, не опознан» — это звучит лучше.

Ежедневно в мире падают сотни таких неизвестных борцов,— о них не вспомнят ни на перекрестках славы, ни на военных конференциях. Самоубийц сотни, и их робкая смерть не вызовет ни волнений, ни потрясений, ни забот у тех, кто направляет течение жизни. Но бывает, что из этой безымянной армии вырвется один, который не хочет быть вышвырнут из жизни так, как камень швыряют в воду. Такой, что вместо того, чтобы прыгнуть через перила моста, взорвет вместе с собой весь отель. Человек, который благодаря самоубийству вломится на первую страницу популярных газет.

Такой человек, по закону тех, кто несет ответственность за отчаяние безработных, совершает преступление. Совершает преступление именно потому, что его самоубийство приобретает огласку. Какое мятежное настроение может вызвать такой поступок, когда о нем все узнают! И невольно возникает мысль, что волнение господ объясняется отнюдь не смертью пяти человек, которых унес с собой отчаявшийся,— господа озлоблены только тем, что стало известно о самоубийстве. Они начинают интервьюировать истеричных девиц, которые хотят доказать, что любовник мечтал избавиться от своей любовницы, чтобы быть свободным для другой, начинают прислушиваться к сплетням всех злобствующих, которые объявляют отчаявшегося спесивым идиотом,— и строят обвинение, вопреки всем очевидным фактам, на том, что самоубийца жив и что это не самоубийца, а убийца. И когда потом останки его разорванного тела обвиняют их во лжи, то это уже не имеет значения: они достигли сво-

его, их сплетни сделали свое дело. Они взбудоражили мысли людей, дали им направление, которое уже не может быть опасным.

Как выглядел этот убийца нескольких человек, когда его не знали? Молодой парень учится, лелеет свои спокойные обывательские мечты, работает ассистентом архитектора, влюбляется, экономит деньги, хочет жениться. Никому никогда не казалось что-либо странным в его представлениях о законном житейском счастье. В прежние времена капиталистической конъюнктуры он жил бы как средний кормилец средней семьи, которая добилась бы уважения в доме и у местных лавочников своим средним достатком. Сам он, пожалуй, стал бы немного чересчур полным господином архитектором, перед которым за несколько шагов снимают шапку. Вот цель, к которой он стремился,— совсем не к убийству.

Два года назад в его жизненной идиллии появилась трещина. Он потерял работу. Это может случиться. Это еще не несчастье. Он стал искать другую работу. Искал два года — безрезультатно. Через два года в его жизни уже образовалась пропасть, в которую рухнули планы всей его жизни. Шел месяц за месяцем, и постепенно он взял из банка все пятьсот крон своих сбережений. И вот он стоял над пропастью. Беззастенчивый газетчик объявил его трусливым убийцей, который лишил себя жизни потому, что не мог больше расходовать «пятьсот крон на свои развлечения». Что ждало его впереди? Он жил в тягость своей матери, для которой хотел быть поддержкой, жил за счет грошового заработка своей возлюбленной, которой мечтал создать обеспеченную жизнь, его немного презирали те из ее семьи, которым он хотел импонировать (как и всем остальным, впрочем, потому что это входит в жизненные идеалы мещан),— жалкое существование. А надежда где-то безгранично далеко, так далеко, что уже не кажется реальной, что уже угасает.

У этого человека, очевидно, было сильно развито чувство собственного достоинства. Действительность, представлявшая собой еще только дорогу к голоду, уже была для него самим голодом. Он, вероятно, чувствовал не только тяжесть самого факта, но и унижение, которое было несправедливым. И от сознания, что это несправедливо, с каждым часом росла его горечь — так же, как и отчаяние.

Человек в отчаянии.

Виновен ли он в их смерти?

Виновны ли эти двое любовников в своей смерти?

Хочет ли вообще кто-либо понять, что такое человек?

Что такое человек в отчаянии?

Капиталистический мир отвык считаться с человеком. Человеческая машина спокойно бежала, пока могла бежать. Вся сила государства, вся культура, все искусство правительственных политических партий были направлены на то, чтобы эти машины не умели свободно мыслить и по-человечески чувствовать, чтобы поменьше было таких, кто мог бы понять ценность человеческой личности и свои исторические задачи. И так шло, и так продолжалось бы до тех пор, пока не сломались бы машины. Однако подобные вещи могут еще удаваться, когда рабочему предлагают ложь вместо украденного куска хлеба. Но предлагать вообще вместо хлеба одну ложь — это уж не может удаться и в самой подлой комедии. Во время кризиса, длительной безработицы, голода из машин они опять превращаются в людей. Словно после того, как обмякнут напряженные мускулы, спадают металлические части, когда-то сжимавшие их. Это люди. Их отучили думать, но они все-таки не могли и дальше подчиняться тому мошенничеству, которое должно было стать их миром. Это люди, беспомощные и бессильные. Беспомощность и бессилие ввергли их в бездну отчаяния.

Семь человек погибли вместе с отчаявшимся самоубийцей? Какой ужас! Но страшнее, в десять раз страшнее

ужасы, таящиеся в жизни тех людей, которые были насильно лишены сознания; именно отчаяние разбудило в них человека. Этот самоубийца из отеля всего лишь самостоятельно развивал взгляды, которые воспитывал в нем мир, сковывавший его. Он решился на смерть, и в тот момент могли быть мертвы все остальные. Какое ему до них дело? Какое ему дело до их жизни, когда именно те, чьими глазами он смотрел, никогда не думали о судьбе людей, которых умерщвляли своей ложью? Он не был рабочим. Будущий господин архитектор имел претензии принадлежать к высшему обществу. И если что-либо усиливало его безразличие ко всему, что должно было его пережить, то именно этот факт. Но не в этом главное. Так может кончить любой из отчаявшихся. Ужас собственного уничтожения перерастает ужас массового уничтожения. Мир лжи рушится, и те, для кого вместе с ним рушится вся фальшивая правда их жизни, видят конец света. Они не верят, не понимают, что есть выход. Идея нового мира была им наистрожайше запрещена. Всякая реальная надежда была в них убита.

Те, которые ее убивали годами, десятилетиями, которые лгали и обманывали, чтобы удержать мир, ныне рушащийся,— вот кто виновен в сумасшествии отчаявшихся так же, как и в голоде. И еще в отчаянии, которое они наблюдают почти с удовольствием, когда речь идет о тихой смерти безработного, невольно дезертирующего из борющейся армии. И в безумии, которое они пытаются предотвратить чересчур поздно,— когда оно уже взрывается слишком сильно, громко, исполненное анархистской мести.

Но они не могут удержать от самоубийства двух любовников с чемоданом экразита.

Творба № 32, 10 августа 1933 г.,
за подписью «jf»

ШКОЛА ПРОВОКАЦИИ

Открывайте занавес, господа, и входите! Пожалуйста, входите и не извольте опасаться. Первые впечатления бывают обманчивы: это вам не цирк и не веселый воскресный балаган, который мог бы оскорбить ваш вкус.

Давайте же входите, вы нам здесь просто необходимы, ведь, не будь вас, все это выглядело бы скорее как казнь мертвых, как похороны погребенных и как множество иных невероятных преступлений, которые удается замолчать. Сама история предназначила вас для великой роли свидетелей, и вы должны воспринимать свою роль еще серьезнее, чем святоянский ксендз священнодействие о Пираме и Тисбе. Потому что ведь вы такие же действующие лица в этой исторической драме, как и те, на кого вы смотрите и кого оцениваете, и, возможно, сейчас вам впервые в жизни представляется случай открыть людям глаза.

Вы, кто создает общественное мнение, вы, пишущие в журналы и газеты, люди с громкими именами и совсем безымянные, вы, справедливцы на мелкобуржуазный манер, болтающие в течение дня чепуху и изрекающие спросонок великие истины, я обращаюсь ко всем вам, решившим выразить свое удивление, свое негодование, свой испуг, свое отвращение — или свое согласие.

Господа, я обращаюсь ко всем вам, вместе взятым, извольте войти!

Школа открывается, и урок начинается.

Школа провокации. Здесь мы найдем поучение о том, как в буржуазном государстве можно избавиться от опасности, порождаемой правдой, а также и поучение, что предпринять против участников пролетарского движения, чтоб они стали невидимыми и неслышимыми.

Это будет школа узаконивания преследований и притеснений. Школа классовой «справедливости» с воровато

подмигивающими глазками. Только так и никак иначе нельзя назвать тот гигантский процесс «о поджигателях имперского рейхстага», который был начат двадцать первого сентября 1933 года в Лейпциге.

Вероятно, еще никогда не велась более бессовестная игра в параграфы, чем в этом случае. Вероятно, еще никогда собственно судьба обвиняемых не оставляла столь равнодушными «стражей справедливости», как в Лейпциге. Димитров, Попов, Танев, Торглер могли уже десяток раз быть уничтожены, подобно многим революционерам, замученным насмерть в фашистских тюрьмах, убитым во время «побега» или просто исчезнувшим где-то в берлинских каналах Шпрее. Кроме того, они просто могли быть отправлены в концентрационные лагеря без суда и следствия, как тысячи их предшественников. И перед судом в Лейпциге могли так же точно, как они, оказаться четверо каких-нибудь других коммунистов, из числа тех тысяч, что были арестованы после пожара рейхстага. Или их могло бы быть, скажем, только двое или, например, десять. Какое значение имеют имена или то, сколько тех, кто должен быть лишен свободы и жизни в бесконечно большем количестве уже лишенных свободы или жизни.

Поэтому в Лейпциге судьба обвиняемых не играла ровным счетом никакой роли. Поэтому-то и не шла речь об их виновности или невиновности. Ведь даже и среди миллионов избранных глупцов во всем мире вряд ли нашелся бы хоть один, кто поверил бы в справедливость предъявляемых им обвинений. А умные, пусть даже и недоверчивые, люди — те уже давно убеждены в объективности лондонского контрпроцесса, который подсудимых в Лейпциге признал невиновными.

Но ведь как раз от этого и возрастает значение Лейпцигского судебного процесса. Возрастает и вырастает до чудовищных размеров в связи с тем, что трагическая судьба честных революционеров является всего лишь фоном

судопроизводства или, скажем, подмостками, на которых разыгрывается классовый суд буржуазии над участниками рабочего движения.

Ведь это же не впервые в истории, когда виновные судят невиновных. Как не впервые и то, что провокации буржуазного правительства помогают ему легализировать террор и юридически «доказать» правомерность убийства тех, кто хотел устранить бесправие и голод. Но там, в Лейпциге, этот факт вырос до огромных размеров, он был как будто бы специально увеличен в целях наглядного обучения,— так на школьных наглядных пособиях увеличивают хоботок мухи.

Все это приобрело масштабы карикатуры.

Уже и сам предлог был карикатурен. Пожар рейхстага являет собой пример столь совершенно подготовленной провокации, что нельзя не учуять провокационного запаха даже в чаду рушащейся кровли и в удушливом дыме тлеющих гобеленов. Господин контр-адмирал дворянин фон Леветзоф начал подготавливать почву для провокации уже в день своего назначения на пост президента берлинского полицейского управления, сразу же после того, как он сменил на этом посту медлительного и флегматичного доктора Мельхера. Доктор Мельхер, очевидно, не знал, почему он уходит, зато фон Леветзоф прекрасно знал, почему и для чего он приходит. То, что полиция Мельхера в течение многих недель тщетно искала в коммунистическом центре, а именно в доме Карла Либкнехта, полиция Леветзофа «нашла» в течение каких-то нескольких часов: тайное подземелье и подземные коридоры «либкнехтсхауза», а в них, как на ладони, весь материал, безоговорочно уличающий Коммунистическую партию в подготовке покушений и поджогов на вокзалах, почтах, в учреждениях и, наконец, самого рейхстага. Этот усердный нацистский дворянин в полицейской форме быстро сумел найти и «документы», до сего времени тщетно разыскиваемые буржуазией всего

мира, а именно «документы», свидетельствующие о том, что коммунисты способны на индивидуальные террористические акты.

И мировая буржуазия с благодарностью приняла эту «находку» берлинского полицей-президента. Буржуазная печать всех стран посвятила первые страницы своих газет сенсационным «находкам» фон Леветзофа, о коих он сообщал весьма основательно и подробно, несмотря на то что эта многоречивость, по идее, должна была бы помешать успеху его действий по поимке подстрекателей поджогов.

В течение целых трех дней, прошедших после обнародования «находок», господин фон Леветзоф поддерживал в народе и в мире погромные настроения против коммунистов, а на склоне третьего дня — возник пожар в рейхстаге. Кто это сделал? О чем здесь спрашивать? Идеологические документы, «обнаруженные» в «либкнехтсхаузе», являются «весомыми доказательствами» вины коммунистов, да и другие «доказательства» столь же на редкость «явственные» и «неопровержимые». Посмотрите-ка, вон там, в горящем здании, стоит молодой человек с глупой улыбкой на лице и вежливо подает господам полицейским свое «коммунистическое» удостоверение: «Я, Мариус Ван дер Люббе, коммунист и иностранец, проживающий на вашей немецкой земле,— поджигатель».

Дым клубами валит из-под купола рейхстага, и эти клубы дыма душат, буквально душат революционное движение немецких рабочих. Пламя вырывается из окон горящего здания, и это пламя — предвестие и средоточие того огня, который бьет из револьверов эсэсовцев как по коммунистам, так и по социал-демократам. Ну что ж, удалось.

«Да это же указующий перст господень! Знамение божье! Никто теперь не сможет нам помешать ударить по коммунистам железным кулаком и уничтожить их!» —

радостно восклицает Гитлер на пожарище. И, следуя этому пророчеству, берет на вооружение это идущее от бога и Геринга знамение, для того чтобы убивать и мучить. Он столь рьяно руководствуется этим и столь усердствует, что даже в газетах зарубежной печати участие господа бога в этой провокации выглядит несколько преувеличенным. И в этом — ошибка Гитлера. Несмотря на то, что ему удалось укрепить свою власть, загнать рабочее движение в подполье и начать массовый террор против всего, на чем лежала печать свободомыслия, и даже против всех, кто проявлял хотя бы волю к свободе,— это ошибка, потому что пожар рейхстага для того, собственно, и был устроен, чтоб рассеять сомнения в правомерности и законности массового террора. Потому, что любое буржуазное правительство стремится создать о себе благоприятное мнение в обществе. И потому, что ни один «хорошо воспитанный» убийца не выносит, чтоб кто-либо расценивал его действия как нарушение правопорядка.

Именно по этим причинам и дошло дело до Лейпцигского процесса, призванного документально подтвердить законность и правомерность концентрационных лагерей, казней и пыток. И именно поэтому разыгрывается здесь комедия, явно порожденная стремлением подделаться под привычные вкусы и традиции тех стран, где подобные фарсы не новинка. И, очевидно, ради приобщения к этим вкусам и манерам и хочет Гитлер хорошо выглядеть в глазах мировой печати. Ведь в действительности он не делает ничего иного, кроме как подгоняет кабинетные мерки буржуазной «справедливости» и «демократии» до размеров фашистской диктатуры. Но этот увеличенный снимок — опять же ошибка. Ведь здесь слишком, слишком выделяются детали.

Эта статья пишется в самом начале процесса, прошло всего лишь три дня лейпцигского судебного разбирательства, и еще даже не все обвиняемые допрошены.

А хорошо всем нам известные детерминанты здесь уже налицо. Все уже ясно, уже ясно, как пойдет дело.

На скамье подсудимых сидят хорошие и честные люди, отдавшие свои жизни борьбе за свободу. Но они обвиняются не в этом. Никакой государственный представитель в буржуазном суде не обвиняет коммунистов за то, что в действительности является причиной гонений на них. Никогда юридические параграфы не используются для доказательства того, что коммунисты совершили преступление, требуя для тех, кто хочет работать,— работы, для тех, кто голоден,— хлеба и для тех, кто угнетаем,— свободы. Никогда эти самые тяжкие «преступления» революционеров не называются своими настоящими именами, потому что это не произвело бы хорошего впечатления на людей. Люди, кровно не заинтересованные в сохранении власти, не увидели бы в действиях революционеров ничего предосудительного, бесчестного и достойного наказания. Люди, даже самые несознательные, не снесли бы такой «справедливости». И поэтому тот, кто борется за работу для безработных, обвиняется в посягательстве на государственные интересы; тому, кто требует хлеба для голодных, инкриминируется участие в заговоре, а тот, кто хочет свободы для угнетаемых, подозревается в шпионаже. Ведь такого рода обвинения не наносят ущерба гражданской морали.

Но идеальным случаем для классовых обвинителей являются те преступления, которые непосредственно связаны с «попранием справедливости». Осудить революционера за преднамеренное убийство — какая это радость для бостонских судей! Подписать смертный приговор коммунистам за покушение на жизнь нескольких сот людей — какой это справедливый и благородный приговор софийской юстиции! И иметь возможность таким же образом осудить четырех невиновных за поджог — позорный поджог почтенного национального здания — да это же святая мис-

сия! В иных странах судьи могли бы своим лейпцигским коллегам в этом отношении просто позавидовать — и все-таки, я думаю, не завидуют. Виной тому является несуразная громоздкость этого мероприятия, которое со всей ощутимостью наталкивает на чудовищную мысль, что четырех людей судят за действия, которые могли быть сделаны только по заказу самого Гитлера. Все уже совершенно убеждены в том, что эти четверо подсудимых нисколько не виновны в том, что им приписывается. Ведь существуют уже неопровержимые объективные доказательства их невиновности, признанные выдающимися юристами мира.

Эти четверо там — люди. Только у них одних нормальный человеческий облик. По этим людям видно, что физически они истощены полугодовым пребыванием в тюрьме, но тем не менее они проявляют неподдельный интерес ко всему, что вокруг них происходит. Больше ничего по ним не видно, пока они не начинают говорить. А как только они начинают говорить, то не оставляют никаких сомнений относительно их чистой совести. И все воочию убеждаются в их ясном сознании, мужестве, презрении к комедии суда, силе их убеждений. (Димитров во время допроса сказал: «Я не скрываю своих коммунистических убеждений. Без диктатуры пролетариата миру не выбраться из современного кризиса. Но одновременно я являюсь противником индивидуального террора и единичных акций».) Убеждаются в их честном и дисциплинированном участии в рабочем движении. (На насмешливый вопрос председателя суда, обращенный к Попову, почему он не остался в Москве, которая, очевидно, представляет бо̀льшие удобства для эмигранта-коммуниста, он ответил просто: «Партия приказала мне работать в Европе».)

Четыре человека сидят там на скамье подсудимых, всего лишь четыре человека, имеющих нормальный человеческий облик. А рядом с ними — опять же карикатура.

В этой утрированной провокационной игре самая утрированная фигура — Мариус Ван дер Люббе, поджигатель, схваченный в горящем рейстаге как живое доказательство «преступления» коммунистов.

Ведь всегда рядом с четырьмя, двумя и восемью участниками пролетарской борьбы сидит один какой-нибудь Ван дер Люббе. Это же старый, старейший прием. Таким провокатором может быть человек, в кармане у которого партийный билет и он действительно является членом партии или когда-то был в партии, а возможно, никогда и не был. Такие «мелочи» суд, как правило, никогда не волнуют. Таким провокатором бывает человек, который во время процесса выступает с покаянием и признает свою вину, в результате чего остальные обвиняемые бывают «уличены». Он может сделать свое покаянное признание в начале процесса, в середине процесса или непосредственно перед речью общественного обвинителя, это зависит от его способностей или от способностей организаторов провокации. Без такого подставного лица не может обойтись ни один удачный процесс над «шпионами» или «изменниками» родины, процесс над «убийцами» или покушавшимися на убийство, то есть любой процесс, который должен закончиться вынесением смертного приговора нескольким коммунистам. Это всегда — козырь обвинения. Иногда удается найти провокатора, обладающего интеллигентностью, но до сих пор не имевшего возможности превратить ее в хорошие деньги. Вот на такого можно положиться, комедия гладко пойдет и без суфлера. Однако в большинстве случаев полицейские устроители процессов должны довольствоваться провокаторами, обладающими только полицейским интеллектом — интеллектом ограниченного попугая, который отбарабанит свою роль кающегося грешника, а потом молчит и реагирует только на явные наводящие вопросы прокурора или председателя суда, в которых уже содержится и подсказка.

Господин Геринг избрал для такой роли Ван дер Люббе. Если он сделал это для того, чтобы индивидуальность Ван дер Люббе наложила свой отпечаток на всю эту на редкость провокационную историю, то он сделал хороший выбор: трудно себе представить более совершенный образ провокатора — слепого орудия, чем Ван дер Люббе. И вот мы снова встречаемся с таким гротесковым образом, который можно сравнить только со школьным наглядным пособием, ведь Ван дер Люббе не просто ограниченный полицейский попугайчик, он явный идиот, неспособный даже отрапортовать свое покаянное признание. Бесчестность всегда лишает провокатора и характера, и человечности. Но Ван дер Люббе не похож и на обломок человека. Кто знает, каким колдовством и какими чарами должен был воспользоваться Геринг, чтобы добиться от этой лишенной жизни куклы движений головой; кто знает, какой механизм каждое утро перед процессом должны запускать его хозяева, чтобы эта кукла шептала свое «да» и «нет», ориентируясь на те или иные акценты в вопросах председателя суда. Кто знает, какие требуются расходы, чтобы этот робот провокации еще сохранял видимость жизни. Только одно в нем еще немного напоминает человеческое лицо: его улыбка — улыбка деревенского дурачка, который поджег стог и развлекается тем, что односельчане бьют невиновного; это предсмертная улыбка человека с умерщвленным духом.

Полиция говорит устами провокаторов, но даже и на это не хватает силенок у Ван дер Люббе. Он сидит там рядом с мужественными людьми, как немой свидетель, подтверждая лишь то, что говорят за него сами полицейские комиссары. Это слабый свидетель своего собственного существования, которое призвано доказать, что физически не исключено то, на чем настаивают полицейские. И он, Ван дер Люббе, не будет этого отрицать, если председатель суда спросит его об этом достаточно энергично.

Провокаторы уходят с процессов инвалидами, с изувеченной совестью. Их увечье затем дает им право получить табачную лавку или иное какое государственное вознаграждение за причиненный им ущерб. Ван дер Люббе уже не будет владельцем лавки. Раны, нанесенные ему, слишком глубоки. Он кончается на глазах у суда, и шприцы с морфием в руках Геринга должны взбодрить его хотя бы до конца процесса. Как видно, умерщвление чувств провокатора было проведено слишком обстоятельно.

Все, все в этом процессе было проведено слишком обстоятельно, и поэтому этот процесс нельзя назвать одним из тысяч процессов против борцов за рабочий класс, которые предаются забвению, какой бы вопиющей юридической жестокостью они ни заканчивались. Этот процесс является столь показательным, что его иначе и не назовешь как школой провокации. Это действительно наставление о том, как совершать провокацию, как легализовать террор и как заставить представителей пролетариата исчезнуть из поля зрения и умолкнуть.

Уважаемые господа! Вы, кто создает общественное мнение, вы, информаторы буржуазных газет, вы, поборники справедливости, все еще изрекающие свои истины будто спросонок, знайте, мы признательны вам. Все-таки вы раздвинули занавес и вошли. Благодаря вам и ваши читатели могут сегодня заглянуть в школу провокации. Вероятно, никогда вам еще не представлялось такой возможности открывать людям глаза. Теперь вы это делаете. Я знаю, что не для того, чтоб люди прозрели. Я знаю, что ваши хозяева не проявляют интереса к судьбе Попова, Димитрова и Танева, во всяком случае, ничуть не больше, чем к судьбам других рабочих вождей, имена которых я не собираюсь называть ради того, чтобы эта статья увидела свет. Я знаю, что они обеспокоены той угрозой, которую таит в себе уж слишком устрашающе

занесенная рука Гитлера. И поэтому нуждаются в возмущении своих читателей, чтобы в отместку показать Гитлеру такой же вооруженный кулак. Такая страшная ирония уже однажды имела место. Во имя спасения коммуниста Димитрова уже были призывы к чешским рабочим развязать войну против Германии. Теперь я знаю, почему вы сегодня так правдолюбивы, говоря о лейпцигской юстиции.

И все-таки вы там нужны.

Потому что наконец-то и у вас люди узнают, что буржуазное правительство в Германии не брезгует никакой провокацией против рабочего класса и никаким достаточно кровавым террором, чтоб не попытаться утопить в нем революционное движение, и никакой неприкрытой ложью, чтоб не попробовать разбить классовое убеждение.

Наконец-то и у вас люди узнают, что буржуазная справедливость в Германии не знает такого мошенничества, которое она не могла бы использовать против вождей революционного пролетариата.

Наконец-то также и у вас люди узнают, что коммунисты — это не трусливые преступники, а, наоборот, люди честные, порядочные, мужественные, которые борются за победу рабочего класса, которые не предпринимают авантюрных покушений, а дисциплинированно работают, добиваясь того, чтобы рабочий класс стал сознательным и единым. И именно за это, только за это их под любым предлогом судят и выносят им приговоры. И есть надежда, что раньше, чем вы сможете им привить свои милитаристские умозаключения, люди поймут, что кроме коричневых книг гитлеровского террора могут возникнуть книги такого же содержания и в иных обложках — бело-голубых, полосатых, со звездочками или еще каких типичных для мира капитализма.

Творба № 39, 28 сентября 1933 г.

ДИМИТРОВ И ГЕРИНГ

Встреча обвиняемого коммуниста Димитрова и фашистского «свидетеля» Геринга перед имперским судом — это событие, вписанное нашим временем в великую историю. Суд, взбудораженный бесконечными скандалами, проглатывающий одну пилюлю за другой из-за плохой работы нацистских режиссеров, прекрасно понимал значение этой встречи. Поэтому с того момента, как было объявлено о выступлении свидетеля Геринга, суд искал любой подходящий случай, чтобы убрать Димитрова из зала суда, чтобы избавиться от него раньше, чем появится Геринг. Но Геринг недооценивал доброжелательность к нему судей и их опыт. Беспредельно самоуверенный (не без помощи морфия), он приказал суду, чтобы Димитров, удаленный из зала суда за сутки до его выступления, был снова доставлен в зал, присутствовал при его «допросе», присутствовал при его политической провокации.

Димитрова ввели. Геринг заговорил. Вероятно, никогда еще не были противопоставлены два мира, так явственно представленные двумя лицами. В своем «свидетельстве» Геринг высмеивал утверждение «Коричневой книги», что он поджег рейхстаг, высмеивал, но не опровергал, высмеивал он и то, что изображен как Нерон, «облаченный в тогу из голубого шелка», но выступал напористее, чем тот диктатор и поджигатель. Правители капиталистического мира пытаются хотя бы искусными фразами прикрыть свою бессильную ненависть, свою яростную непримиримость в отношении революционного пролетариата, коммунистов, Советского Союза. Геринг не сумел этого сделать. Геринг не нашел достаточного количества подходящих слов, чтобы прикрыть ими ужасающую брань и зверские угрозы в адрес коммунистов, которые он во всеуслышание произнес на суде как официальный пред-

ставитель буржуазии. Буржуазия всего мира могла бы аплодировать его воплю, его залихватской брани, которой он осыпал «Коричневую книгу», пролетарскую революцию, страну рабочих.

Ведь Геринг выразил то, что чувствует она, буржуазия. Ведь с международной трибуны (процесс о поджоге рейхстага — это международная трибуна) он сказал то, что буржуазия проповедует в своих газетах, что хотя и осторожно, но с такой же злобой дает возможность говорить своим менее официальным представителям на собраниях и во время каждой антикоммунистической кампании.

Геринг говорил о коммунистах как об убийцах, о преступниках, проходимцах. Но разве что-нибудь другое вы читаете в газетах «Народни листы», «Венков», «Ческе слово», «Право лиду»? Геринг говорил о коммунистах как о людях, достойных виселицы. Разве не призывают те же «Народни листы», «Венков», «Право лиду», «Ческе слово» сегодня и всегда к необходимости решительной активизации действий всего государственного аппарата для уничтожения коммунистической опасности? Геринг в самых оскорбительных словах говорил о Советском Союзе как о стране, испытывающей крах экономики. Разве вам не приходится читать в «Право лиду», «Ческе слово», «Народни листы» и «Венков» сообщения о голоде в СССР, о финансовых трудностях в стране пролетариата, о бедности в этой стране?

Нет никакого различия во всем этом грубом вранье, которым поливают революционное движение пролетариата Геринг и социал-демократические, национально-социалистические и всякие другие буржуазные газеты. Нет различия между ними по содержанию, только Геринг избрал слишком визгливый и слишком грубый тон. Буржуазия всего мира могла бы аплодировать ему за его речь, которую он произнес от ее имени.

Но буржуазия всего мира опасается открытых аплодисментов. Буржуазия всего мира вынуждена скрывать свои симпатии к Герингу, потому что перед имперским судом против Геринга стоял коммунист Димитров. И эта геринговская грубость, все те измышления о коммунистах как о трусливых убийцах, все, что извергал Геринг, превращалось в прах, когда каждый воочию видел подлинного коммуниста и слышал оголтелые обвинения фашистских диктаторов и их «демократических» слуг.

В зале суда звучали слова о подонках, достойных виселицы, слова, полные злобы и яростного бессилия, а перед всеми стоял человек спокойный и мужественный, слегка насмехающийся над Герингом (у того уже не выдерживали нервы), коммунист, само воплощение правды, и он противопоставлял словам ненависти факты, опровергая ложь, и давал отпор буржуазной травле.

И Геринг вдруг почувствовал, что против этой силы, против этого превосходства правды он сам, со своей крикливой самонадеянностью, ничего не может сделать, что он проигрывает и проиграет, если ему не помогут. Он обращается к последней уловке своего класса, обращается к испытанному средству — насилию, к которому суд уже прибегал до этого: он призывает суд на помощь, требуя, чтобы обвиняемому запретили говорить.

Димитрову, так же как Герингу и всему суду, все ясно. Но Димитров спрашивает: «Вы боитесь моих вопросов, господин премьер-министр?»

И у того остается один ответ, он приказывает полиции вывести Димитрова. Он, «свидетель», приказывает «суду» убрать «обвиняемого» и в припадке ярости кричит: «Подождите, выйдете из-под охраны суда, тогда еще поговорим!»

Угроза ясна. Димитров должен быть убит независимо от того, будет он осужден или нет. А Димитров будет осужден, и не потому, что он «поджег рейхстаг», а пото-

му, что он коммунист, а значит, самый большой преступник в глазах буржуазного государства и его законов.

Встреча Димитрова и Геринга — это страница истории человечества. На суде встретились яркие представители двух классов. Революционный пролетариат и буржуазия. Представитель буржуазии, буквально с пеной ярости на губах, приказал полиции в самой грубой форме устранить своего пролетарского антипода. Димитрова увели в темноту камеры, Геринг шел вдоль триумфальных шпалер поднятых рук.

Но победил Димитров. И весь мир склонился перед его мужеством. Потому что это, в противовес слабости разлагающегося капитализма, говорила правда десятков миллионов революционных пролетариев. И эти десятки миллионов сделают все, чтобы сохранить жизнь Димитрову. Пролетарии наступают, и поэтому у них есть свои Димитровы, они борются, и поэтому у них есть свои Димитровы, они побеждают, и поэтому их Димитровы обладают такой несгибаемой силой и мужеством.

Если им не удастся сохранить жизнь Димитрову, за это враги рано или поздно поплатятся.

Творба № 45, 9 ноября 1933 г.

БЕРИТЕ РЕКЛАМЫ!

Уже четверть часа я переминаюсь здесь с ноги на ногу и считаю: тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять, сорок... пятьдесят девять — за четверть часа. Двести восемь в час.

Отчаянный холод! Подбородок окоченел и отвисает, как тяжелая гиря, восемнадцатиградусный мороз поднимается по ногам от мостовой до самых колен, пальцы мерзнут даже в карманах зимнего пальто... а он — совсем без пальто, и его синие руки, не переставая, механически

берут и протягивают прохожим все новые и новые листочки.

Мне хочется теперь самому попробовать на несколько минут эту работу.

— Послушайте,— обращаюсь я к нему,— сходите вон туда, погрейтесь в автомате, а я постою пока за вас.

И предлагаю ему денег, чтобы он выпил чаю. Он оглядывается и продолжает протягивать листки прохожим. Потом с усилием распрямляет окоченевшие руки.

— Вы от конкурента, что ли? — спрашивает он.

— Нет,— отвечаю я.— Хочу просто попробовать.

— Ага, ищете, как бы подработать? Ну,— оценивает он меня взглядом,— вас возьмут.

— Спасибо,— говорю я,— но я не безработный. Просто мне хочется узнать, как это делается, быстро ли идет раздача и как к этому относятся прохожие.

— Да-а... а вдруг вы бросите...

— Не брошу.

— Я мигом бы вернулся,— осторожно проверяет он меня.

— Ну хотя бы и через полчаса, я не сбегу.

Он подал мне пачку рекламных проспектов и помчался к кафе-автомату.

Не знаю, долго ли он там пробыл. Судя по стрелкам часов над Чешским банком — десять минут. Но я не верю. По крайней мере час. Люди идут мимо непрерывным потоком, кажется, что по тротуару Вацлавской площади их прошли тысячи, а красивых рекламных листков у меня убавилось всего штук на тридцать. А ведь я ничего ни у кого не прошу, лишь бы протянули руку и взяли у меня задаром предлагаемый проспект — кусок розовой бумаги с великолепным советом покупать меха — лучший подарок к рождеству,— которые дешевле всего продаются у нижеподписавшейся фирмы. Руки не протягивают, она остается в кармане пальто, а у меня за-

мерзают пальцы, которыми я перебираю неубывающую пачку.

Наконец он приходит.

— Ну, как дела?

— Плохо,— отвечаю я.

— Всегда так, когда мороз. Знали бы люди, брали бы.

— И сколько же вы так зарабатываете?

— Все зависит от погоды и от места.

Он — «счастливчик». Он нашел себе удачное место на Вацлавской площади и на хорошем счету у шефов. Он работает таким образом уже второй год. Ему двадцать шесть лет, он был подручным у мясника, два года как у него уже нет работы, и он берется за что попало, преимущественно раздает рекламные проспекты. Было время, когда ему платили аккордно. В двенадцать ты получаешь пачку проспектов, раздашь — возвращайся, получаешь новую, в семь или восемь вечера все кончается. На другой день получишь десять, пятнадцать, а то и все двадцать крон, смотря по условию, и снова пачку, и так каждый день, пока сезон. Сейчас платят поштучно, и ходит контроль. За розданную сотню платят пятьдесят геллеров. Это великолепная сумма. Когда проспект красив и прохожие в хорошем настроении, от обеда до вечера (пока люди идут в кино) зарабатываешь пятнадцать крон. В дождь или в большой мороз можешь рассчитывать на шесть — восемь крон, не больше. Иногда фирма дает еще форменную одежду, и хорошо, если удается натянуть ее на собственные лохмотья. Так теплее. Но теперь это бывает редко. Затраты на форму доходов не приносят, и поэтому фирмы придумывают более броскую рекламу: например, изготовляют большие куклы из папье-маше, которые превращают раздатчика реклам в пестрого великана.

— Получить такую работу,— говорит мой собеседник,— это верные двадцать крон. Но для этого нужна фигура.

Он вздыхает, потому что у него, бывшего подручного мясника, «фигуры» нет, и он может только мечтать о недостижимом для него счастье, о счастье другого безработного, который проводит восемь часов в высокой, тяжеленной кукле, давящей на плечи, затрудняющей дыхание, позволяющей видеть свет только через небольшие отверстия для глаз, замаскированные проволочной сеткой,— в веселой кукле, внутри которой находится унылый безработный человек, на день или на неделю нашедший способ заработать двадцать крон.

— Сегодня,— продолжает мой собеседник,— дело не пойдет. Руки у всех точно зашиты в карманах. Если вы хотите написать об этом в газете, скажите и о том, чтобы прохожие брали рекламы. Их от этого не убудет, а нам все-таки помощь. Не стоит говорить, сколько труда потратишь, пока раздашь тысячу штук. А это дает только пять крон.

— Ну а если выбрасывать иногда малую толику? Не пройдет?

— Не могу, ходят контролеры, откуда я знаю, может, он как раз сейчас следит за мной. Себе дороже!

Фирмы заранее предупреждают раздатчиков проспектов, что тот, кто выбрасывает листки, привлекается к ответственности как за порчу чужого имущества. Иногда с раздатчиков берут еще денежный залог — за тысячу штук десять или двадцать крон; если раздатчика застанут за уничтожением проспектов, деньги немедленно пропадают.

— Счастье еще, что я занимаюсь этим с прошлого года. Теперь я едва ли получил бы такую работу — в этаких лохмотьях!

Выбор стал больше. К внешности стали требовательнее. Фирмы уже не берут оборванных, обнищавших людей. Им нужны безработные, у которых еще сохранилась приличная одежда — это вызывает доверие; люди с ин-

теллигентным выражением лица — это вызывает уважение; молодые красивые женщины — это вызывает интерес. Живой рекламе есть теперь из кого выбирать.

В центре Праги ходит белокурая девушка с большими темными глазами. Она целый день раздает проспекты об «Уходе за женским телом» и получает за это десять крон. На Виноградах два изысканно одетых кельнера раздают в обеденное время и вечером, когда начинаются ужины, проспекты о «прима-кухне» одного ресторана и получают за это пять крон, обед и ужин из остатков этой «прима-кухни». На Национальном проспекте раздавал рекламы тщательно одетый мужчина, бывший служащий крупного пражского завода, женатый, отец троих маленьких детей. Он получал тридцать геллеров за сто штук и за весь день зарабатывал всего две кроны семьдесят. Он уже несколько раз пытался заложить свое зимнее пальто, но за него мало давали (ломбарды и ветошные лавки уже переполнены такими вещами), а имея приличный вид, он получает хоть такую «работу». Кто знает, не потребуется ли скоро, чтобы каждый претендент на поденную раздачу рекламных листков предъявлял аттестат зрелости.

Когда в двадцатиградусный мороз к вам протянется посиневшая рука с рекламным проспектом, возьмите его. Его подает вам человек, «живущий без работы» и зарабатывающий благодаря одному вашему движению руки четверть или полгеллера. Но не думайте, что вы помогаете этим решить проблему безработицы. Нет, даже те, кто на некоторое время ухватился за геллеровый заработок, раздавая проспекты, не имеют права так думать. Руки, потерявшие работу на заводах и в канцеляриях, никогда к ней не вернутся, если захотят спастись только тем, что будут молча предлагать прохожим рекламные листки.

Галло-Новины, 12 декабря 1933 г.,
под псевдонимом «Павел»

НЕ СМЕРТЕЛЬНО?

Вы поступали бы иначе — думаю, что поступали,— если бы лучше видели. Вы не позволили бы успокоить себя мошенникам сказками, если бы слышали вой множества голодных желудков. Вы не испытывали бы спокойствия и тупого равнодушия, если бы вам приходилось в больших городах сходить с тротуаров на проезжую часть улицы, чтобы обойти умирающих, лежащих под витринами, где выставлены добротные и необходимые товары. Вам кажется, что все в порядке, и вы хотите, чтобы и другие так думали, потому что вы еще можете спокойно пройти по площади и вам не придется перешагивать через трупы, от которых идет ужасающий запах, поскольку они лежат на солнце.

Но вы позволяете умирать огромному количеству людей и при этом испуганно зажимаете себе нос, чтобы самим не чувствовать и не быть свидетелями того, как ужасно смердит наше время. Вы негодуете, когда видите упавшую от истощения женщину с ребенком на руках, и успокаиваете свою совесть тем, что покупаете ей тарелку супа. И ваше возмущение переходит в удовлетворение, когда какой-нибудь обманщик самодовольно, с бахвальством напишет: «У нас еще никто не умер от голода».

В панике тонущий человек не хватается ни за что с такой поспешностью, как за наглую самоуверенность. И обман, который вводит массы людей в заблуждение, должен быть грандиозным. Фраза: «У нас еще никто не умер от голода» — это тоже грандиозный обман. Из числа таких, как: «Да, у нас плохо, но во имя лучшего будущего мы должны это выдержать» или: «Да, у нас плохо, но еще не так плохо, чтобы люди умирали от голода, не так плохо, чтобы нам следовало беспокоиться». Они так притворно изображают, что проявляют какую-то общественную заботу, поскольку безработные «не умирают от

голода». Ведь в правилах данного общественного строя не позволить умереть никому, кто не по своей вине потерял возможность самостоятельно обеспечить себя. А поскольку это так, то не следует предаваться ни опасениям, ни панике и не следует думать о глубоких переменах, потому что строй, который таким образом гарантирует жизнь даже самого последнего из последних безработных,— это хороший строй.

Парадоксы еще помогают крутиться этому миру.

Если министр финансов Англии заявляет, что экономика в его стране сегодня стабильна как никогда, то каждый знает, что завтра фунт стерлингов упадет на несколько десятков единиц. И все же миллионы людей, цена на хлеб для которых поднимется на недосягаемую высоту, будут надеяться, что все же, может быть, не произойдет этого повышения цен.

Если лживый журналист, работающий в официальной газете, заявляет, что «у нас еще никто не умер от голода», то каждый понимает, что этот журналист только что видел статистику умерших от голода, и все же миллионы людей, находящихся на пути к такой смерти, будут надеяться, что все же, может быть, каким-то чудом на их глазах не произойдет ничего такого страшного и что их это не коснется. Миллионы людей чувствуют ложь тех, кто сбивает их с толку, и все же всей силой своих взвинченных и напряженных нервов они стремятся принять эти слова за правду.

Но правды они не найдут. Потому что там нет правды. Люди, которые отваживаются сказать, что у нас еще никто не умер от голода, лгут. Они лгут потому, что смерть от полного истощения сил не является единственной формой смерти от голода. Они лгут потому, что люди, умирающие от туберкулеза или от преждевременной полной изношенности организма, также являются жертвами голода, хотя голод в этом случае проявился в не слишком

обращающей на себя внимание форме систематического недоедания. Они лгут потому, что состояние организма, которое рассматривается врачами как «общая физическая слабость»,— это не что иное, как медленное умирание от постоянного недоедания, отличающееся от более быстрой голодной смерти лишь временем. Они лгут потому, что скрывают прямые факты, которые уже официально признаны,— факты из Подкарпатья, Спишска, Крушных гор и др. Если бы речь не шла о сознательной лжи, которая должна успокоить клокочущую жажду справедливости в людях, то уже один такой факт смерти от голода, уже смерть одного человека, который умер от голода среди забитых продуктами складов или под забором двора, на котором преднамеренно уничтожается зерно, должна была бы потрясти их сознание так, что они никогда не смогли бы забыть этого, что они никогда бы не отважились скрыть от общественности существование такой трагедии.

Но они лгут и мошенничают еще более нагло там, где могут опереться на реальную действительность. Да, это правда, у нас много безработных, но они пока еще живы. Их сотни тысяч. И это поистине удивительно, что они еще живы. Лжец, защищающий свой строй, вам скажет: «Да, то, что кажется вам удивительным,— это наша заслуга. Это — заслуга строя, который мы поддерживаем и который заботится обо всех своих гражданах. А вам следовало бы проявлять спокойствие и доверие».

Но разве это правда?

В 1928 году у нас было 39 400 безработных. В конце 1930 года, первого года кризиса, их было уже 239 564 человека. В декабре 1932 года, по официальным данным, 746 331 человек не имел работы. В декабре 1933 года цифра увеличилась до 778 150 человек. Сейчас в нашу задачу не входит проверять официальные цифры и показывать, как ведется у нас официальная статистика без-

работицы, потому что то, что ясно при одном миллионе, просто удваивается при двух. Официально у нас 778 тысяч безработных, и из них — тоже в соответствии с официальными данными — не полных 220 тысяч получают пособие по безработице. Оставим в стороне цинизм тех, кто лжет с целью достойно разрешить проблему, что возможно содержать семью в пять едоков на недельное пособие в десять крон. Но ведь остается еще 558 тысяч безработных, которые, по официальным данным, вообще не получают никакого пособия. То есть существует свыше полумиллиона человек, у которых нет работы, нет никакого систематического заработка и никакой помощи со стороны. Как же живут эти полмиллиона человек, откуда берут они средства к существованию, что уберегает их от быстрой голодной смерти?

В бродячих цирках показывают факиров, которые якобы способны прожить без еды целый месяц. Полмиллиона безработных, не получающих никакой поддержки, и миллион членов их семей — это, можно сказать, полтора миллиона факиров, способных жить без пищи целый год, а возможно, и два, и три. Не происходит ли перед нашими глазами чудо, что полтора миллиона людей годами способно существовать без единого геллера зарплаты, то есть без какой-либо возможности купить хлеб, одеться, согреться? И тот строй, при котором все это происходит, не является ли он волшебником, способным на такое чудо? Не записать ли на его счет такого рода чудо, превосходящее чудеса библейские?

Нет! У капиталистического строя нет никаких законных лазеек, через которые человек без денег мог бы пролезть и тем самым избежать смерти от голода. Без денег нет для тебя места не только в трактире, но и во всем капиталистическом мире. Если бы все придерживались правил данного строя, то полтора миллиона безработных и членов их семей уже не существовало бы на свете. Они

должны были бы умереть, потому что закон не знает такого положения, при котором они могли бы остаться в живых. Если эти полмиллиона людей еще живут, если на улицах, шоссе, в лесах, пещерах, временных бараках не лежит штабелями полтора миллиона мертвых, то это произошло по недосмотру строя, вследствие существующего беспорядка и нарушения законов.

Ведь что делают эти безработные, чтобы сохранить свою жизнь?

На улицах городов тысячи нищих — безработных, они влачат жалкое существование и протягивают руку за милостыней. Они нарушают закон, потому что нищенство у нас запрещено.

Из дома в дом ходят бывшие рабочие, продавцы, профессора, архитекторы — ныне безработные — и продают, без специального разрешения на то, материалы, часы, аппаратуру. Они нарушают закон, потому что не имеют права заниматься продажей товаров, так как не платят за это налог.

В переулках тысячи безработных женщин торгуют фруктами, игрушками, сладостями, и так как у них нет документов, разрешающих им вести подобную торговлю, то этим они совершают также преступление против закона.

В угольных районах безработные горняки находят заброшенные шахты, в которых они на свой страх и риск добывают уголь для продажи. Этим они нарушают закон, потому что добывать уголь в закрытых шахтах запрещено.

Тысячи безработных женщин зарабатывают на жизнь проституцией, и этим они нарушают закон, потому что проституция запрещена.

Каждый день границу с Германией, Польшей, Венгрией, Румынией переходят десятки тысяч контрабандистов — безработных, которые в контрабанде находят

единственный источник заработка. Они нарушают закон, потому что контрабанда считается преступлением.

Словацкие, подкарпатские, бухловские, шумавские леса полны браконьеров, которые живут браконьерством, но тем самым нарушают закон, потому что браконьерство у нас запрещено.

Десятки тысяч безработных живут воровством. Они крадут продукты, собак, материал с фабрик, где они когда-то работали, зерно в поле, уголь из вагонеток, деревья в лесу и доски со строек, крадут в отчаянии, без разбора, лишь бы не умереть с голоду. И этим они совершают преступление, потому что мелкая кража карается законом.

Все эти безработные, миллионы безработных, которые не имеют никакой поддержки и все же пока живы, существуют благодаря деятельности, которая считается противозаконной. Они живут, занимаясь недозволенной торговлей, недозволенным «промыслом», недозволенным попрошайничеством, недозволенным бродяжничеством, недозволенным мошенничеством, воровством, контрабандой, браконьерством, то есть делами, которые преследуются законом, на который они вынуждены не обращать внимания, потому что каждый шаг их жизни с того самого мгновения, как их выбросили с работы и вычеркнули из списков людей, получающих пособие по безработице от государства, должен быть шагом, нарушающим закон. Они фактически существуют вне закона, они живут против воли строя, который не может дать им ни работы, ни поддержки.

Защитники этого строя могут доказать все, что угодно. Они доказали бы и то (поскольку эти факты правдивы и явны и их невозможно отрицать), что строй знает об этой печальной действительности, поэтому в интересах безработных он закрывает глаза на некоторые их беззаконные деяния, за которые в другое время они были бы подвергнуты наказанию. И несмотря на то, что этот факт

тоже свидетельствует против строя, который якобы в интересах граждан должен закрывать глаза на нарушения своих законов, но это тоже ложь, потому что нищих преследуют за попрошайничество, полицейские преследуют женщин, которые незаконно продают фрукты, преследуют и наказывают шахтеров, которые берут уголь с заброшенных шахт, в контрабандистов стреляют, за воровство наказывают. Нет, строй не закрывает глаза, строй твердо проводит в жизнь свои законы.

А из этого вытекает следующее.

Безработный профессор разбил витрину, чтобы попасть в тюрьму и пожить несколько дней на тюремном пайке; безработный рабочий заявил, что якобы он — тот убийца, которого разыскивает полиция; безработная женщина подожгла стог сена, а потом попыталась покончить жизнь самоубийством, когда узнала, что ее дети не будут осуждены вместе с ней, не попадут в тюрьму и не смогут там спастись от холода и голода.

«У нас еще никто не умер от голода»,— самоуверенно заявляют защитники строя — и лгут! Правда, пока еще живет миллион или два миллиона голодных факиров, людей безработных и не получающих ни от кого ни малейшей помощи. То, что они живы, является таким же свидетельством против строя, как и то, что они в любое время могут умереть. Потому что их «бессмертие» существует не благодаря этому строю, а вопреки ему.

Миллион или два миллиона безработных и членов их семей не сломил еще голод и холод, и они влачат свое жалкое существование, нарушая мелкими преступлениями законы строя.

И тут появляется вопрос, адресованный им, вам, всем нам: что нужно делать, чтобы эти люди не влачили жалкого существования? Что нужно делать, чтобы они нормально жили?

Доба № 1, 1 февраля 1934 г.

УБИЙСТВО И ШКОЛА

Три дня первые страницы газет были посвящены убийству. Одному из тех ужасных случаев, какие некогда придумывали романисты. Конкретно и подробно ловкие журналисты описывали мертвеца, которого целый год дочь-убийца коптила в дымовой трубе, рассказывали о слабом и флегматичном муже, о соседке, помогавшей положить убитого в корыто и давшей затем слово молчать: «Ну что вы, пани, конечно, не скажу. Будьте покойны, не скажу даже той, что живет на четвертом этаже, ведь она такая сплетница». Люди читали об этих ужасах как об очередной сенсации дня. Читали с интересом, но, нисколько не удивляясь, воспринимали убийство с какой-то обывательской наивностью, с наивностью той соседки, которая, помогая перенести труп, вероятно, считала это таким же ничтожным проступком, как нарушение запрета управляющего домом выливать помои в водопроводную раковину. Люди читали о преступлении, не испытывая ужаса, а журналисты писали, не затрудняя себя нравоучениями. Они не спрашивали и не давали ответа на вопрос, почему такие происшествия, бывшие когда-то уделом богатой фантазии, сейчас становятся почти обыденным явлением, откуда взялось такое безразличие, почему теперь случай самого зверского убийства не вызывает даже приблизительно такого, скажем, нравственного волнения, как это было перед войной? Журналисты не искали никаких социальных причин, не искали «коллективного виновника», то есть не задумывались над более глубоким и более принципиальным объяснением, почему сегодня жизнь человека ценится так мало, что смерть его волнует людей не больше, чем обычная сенсация, которая завтра позабудется ради нового убийства с ужасами возможно даже еще бóльшими. Журналисты вообще не пытались

выяснить, почему возрастает преступность. Для них просто существовал один человек, его убили, труп засунули в дымовую трубу, а потом уложили в корыто. Об этом и писали три дня. Три дня первые страницы газет были посвящены убийству.

На четвертый день первые страницы газет сообщили такими же большими буквами, что коммунисты ведут в средней школе антимилитаристскую и антифашистскую пропаганду. Статьи более или менее ловких журналистов не отличались на этот раз ни конкретностью, ни подробностью описания фактов, но зато они немедленно выводили «мораль» и, не запнувшись, называли «коллективного виновника»: коммунисты. «Коммунистическая партия совершает новое преступление, развращает молодые души учащихся средней школы, подстрекает их служить иностранному государству,— распустите же Коммунистическую партию!» Ловкие и неловкие буржуазные и так называемые «социалистические» журналисты на сей раз брали на себя труд сделать выводы из описываемых событий. Выводы, свидетельствующие об их волнении, возмущении и заканчивающиеся определенными требованиями.

Мы научились относиться подозрительно к людям, которые могут быть либо легкомысленными, либо «глубоко принципиальными» в зависимости от обстоятельств. Мы научились оценивать возмущение, смотря по тому, какой класс им охвачен. Мы научились отличать по этому признаку справедливое возмущение от возмущения, способствующего преступлению. И пример с первыми страницами газет за четыре дня подряд, взятых нами наугад, показывает, что у нас есть основание не только для подозрительности.

[Я хорошо понимаю, что новость о «коммунистических листовках», распространяемых среди учащихся средней школы, могла вызвать огромную панику у ста-

рорежимных людей. Паника была вызвана не столько самим фактом выпуска коммунистами таких листовок, сколько тем, что эти листовки в средних учебных заведениях читали с увлечением, что их распространяли сами учащиеся и что допрошенные по делу о листовках ученики, не выдавая друг друга, нисколько не скрывали своих собственных убеждений. Целые годы писалось и доказывалось, что средняя школа воспитывает кадры надежных интеллигентов, что она исполнена патриотического духа, что молодежь средней школы является подлинной «надеждой» тех, кто живет за счет огромного большинства народа. И вдруг оказалось, что в средней школе все кипит, что те времена, когда можно было говорить о фашистских настроениях среди учащихся средней школы, миновали, что ученики средней школы участвуют в борьбе против фашизма и против войны. Право, нетрудно понять панику, вызванную этим фактом. И ясно, что в смятении и бешенстве правящие классы ищут виновника и выступают прежде всего против Коммунистической партии, призывая к ее разгрому.

Но нужно понять, что они лгут сами себе; они обманываются, если думают, что их спасет роспуск Коммунистической партии. События, которые так возмущают и пугают защитников капитализма, имеют более глубокие корни, и их не удастся предотвратить, если революционное движение даже будет загнано в подполье. Каждый может убедиться хотя бы на примере средней школы, как распространяется определенная оценка современного состояния капитализма и понимание его ближайших целей и как возрастает сопротивление ему. Перед глубиной этого сопротивления становятся смешными любые обывательские представления о нескольких негодяях, «внушающих невинным учащимся постыдные и достойные осуждения идеи».

Нет, господа, здесь нет совратителей и совращенных — у учащихся средних школ проявляется дух протеста. И это не бунтарство вообще, не какой-то общий, «вечный» бунт молодежи против стариков, а протест совершенно современный, конкретный, точный, обоснованный, сознательно направленный. Протест против порядков капиталистического мира.

Вопрос вообще касается не только учащихся средней школы. Коммунистические листовки распространяются не только среди них, но и повсюду. Вся Чехословакия, вся Европа, вся Америка наводнена (если говорить образным газетным языком) коммунистическими листовками или, лучше, революционными идеями (если говорить точно). Сознание, что мир, организованный так, как сейчас, должен развалиться, разрушиться, проникает все глубже и глубже во все более широкие народные массы. Этот процесс с необыкновенной силой идет не только среди рабочих, но и среди людей, которых школьное воспитание должно было лишить зрения и которые действительно очень, очень долго были слепы.]

«Капиталистический мир разлагается» — это сказано точно, пусть даже для многих эти слова стали фразой, смысл которой стерся от чрезмерно частого употребления. Он разлагается не как труп, а заживо, и именно понимание этого процесса производит самое сильное действие. Ведь даже те, кто не сознает или не хочет сразу сознать, что активно выступить против капитализма — долг каждого человека, даже эти люди пугаются его ужасного, всеразлагающего бессилия, и они не хотят заразиться, не хотят умереть вместе с ним, не хотят стать жертвой его зловонной болезни.

Или вы думаете, что пока еще не видно, насколько страшна, насколько пагубна эта болезнь? Насколько опасна она для человечества? Нет ценности, которой бы

не захватывала она, нет ценности, которой бы она не разлагала. Ведь на убийство уже смотрят с тупым любопытством и без глубокого возмущения. Почему? Потому что убийство было возвышено до дела жизни именно этим разлагающимся организмом, который должен убивать, чтобы брать откуда-то новые силы для своего существования. Капитализм должен убивать и учит убивать. Кровь фашистского террора, кровь войн — его инъекции, которыми он еще поддерживает себя. И ему нужно все больше и больше новых инъекций, как морфинисту, который должен увеличивать дозы, чтобы не умереть. И отвыкнуть он не может, ибо это не привычка, а смертельная болезнь.

Люди уже настолько отупели, что могут равнодушно пройти мимо отдельных убийств. Но они не могут равнодушно пройти мимо массового истребления человечества, мимо убийств голодом, террором, войной. Ведь должны, наконец, когда-нибудь осознать люди это потрясающее безумие, когда с помощью науки, под звуки патриотических гимнов готовится смерть миллионам людей для продления жизни нескольких «индивидуумов». В один прекрасный день человек должен понять, что он будет принимать непосредственное участие в подготавливаемых событиях,— спокойно или с энтузиазмом (это зависит только от степени его собственного безумия); но если он не безумец, если не хочет быть безумцем, то он не смеет молчать, не смеет уклоняться, он должен что-то сделать, чтобы высвободиться из этого заколдованного круга, избавиться от той силы, которая принуждает его заразиться болезнью смертельно больного общественного строя. И это познание должно привести человека к революции.

Фашизм и война — последняя «мудрость» капитализма. И именно поэтому люди так наглядно убеждаются в его разложении. Эта «мудрость» той же концен-

трации, что и воинственные речи безумца, который собирается стать Наполеоном. Никто не может сомневаться в его безумии.

[И поэтому так понятно, что уже не только пролетариат, но и вообще все мыслящие люди, которых капитализм обрекает на смерть, приходят к одним и тем же выводам. Понятно, что и учащиеся средней школы распространяют в своих учебных заведениях листовки против фашизма и войны. Роспуском Коммунистической партии не остановить этих речей.]

Это — сила, которая не зависит ни от каких запретов или разрешений. В Англии существует легальная Коммунистическая партия, о слабости которой сказаны весьма авторитетные слова. А в Оксфордском университете на анкету о войне все избранное оксфордское студенчество ответило, что оно объявило борьбу с войной и не даст убить себя ради интересов сильных мира сего. В Венгрии Коммунистическая партия находится в глубоком подполье, коммунистов там пожизненно заключают в тюрьмы или просто убивают, а в образцовой будапештской гимназии огромное большинство учащихся занималось в марксистских кружках, изучало марксистскую литературу и участвовало в нелегальном революционном движении.

Но означает ли это, что развитие революционного движения не зависит от Коммунистической партии? Нет! Это означает, что оно не подчиняется воле буржуазии, не испрашивает у нее разрешения.

И от нас всех зависит, много ли еще буржуазия будет себе разрешать. От нас и от всех тех, кто наконец начинает понимать, где его место.

Творба № 2, 25 мая 1934 г.

УПАЛ ОТ ГОЛОДА

Прага, 28 мая 1934 г.

На площади Республики, в нескольких шагах от пражского Дома Представительства, упал человек. Случилось это незадолго до полуночи, с субботы на воскресенье; по тротуарам быстро шли люди, спеша из театра в рестораны, из кафе в бары. Десятки людей столпились около упавшего; кто-то нагнулся и поднял его голову, потом, беспомощно поддерживая ее рукой, предложил вызвать «скорую помощь». Откуда-то из-за угла пришли двое полицейских, один важно, другой растерянно поглядели на неподвижное тело и — разогнали собравшихся, но кто-то из толпы, словно в знак протеста, бросил несколько монет в шляпу упавшего.

— Скорую помощь!

— Что с ним?

— Должно быть... голод.

— Таких они не берут.

— Что же с ним делать?

— В шляпе есть деньги, купите ему сосисок.

Человек на мостовой вздохнул и стал приходить в сознание.

— Встаньте!

Но у него не было сил.

— Я голоден...

— В полицию! До утра он придет в себя. И разойдитесь, господа!

Его подняли, шел он в полузабытьи — вернее, его несли; утром его сбросят с нар, а завтра или послезавтра он упадет опять.

Это случается теперь каждый день. Каждый день на улицах городов падают от голода люди. Журналисты уже почти не обращают на это внимания, полиция уже не дает об этом сведений, но все-таки за последние четырнадцать дней в разных пражских газетах появились коротенькие сообщения о семнадцати таких случаях — рассказы очевидцев. А если вы проедете по большим промышленным городам Чехословакии, то сможете сами почти каждый день наблюдать такую же картину: двое полицейских разгоняют группу людей, а затем увозят изможденное тело голодающего мужчины или истощенной женщины.

Раньше находились люди, которые, услышав о нищете, всегда повторяли одно и то же: «У нас еще никто не умирал от голода». Я уже давно нигде не читал этой позорной провокационной фразы, но знаю, что подобное мнение еще живет — живет для успокоения трусливых, для спокойствия тех, которые хотят ходить по свету с шорами на глазах, и для блага тех, кто может жить лишь до того дня, пока миллионы людей не прозреют. Жестокие случаи физической смерти от голода достаточно ярко свидетельствуют о лживости этой фразы. Но она оставалась бы лживой, даже если б не было мертвецов, потому что с ее помощью стараются создать впечатление, будто заслуга общества и его законов состоит именно в том, что миллионы безработных еще не умерли от голода.

Я недавно доказывал, что, наоборот, безработные в громадном большинстве живут еще только потому, что они нарушили законы общества, нарушили его порядок. Я доказывал, что громадное большинство безработных живет именно потому, что нарушает закон: торгуя без разрешения, роя дикие шахтенки, контрабандой перевозя товары через границу. Они нарушают закон тем, что просят подаяния, браконьерствуют, крадут, производят

концессионные работы, короче — всем, что делают и что только могут делать, чтобы не умереть с голоду, а это означает нарушение законных предписаний, установленных существующим строем. А если они попадутся за то, что защищают свою жизнь, то лишь короткое время — неделю, месяц или год тюрьмы, к которым их приговорят,— лишь это короткое время им будет разрешено жить согласно закону, согласно закону нынешнего строя. Только в тюрьме узаконена жизнь безработных, не получающих пособия, а сегодня их уже огромное большинство. Вся остальная жизнь безработного противозаконна.

Но смерть, смерть от нужды, голодная смерть — нет, это никак не противоречит законам данного строя. В этом обществе безработные имеют законное право умирать от голода. Вот почему хранители порядка всегда в замешательстве стоят перед человеком, который упал на мостовой, истощенный от голода. Как с ним поступить? Он не сделал ничего дурного. Закон этого строя не запрещает умирать от голода. Закон этого строя даже не постановил, что человек не должен умирать такою смертью. Поэтому не вызывают «скорую помощь», поэтому даже больница не принимает голодных. Голод — не болезнь, которая излечивается этим строем, не преступление, против которого он стал бы бороться. Но если люди столпились вокруг человека, упавшего от голода на улице,— ах, это уже нечто другое, на это есть предписания, против этого можно принять меры, потому что любое собрание, не объявленное заблаговременно, запрещается; а голодный человек вызывает только растерянность, беспомощность, ибо, умирая от голода, он лишь использует свое доброе гражданское право безработного.

Какое отчаяние охватывает людей, которые не ели пять дней! От площади Республики к Вацлавской пло-

щади ведет роскошная улица. Однажды здесь всего лишь за двадцать четыре часа до того, как упал безработный у Дома Представительства, другой безработный бросился прямо головой в крепкое стекло витрины, разбил его и начал уничтожать выставленные там продукты. Это — злоумышленное повреждение чужого имущества, оно карается законом, и тут блюстители порядка не должны быть беспомощны. Безработный был арестован, а в полиции выяснилось, что он симулировал сумасшествие, чтобы попасть в дом умалишенных. Он совершенно спокойно принял сообщение о том, что за свой поступок будет по крайней мере препровожден в тюрьму. Сумасшедший дом или тюрьма — вот законный выход для человека, который в течение двух лет был вне закона, потому что порядок этого мира лишил его работы.

Сумасшедший дом или тюрьма — это уже не символ, это подлинное лицо нынешнего строя.

А вы? Позавчера, вчера человек упал на улице от голода. Сегодня, завтра он упадет опять. Люди! Вы, которые содрогаетесь от ужаса перед такими порядками и, несмотря на это, закрываете глаза, чтобы не видеть их причин,— вы думаете, что не несете ответственности? Вы, которые верите, что есть что-то хорошее в таком строе, вы, которые подчиняетесь и не протестуете, потому что с ним связаны кое-какие ваши интересы,— вы думаете, что не являетесь его опорой? Нет, нет силы, которая удержала бы этот строй, кроме вашей слепоты. Нет силы, которая удержит его, если вы прозреете.

Творба № 3, 31 мая 1934 г.

Что произойдет двадцать четвертого июля.

СКАЗКА О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ

Маленькая девочка в когтях злого волка.— Как она поплатилась за свое непослушание.— Бабушка и внучка спасены храбрым охотником.— Будет ли лесник повышен в должности

Прага, 23 июля.
(Оригинальная сказка, написанная специально для «Галло-Новин»)

Жила-была одна хорошая девочка. Она нравилась всем, кто ее знал. Но больше всего любила ее бабушка, которая жила неподалеку в лесу. Однажды бабушка подарила ей к празднику чудесную красную шапочку. Шапочка так шла девочке, что все стали ее звать «Красной Шапочкой».

Роковое решение.

Однажды маменька сказала девочке:

— Поди-ка сюда, Шапочка! Вот калач и кувшин с вином. Отнеси это бабушке. Ведь она уже старенькая и слабая, пусть полакомится. Но иди медленно, чтобы не упасть и не разбить кувшина. Будь осторожна, ступай с богом! С бабушкой ты вежливо поздоровайся и скажи ей, чтобы она скорее поправлялась. И иди только по дороге, не ходи лесом, чтобы с тобой не случилось чего плохого.

Шапочка обрадовалась,

что пойдет к бабушке и понесет ей такие вкусные вещи, и радостно сказала:

— Хорошо, мамочка, я сделаю все, как надо.

Но Красная Шапочка все-таки пошла через лес: она не боялась леса, все ее любили, и никто до сих пор не обижал. Красная Шапочка знала, что у нее есть

ангел-хранитель,

который ее сопровождает, хотя она его и не видит. (Это был, как вы догадываетесь, ангел-охранник.)

Вот шла она по лесу, шла и встретила волка. Но девочка не испугалась, потому что не слышала еще, что на свете существуют такие отвратительные звери.

Не знала она, что у волка нет жалости.

— Куда это ты, Шапочка? — спросил ее волк.

— К бабушке, несу ей калач и вино,— отвечала Шапочка.

— А где,— спросил волк,— живет твоя бабушка?

— В лесу,— отвечала Шапочка,— там, где перед домом растут три больших ореха.

Волк подумал:

«Эта маленькая девочка, наверное, пришлась бы мне по вкусу. Как бы это так сделать, чтобы заполучить жаркое из нее?»

А вслух сказал:

— Посмотри, сколько в чаще красивых цветов! Разве ты не нарвешь их бабушке?

— Правда,— ответила Шапочка.— Нарву-ка я цветов, бабушка обрадуется.

И она пошла в самую чащу леса за цветами. Все дальше и дальше углублялась она в лес: сорвет цветок и вдруг заметит другой, а там ждет ее еще лучше.

Между тем волк побежал к бабушке и постучался в дверь.

Волк-мошенник.

— Кто там? — спросила бабушка.

— Это я, Красная Шапочка! — ответил волк.

— Тогда возьмись за крюк и отвори сама. Я слаба и не могу встать с постели.

Волк сам отворил дверь и вошел в светлицу.

Не успела бабушка опомниться, как он подошел к постели и

милую бабушку проглотил.

Потом он надел ее платье, на голову натянул чепчик и лег в постель.

Вскоре пришла Шапочка и вежливо поздоровалась с бабушкой, как ей наказывала маменька. Но

бабушка была такая странная,

и Шапочка подумала, что это из-за болезни.

— Какие у тебя сегодня странные глаза! — сказала Шапочка.

— Это чтобы тебя лучше видеть,— ответил волк.

— А какие у тебя большие уши!

— Это чтобы тебя лучше слышать.

— А какие у тебя большие зубы!

— Чтобы тебя быстрее сожрать,—

сказал волк, вскочил с постели и целиком, вместе с красной шапочкой, проглотил девочку.

Когда волк наелся до отвала, он улегся на бабушкину постель, уснул и захрапел так, что казалось, будто дрова пилят.

Мимо шел охотник; он услышал храп и подумал: «Почему бабушка сегодня так храпит? Посмотрю, не больна ли она».

Вошел он в светлицу и вместо бабушки увидел в постели волка.

Он хорошо его знал и

уже давно его подстерегал.

Хотел охотник застрелить волка, но вдруг подумал: «Верно, он проглотил бабушку, и я ее еще, может быть, спасу». Поэтому он не стал стрелять, а взял нож и распорол волку брюхо.

Только распорол, сразу что-то закраснелось, и через минуту выскочила Красная Шапочка. За ней вылезла и бабушка. То-то было радости! А волк все еще спал и не просыпался. Они набрали камней и насыпали волку в брюхо. Когда волк проснулся, захотел встать, то не смог — камни были тяжелые и разорвали у него все внутренности, и он издох.

Послушание прежде всего.

Охотник взял волчью шкуру, бабушка полакомилась калачом и вином, а Красная Шапочка твердо решила никогда больше не ходить лесом, а только аккуратненько по дорожке, как маменька всегда ей наказывала.

Мораль сказки
о Красной Шапочке.

Милый читатель!

В конце каждой порядочной сказки должно быть нравоучение. Есть оно и в этой сказке, которую мы сегодня публикуем по случаю вступления в силу нового Закона о печати. Наш журнал был создан не для сказок. Наоборот, все наши усилия направлялись к тому, чтобы никак не уподобляться тем газетам, которые выходят лишь для того, чтобы убаюкивать сказками совершеннолетних чи-

тателей, как маменьки своих маленьких детей. Мы никогда не смотрели на своих читателей как на детей, то есть как на существа, которым можно лгать или от которых можно скрывать правду. Мы знали и знаем, что каждая журналистская ложь — такое же преступление против читателей-трудящихся, как и сознательное замалчивание важнейших исторических событий и их значения,— преступление, совершаемое для того, чтобы, не встречая сопротивления, эксплуататорам было легче и удобнее и дальше делать свое гнусное дело. Ни разу за все время существования нашей газеты мы не допустили такого преступления, никогда, ни разу мы не попытались отвлечь внимание наших читателей от важнейших вопросов их жизни — вопросов, важных для нас всех,— сенсациями, связанными с мошенничествами или убийствами, как это делают газеты, специально издаваемые для того, чтобы затмить сознание трудящихся-читателей. Мы являемся газетой типографских рабочих и знаем свои обязанности в отношении всех трудящихся. Мы выполняли эти обязанности, как их понимали и как могли.

Да, как могли, потому что сейчас нелегко быть честным рабочим журналистом. Удивительно верно сказал когда-то министр иностранных дел доктор Бенеш: «Печати нужна свобода, свобода и еще раз свобода». Мы убедились в справедливости этих слов, хотя, конечно, имеются газеты — и очень распространенные газеты,— которые основывают свое существование на злоупотреблении свободой печати.

Нам было тяжело, но эта трудная эра сегодня кончается и начинается еще труднее. Дополнение к Закону о печати накладывает на журналистов рабочей печати столько новых обязанностей, что даже эту сказку надо было долго искать, чтобы она не доставила больших неприятностей.

Мы могли напечатать сказку о пряничной избушке,— хотя нет, ведь она начинается словами: «Давным-давно, когда за неделю совершалось больше удивительных дел, чем теперь за год, на свете наступила такая нищета, что люди умирали от голода...»

Можно было дать сказку о крысолове,— хотя нет, ведь в ней неучтиво отзываются о градоуправлении, которое, мол, что-то обещало и не выполнило своего обещания.

Это могла быть и сказка о Длинном, Широком и Быстроглазом,— хотя нет, ведь в ней рассказывается о короле, который созвал своих министров на секретное совещание, а печатать материалы «о планах или действиях правительства, объявленных тайными»,— это строго запрещено.

Это могла быть сказка о драконе с девятью головами,— но нет, тоже нельзя: там на дракона нападают за его убеждение, что самое лучшее лакомство — мясо невинных девушек.

Можно было бы опубликовать сказку о водяном, который затаскивает в воду плохих сплавщиков,— но ведь это преступление против безопасности и порядка, а полиция не дала официальной информации об этом происшествии,— следовательно, мы не можем публиковать эту сказку на первой странице, да еще с сенсационным заголовком.

Это могла быть сказка о волшебной лампе Аладдина,— но в ней говорится о продажности багдадского правителя и бесчестных доходах его министра. Опять, значит, налицо преступление против собственности, и сказка не может быть опубликована, если не было официального полицейского сообщения.

Существуют тысячи, десятки тысяч сказок, но «свободный журналист» просто теряется, когда среди них ему нужно выбрать одну, которая могла бы устоять перед законами «свободной печати».

А вот мы, сопротивляющиеся фашизации культуры, мы, после усердных поисков, нашли целых три. Одну мы печатаем, а две бережем про запас. Это сказка о спящей красавице, та самая, в которой, когда наступает вечер, все погружается в сон, как и следует быть; и сказка о волшебном перстне, который вызывает доброго духа, когда человек в беде. На эту сказку мы возлагаем особые надежды — ничто не нарушает там спокойствие и порядок, и мораль сказки совершенно ясна: человек в нищете не должен возмущаться, надо только ждать, и тогда с неба или из подземелья явится добрый дух, который принесет человеку мешок дукатов или золотую миску с удивительными яствами. Верьте этому и не удивляйтесь, если мы добровольно напечатаем эту сказку или недобровольно опубликуем, скажем, выступление господина Стивина.

Граждане читатели, не считайте нашу сегодняшнюю сенсацию просто остротой, все равно — хорошей или плохой. Не смейтесь и не жалейте места, которое мы отвели для сказки. Это самая горькая ирония, к которой принужден был обратиться рабочий журналист. Всем этим мы хотим вам сказать, что если сегодня еще в нашей власти поместить эту сказку на первой странице, то мы не в силах воспрепятствовать запрещению опубликовать нечто подобное завтра. Мы хотим вам сказать, что теперь все зависит от вас: вы должны защищать свою печать.

Иначе вам придется удовлетворяться сказками. Но это не всегда будут сказки Божены Немцовой, и вы получите их не даром, а вынуждены будете дорого платить: нищетой, даже жизнью.

Руде право, 24 июля 1931 г.,
под псевдонимом «Иозеф Павел»

ЛЕНИН

Прага, 22 января

Студенты, исследовавшие социальные условия жизни в словацкой деревне, встретили высоко на Липтовских голях старого пастуха и разговорились с ним. Им хотелось узнать, что знает этот пастух, почти отрезанный от жизни общества, более близкий к звездам, нежели к людям, одинокий в этой пустынной горной местности Словакии,— что знает он о мире, о строе, при котором живет, и о людях, которые им управляют? Много правдивого из того, что сказал старик, неприятно подействовало бы на некоторых людей. Но многого он и не знал.

Разговор коснулся Советского Союза. Пастух радостно кивнул головой.

— А о Ленине,— спросили его,— вы знаете?

— Да,— ответил он,— Ленин был, как Яношик. У богатых брал, а беднякам давал.

После этих слов наступила тишина, долгая, задумчивая тишина.

Старый дед пускал дым из трубки и между двумя затяжками добавил:

— Да, он был еще лучше Яношика.

Этот бесхитростный рассказ — правда. Пастух с Липтовских голей действительно представлял себе Ленина как самого большого героя и самого честного парня с гор; и он вспомнил Яношика, которого почтение униженных сделало воплощением справедливости, долженствующей одержать победу в борьбе с господами.

Поразмыслив минуту о своем сравнении и, может быть, взвесив, что осталось после Яношика и что после Ленина, пастух признал:

— Да, он был еще лучше...

Рассуждая о необыкновенном значении Ленина, тысячи врагов, политиков и журналистов изображали вождя

русских рабочих разбойником, правонарушителем, государственным преступником, правда гениальным, но все же только преступником, который нарушил законы и которого необходимо за это ненавидеть.

Имя Ленина должно было стать известным миллионам людей, прежде чем дойти до пастуха с Липтовских голей. Ясно, что оно докатилось до него с примесью всего того, что о нем рассказывали враги, однако этот далекий от людей пастух почувствовал, что Ленин делал все для эксплуатируемых, и отвел ему самое высокое место, какое только было в его представлении для людей справедливых, мужественных и мудрых.

Как же после этого не понять ту восторженную любовь русских рабочих и бедных крестьян к человеку, с которым они знакомились просто, которого видели прямо перед собой как своего вождя и с которым на самом деле шли к победе; к победе они стремились, и о ней они мечтали. Ленин стал символом справедливой борьбы за права тех, кто их не имел, символом победы в этой борьбе.

Если мы сейчас оглянемся на путь, пройденный Лениным, то поймем, что он никогда не принимал случайных решений о направлении, не делал случайного выбора на перекрестках дорог. С первой минуты его занятий политическими вопросами, с того момента, как он начал участвовать в рабочем движении, и до последней минуты его жизни идет одна непоколебимая, неуклонная линия, которая всегда может быть примером,— линия, устанавливающая отчетливые, ясные, наглядные вехи для пролетариев, идущих по пути к свободе.

Позднее Ленин сам выразил это в следующих словах:

«Наша сила — полная ясность и трезвость учета *всех* наличных классовых величин, и русских и международных, а затем проистекающая отсюда железная энергия, твердость, решительность и беззаветность борьбы».

Если мы учтем, что люди, призванные направлять ход жизни всего мира, переживающего сейчас страшные потрясения, фактически не видят, каким путем и куда идти, и не умеют создать единого плана, способного действительно привести к каким-нибудь положительным результатам, и лишь защищают всеми силами свои господствующие места, нам станет ясно, каким великим источником силы Ленина и его идей было именно то, что он совершенно точно знал, куда направляется и куда ведет историческое развитие.

Откуда черпал Ленин эту уверенность?

Из марксизма, которым он овладел, будучи студентом, когда был еще неизвестен и когда, собственно, не существовало еще того имени, которое знает теперь весь мир.

Владимир Ильич Ульянов, родившийся в 1870 году, позднее взявший себе псевдоним Ленин, изучал Маркса, Энгельса, а также тех, кто, делая вид, будто исходит из учения основоположников марксизма, затуманивал, уродовал его своим псевдонаучным мышлением или нарочито извращал его единственно правильную истину.

Когда в двадцать девять лет Ленин выпустил свою книгу «Развитие капитализма в России», где марксистски объяснил путь развития капитализма в стране, для которой это было в то время самым важным вопросом, многие поняли, что появился не только настоящий ученик Маркса, но и человек, который сумеет создать новые ценности на основе теории Маркса. И Ленин не обманул этих ожиданий. Он стал марксистом еще более высокого периода развития человечества, марксистом периода империалистических войн и пролетарских революций. Благодаря своей прозорливости он вел успешную борьбу против нерешительности, оппортунизма и политики поддержки умирающего класса буржуазии и добился в этой борьбе победы — на одной шестой земного шара.

В воскресенье исполнилось десять лет со дня смерти Ленина; десять лет тому назад, когда весть о смерти Ленина распространилась по всему миру, нашлось много скорбящих людей и много таких, что стали победоносно смотреть на осиротевший Советский Союз, как на страну, в которой рухнет все созданное Лениным. Но там, в Советской стране, возник лозунг, мало похожий на траурный:

«Ленин умер, но ленинизм живет!»

Было ли это правдой? Жило ли дело Ленина? Да. Оказалось, что сильная индивидуальность, играющая выдающуюся роль в истории, играет ее не сама по себе, а вырастает вместе со всем тем, что вокруг растет и развивается из общей основы, и что руль, который выпустил из рук умерший, не будет оставлен ни на минуту, если корабль, управлявшийся им, плыл в правильном направлении.

В Советском Союзе ленинизм действительно живет полной жизнью, и в конце концов никто даже из врагов не станет серьезно оспаривать этого, так как тут говорят факты, статистические данные о построении социалистической промышленности, о росте коллективных хозяйств и о развитии Советского Союза (в то время как во всем остальном мире можно наблюдать только прогрессирующий упадок). Лозунг «Ленинизм жив!» является в Советском Союзе лозунгом действительности, лозунгом правды.

А в остальном мире? Мы должны признать, что созданный Лениным Коммунистический Интернационал и его секции в отдельных странах также являются действительностью, которую нельзя отрицать, и что методы, которыми они ведут свою борьбу, не свидетельствуют о недостатке жизненных сил и энергии.

Известно, что десять лет назад против Ленина выдвигали, например, имя Вильсона. Сейчас, мы видим, о Ленине не забыли, его имя называют с еще большей любовью одни и с еще большей ненавистью другие. Значит, его имя

живет. А где же имя Вильсона? Разве говорят еще о его условиях построения нового мира и заметны ли результаты его дела?

Лозунг «Ленин умер, но дело его живет!», провозглашенный десять лет тому назад, был выдвинут той же самой силой, которая имеет своим источником ясность планов, железную энергию, твердость и решительность в борьбе.

Ленин умер, но его дело действительно живет, и мы еще будем иметь случай встретиться с ним в самых различных фазах.

Гало-Новины, 22 января 1934 г.

ГОЛЫЙ ГЕРОЙ

На реке Дийе произошло несчастье, которое опечалило всех граждан. Но и в этом мраке ужаса засиял свет великой гражданской доблести: героизм. Нашлось несколько героев, которые не щадили своих жизней, чтобы спасти жизнь детей. Среди них был и конюх Голешинский. Об этом немало уже писали газеты. Пишут они и теперь. Но что?

«Голешинский лежит в больнице и, бедняга, не знает, в чем он пойдет домой, когда поправится, потому что единственная его одежда и ботинки уплыли, когда он спасал детей... Список благотворителей будет опубликован».

Итак — голый герой. Герой без ботинок и без платья. Да и то можно еще радоваться, что журналисты вспомнили о нем и сами принялись попрошайничать, причем достаточно эффективно (ведь те, кто более всего мог бы дать, дают только тогда, когда имеют шанс попасть как благородные благотворители в газету). Да, можно радоваться, что газеты не ждут, когда Голешинский выйдет из больницы и будет вынужден стоять с протянутой рукой.

Я представил себе, что произошло бы с Голешинским, если бы Дийе была не в Чехословакии, а в Советском Союзе. И там, конечно, могло бы случиться несчастье, и там граждане проявляли бы свой героизм как естественный долг. Но там и государство и все социалистическое общество также знало бы, что и оно должно выполнять свой долг по отношению к гражданам вообще, и к хорошим в особенности.

Советский Голешинский лежал бы теперь в больнице, окруженный заботой лучших врачей. Он не был бы жертвой. Он знал бы, что за свой героизм он не должен понести материальный ущерб. Центральный Комитет Коммунистической партии вносил бы уже предложение наградить его орденом Ленина. Швейные фабрики соревновались бы между собой, какой из них выпадет честь предложить ему одежду своего производства. Ленинградский «Скороход» тотчас же послал бы ему лучшие пары своей обуви. Также и советские журналисты заботились бы о нем. Они старались бы узнать, чем интересуется Голешинский, что бы он хотел получить — не как награду, а просто как радость,— ведь и он принес незабываемую радость многим родителям, спасая их детей. Репортеры потом тихонько сообщили бы о его интересах парторганизации или заводскому комитету соответствующей фабрики или учреждения, а в газетах мы уже только прочли бы, что Голешинский получил радиоприемник новейшей конструкции, или патефон, или целую библиотеку,— короче говоря, то, о чем он тайно мечтал. А если бы, например, он захотел учиться — потом, после выхода из больницы,— он учился бы, стал бы... ну, это уж мы не знаем, кем бы он стал. Это зависело бы от его способностей и воли. Но все, что было бы до того, мы наперед знаем, и это, собственно, знает каждый, кто читает советские газеты.

И там пишется немало о гражданах, проявивших в решительную минуту свой героизм. Но никто для них не

попрошайничает, потому что там этого не нужно, потому что там и государству свойственна своя гражданская доблесть — забота о человеке.

Гало-Новины, 2 июня 1936 г.

СПАСЕНИЕ ТОНУЩИХ БАНКНОТ

Вокруг трагического события на реке Дийе, во время которого погиб тридцать один ребенок, произошло немало фактов, показывающих, что такое капиталистическое общество и какую цену в нем имеет жизнь простого человека. Оказалось, что дети не погибли б, если б вместо парома они воспользовались мостом, находящимся лишь немногим далее, но недоступным для простых смертных по воле именитого владельца поместья, опасающегося, как бы люди не спугнули его именитого крупнопоместного зверя. Оказалось, что государственные органы в течение многих лет не заботились о безопасности жителей в окрестностях опасной Дийи. Оказалось, что никому из официальных лиц не пришло в голову позаботиться хотя бы о самом необходимом для раненого конюха, спасшего несколько детей, который должен был из больницы идти домой пешком, в одолженном платье, так как у него не было денег даже на дорогу, а единственной своей одежды он лишился при спасении детей. И оказалось также, что нет несчастья, при котором капиталист перестал бы думать о своей прибыли. Я цитирую здесь одно объявление из газет:

«Школьники низшей школы в Раквицах застрахованы в «Славии» (указан адрес банка) на предмет похорон в случае смерти от увечий и несчастных случаев на сумму в тысячу крон каждый. Школьники внесли в счет этого страхования каждый только по одной кроне. Банк «Славия» выдает во всех 31 случаях полностью «страховые по-

гребальные» тысячу крон, невзирая на то, достигли ли погребальные издержки суммы в тысячу крон, выдает *даже в тех случаях, когда погребальных расходов, возможно, не будет, потому что труп утонувшего школьника не найдется».*

Как «благородно» это сказано! Из каждого слова прямо сквозит возвышенная банковская цена жизни ребенка, выраженная в трижды повторенной сумме — тысяча крон! Родители в Раквицах плачут от тяжелого горя, простые граждане республики глубоко скорбят вместе с ними, а банк «Славия» напоминает всей общественности, что он также понес большую утрату: у него потонул в Дийе 31 банковский билет достоинством в тысячу крон. Герой-конюх Голешинский спасал детей, все простые граждане республики радовались каждому спасенному ребенку. А в банке тем временем стучали счетные машины и директора «болели» за Голешинского, потому что он вытаскивал им из воды тысячные билеты. Дать же ему хотя бы один процент, как человеку, честно вернувшему находку, конечно, и в голову не пришло. И все-таки этот капиталистический мир чрезвычайно прост. Все может он выразить в простой округленной сумме денег. Даже жизнь ребенка.

Творба № 25, 19 июня 1936 г.

ЖУРНАЛИСТСКАЯ ОПЕРАТИВНОСТЬ

Если за две минуты до конца футбольного состязания Спарта — Славия вы покинете трибуну, чтобы попасть к выходу до общего наплыва, у ворот стадиона вы уже увидите продавца со специальным выпуском «А-Зет», из которого вам станет известно, что на последней минуте игрок Спарты Заичек точно направил мяч в сетку ворот и

сравнял счет. Вот что значит журналистская оперативность! Всякий порядочный журналист из другого печатного органа немножко ей позавидует и в то же время почувствует гордость за свою профессию, благодаря которой общественность бывает столь быстро осведомлена даже о таком мелком происшествии, как забитый гол.

Но вот где-нибудь в Бучовицах вспыхивает забастовка, и восемьсот рабочих мужественно защищаются против явно позорных провокаций предпринимателей. Теперь речь идет уже не о каком-нибудь мелком происшествии, а о делах больших, о жизни восьмисот бучовицких и десятков тысяч других рабочих, ибо Бучовицы... это только начало. «Союз промышленников» умеет, разумеется, прекрасно оценивать обстановку и советует Друккеру не уступать, не вести переговоров с рабочими до тех пор, пока они не покинут занятый ими завод. Капиталисты хорошо знают, что такое борьба и какое значение будет иметь победа бучовицких рабочих для поддержания боевого духа десятков тысяч их товарищей в других местах. И тут вдруг журналистская оперативность дает осечку. Проходит день, два, пять дней — но даже наиболее информированные пражские газеты все еще не имеют сообщений об итальянской забастовке в Бучовицах. До Праги скорее дойдет весть из Абиссинии о том, что Раса Касса бросил свою любовницу, чем сообщение из Бучовиц о забастовке восьмисот рабочих.

И только спустя неделю, лишь после того, как бучовицкие рабочие — национальные социалисты — послали заявления протеста в свою партийную печать, в «А-Зет» появилась коротенькая заметка о стачке. Однако журналистская оперативность такого рода ни у одного порядочного журналиста рабочей печати не вызывает ни зависти, ни гордости.

Руде право, 9 июля 1936 г.

ПРОТИВ РЕАКЦИИ

Сейчас — на пятый день боев испанского народа против фашистских мятежников — не может быть никаких ссылок на неясность сообщений. Из самого факта преднамеренного нагромождения самых противоречивых телеграмм буржуазных агентств, сейчас каждый *должен* точно и ясно понять, что происходит в Испании. Уже не может быть никого, кто не видел бы, что испанские события *непосредственно касаются также и нас.*

Они касаются нас потому, что эта борьба огромного демократического большинства против заговора фашистов, потому что это борьба за мир, борьба народного фронта мира против фашистского фронта войны. Мы знаем, какой силой мира является Франция Народного фронта, какая великая сила — Испания Народного фронта. Фашисты, стремящиеся овладеть Испанией и установить там свою диктатуру, угрожают не только испанской демократии, но также и делу мира во всей Европе. Когда ты слышишь слово «фашизм», ты слышишь: «война». И именно это слово различаем мы в доносящихся даже до нас воплях испанских мятежников. Фашистская диктатура в тылу Народного фронта Франции — каким благословением было бы это для военных планов Гитлера и каким тяжелым ударом для нас!

Испанский народ, громя своими вооруженными силами реакционных авантюристов, борется тем самым и за нашу безопасность. И мы снова повторяем: нельзя только смотреть, нельзя только благодарить испанцев, мы должны им помогать, потому что и в своей стране, прямо перед собой, мы имеем того же врага, которого они сейчас бьют.

Печать Национального объединения, пресса аграрной реакции, газеты Глинки и Генлейна возлагают самые радужные надежды на испанских заговорщиков и продолжают их популяризировать. И поскольку сейчас должно

быть для каждого ясно, что в Испании происходит фашистское наступление на демократию и мир, *каждый* должен понимать все значение того факта, что реакция Чехословакии *единодушно поддерживает это наступление*. И не удивительно: явные прогитлеровские высказывания Прейсса, опровергаемые тайные переговоры лидера правых аграриев в Берлине, выступление Сидора в иностранном комитете парламента в пользу польского фашизма и вся антисоветская кампания «Словака», козни Национального объединения и аграрной реакции против французского Народного фронта, явная связь Генлейна с Гитлером, того самого Генлейна, над которым аграрная реакция не перестает еще держать оберегающую руку,— все это предшествовало недвусмысленным проявлениям симпатии и поддержки у чехословацкой реакции по отношению к испанским мятежникам. И все это доказывает, что симпатии реакции к испанским заговорщикам — не слова, а закономерное проявление их собственных стремлений.

Неужели мы можем не понять этого? Имеем ли мы вообще право не понимать этого? Путч в Испании не был неожиданностью, о планах реакции там знали заранее, но правительство колебалось, оно пренебрегало советами и призывами коммунистов, правительство допускало козни испанских Каганков и Стршибрных, оно терпело в испанской армии Гайд и Медеков — и в результате испанский народ должен теперь с огромным трудом исправлять ошибки, совершенные правительством из-за своей необоснованной снисходительности и неоправданного легкомыслия.

Партии, вошедшие в Национальное объединение, хорошо понимают, какой урок извлекает уже сейчас народ Чехословакии из фашистского мятежа в Испании. И, защищая свои реакционные планы, они ни на минуту не задумываются над тем, чтобы применить такой же метод, каким пользовались испанские фашисты, призывая к пут-

чу: «Коммунисты нанесли удар в спину испанскому левому фронту!» Такое заявление сделал «Поледни лист», набрав его на первой странице буквами величиной с палец и повторив, таким образом, в корне лживый лозунг, с которым шли фашистские испанские генералы к солдатам, чтобы вовлечь их в свое преступление.

Разбить Народный фронт, посеять недоверие в его рядах было первой заботой испанских заговорщиков. Посеять недоверие, воспрепятствовать созданию Народного фронта, борющегося против их планов, подстрекнуть рабочий класс Чехословакии не объединяться для устранения фашистской опасности — вот также первая забота реакции Чехословакии.

Одетые в солдатскую форму испанские трудящиеся только во время путча начинают понимать, какую цель преследуют их генералы, и отходят от них. Трудящиеся массы Чехословакии должны понять, и они поймут, какую цель преследует реакционное объединение правящих кругов у нас.

Руде право, 23 июля 1936 г.,
за подписью «jf»

СОЛИДАРНОСТЬ С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ

Прага, 30 июля

Пока из Испании приходили известия о новых очагах заговора, пока радио заговорщиков Севильи, сообщающее о повсеместном успехе путча, не потеряло своего авторитета, пока генерал Мола снабжал печать торжественными заверениями в том, что Мадрид будет в руках участников заговора через несколько часов, международная реакция ликовала — ликовала по поводу успеха заговор-

щиков и изображала их «патриотами», которые хотят «уберечь» свою страну от разлагающей политики «большевистских агентов», от «нечистых рук из-за границы».

Теперь же, когда огромное большинство испанского народа встало на борьбу с заговорщиками и при этом побеждает, кончилось и ликование реакции и ее болтовня о «патриотизме», а паника заговорщиков и их друзей за границей все яснее показывает, на кого в действительности работали и работают нечистые руки из-за границы. Теперь уже ясно видно, что заговор был подготовлен прямо в генеральном штабе берлинских фашистов, теперь уже ясно видно, какую помощь получили заговорщики от фашистского Рима, теперь уже ясно видно, как глубоко заинтересованы реакционнейшие круги Англии в использовании победы испанских заговорщиков. Немецкие военные суда в испанских водах, немецкие и итальянские самолеты, поставляемые фашистским генералам, военные суда Англии как раз на важных стратегических путях Марокко — Южная Испания, «инициатива» фашистской Португалии, прямо требующей от Англии интервенции в интересах заговорщиков и против испанского народа,— все это доказывает, что союз международной реакции с испанской реакцией проявляется в действии, в вооруженной помощи и что испанский народ борется не только с франками, молами и кабанеллосами, но и с гитлерами, муссолини и остальными фашистскими поджигателями войны.

И для политических слепцов должно быть уже теперь ясно, что значение борьбы в Испании выходит далеко за границы страны. Если нефтяной король Детердинг помогал Краснову в борьбе с советским пролетариатом, то он делал это не из любви к Краснову, а потому, что мечтал о бакинской нефти, о новых прибылях и боялся, что в случае победы русского пролетариата, который покажет пример, не только эти новые прибыли, но и вообще все доходы

могут оказаться под угрозой. И если сегодня Детердинг помогает Франко и остальным испанским заговорщикам, то он делает это не просто из симпатии к ним, а потому, что хищническим планам международной реакции препятствует демократизм Испанской республики, и поэтому Испания Народного фронта — опорный пункт антифашистских и миролюбивых сил — должна быть разбита, чтобы развязать руки международной реакции. И если Гитлер дает испанским заговорщикам деньги, оружие и инструкторов по убийству испанского народа, то он делает это не потому, что ему понравился Санхурхо, не потому, что это ему необходимо для международного убийства, для военных целей, а потому, что ему необходимо уничтожить Народный фронт в Испании, поставить Францию Народного фронта под угрозу с юга и юго-востока, освободить руки для наступления на восток против Чехословакии и прежде всего против могучего оплота мира и подлинной свободы трудящихся — против Советского Союза. Фашистский путч в Испании не что иное, как один из пунктов плана наступления международной фашистской реакции. Выбор пал на страну, безмерно тяжело пораженную кризисом, на страну отсталую, лишь под властью Народного фронта начавшую пробуждаться от средневекового оцепенения, в которое ее ввергла многолетняя диктатура своры капиталистов и их генералов. Но быстро выросло сознание народа, и путч фашистов натолкнулся на такое могучее и героическое сопротивление, которое не было предусмотрено ни самими заговорщиками, ни их зарубежными союзниками. И так выплыло наружу то, что должно было сохраняться в тайне: фашистские руки, протянутые из всех уголков Европы и помогающие испанским «патриотам» уничтожить Испанию, чтобы она не смогла играть великую роль борца против фашизма, борца за мир. В Испании решается судьба трудящихся всей Европы, всего мира. И весь мир решает судьбу испанского

народа. Гражданская война не знает строго выдержанной линии фронта. Но она разделила мир на два лагеря, которые с каждым днем все явственнее выступают на его политической карте. Международная реакция целиком солидарна с реакцией испанской, так как знает, что там идет борьба за ее интересы. Это должны знать и все трудящиеся, это должны знать и трудящиеся Чехословакии. В Испании идет речь также и о нас. Победа испанского народа означает удар, нанесенный реакции, которая угрожает нам. Мы обязаны помочь испанскому народу победить. Против фронта международной реакции необходима солидарность всех трудящихся, всего народа, всех прогрессивных сил Чехословакии.

Руде право, 31 июля 1936 г.,
за подписью «if»

ЧЕЛОВЕК, ПИТАЮЩИЙСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ЛАМПОЧКАМИ

Вечерело.

В мрачном закоулке Старого Города, на темном фоне костела, в сгущающихся сумерках я заметил столпившихся прохожих. Среди неподвижных зрителей, в таинственной тишине, возникло такое странное видение, что я остановился.

Это было человеческое лицо, над которым вспыхнул огонь.

Старушка, которая плелась впереди меня, на мгновение замерла, потом испуганно перекрестилась:

— С нами бог!..

Внезапно послышался пронзительный свисток.

Все мгновенно пропало.

И опять вечерний сумрак, мрачный закоулок Старого Города и темный фон костела на заднем плане...

Приблизительно через неделю я снова увидел такую же группу людей. Дело было днем, ярко светило солнце, и в его лучах рассеивалась всякая таинственность. И происходило это не в сумрачном закоулке Старого Города, а среди современных пражских многоквартирных домов, в одном из тех тихих островков, которые совершенно неожиданно создаются в самых оживленных кварталах города. Мимо с шипением скользили трамваи, гудели автомобили, торопливо шли пешеходы, а из группы любопытных, столпившихся среди всей этой уличной сутолоки, слышался слегка прерывающийся молодой голос:

— Я вам объясню, что такое надувательство. Но то, что я делаю, вовсе не надувательство, это тяжелая работа. Попробуйте сами, если угодно. Пока у меня был ангажемент, я называл номер «ужином дьявола». И в закрытом помещении он исполняется по-другому. Здесь ветер, и огонь может выжечь мне глаза. За язык я не боюсь. Итак, пожалуйста, никому не угодно? Тогда я поужинаю сам...

И молодой оратор стал совать себе в рот куски пылающего хлеба, и оттуда вылетали языки пламени, такие же, как я уже видел неделю назад. Тогда, в темноте, они показались мне таинственными! Теперь я увидел настоящую работу, да, просто тяжелую работу: от натуги лицо молодого человека налилось кровью, на висках вздулись жилы, на глазах выступили слезы.

— Ничего хорошего в этом нет. Но если бы я не глотал огня, я вообще бы ничего не глотал. Я — артист без ангажемента. Если кому-нибудь угодно оказать мне небольшую поддержку... Знаю, знаю, времена нынче неважные, но, возможно, все же что-нибудь найдется...

Он обошел с металлическим подносиком круг зрителей, звякнуло несколько монет в двадцать геллеров и, кажется,

даже одна крона — и он стал показывать свое искусство дальше.

— Извольте, прошу вас, проверить эти гвоздочки... Пожалуйста... Крепкие, да? Никак не складываются, самые обыкновенные, пятнадцатисантиметровые гвозди...

И он принялся засовывать их в ноздри и потом даже заталкивать, как в футляр.

— Сейчас я смеюсь, но мне немало пришлось поплакать, пока я научился. Отец, бывало, говорил, что оно так и должно быть, если человек хочет заработать себе на пропитание. Ну вот я и кормлюсь... Отец делал сальто, работал у Клудского, но однажды сальто не получилось,— конь подвел. Отец помер — и до больницы не довезли. Так я и остался один. Было мне тогда шестнадцать лет. Я делал, что умел. И продолжал учиться. Покажу вам сейчас... следующий номер нашей программы...

На солнце блеснул меч.

— Прикоснитесь, попрошу убедиться лично... Этот меч, шестидесяти сантиметров длиной, я засуну в горло.

...И этот номер был выполнен...

— ...И будь вы на моем месте, кончик меча вы почувствовали бы в самом желудке. Это, конечно, странная пища... И не слишком питательная... Чтобы как-нибудь насытиться, покажу вам следующий номер своей программы...

Из груды электрических лампочек, лежавших у его ног, он взял самую большую.

— В Чехословакии только я один глотаю стекло. Нас было двое. Но второй не так давно помер,— он тоже не мог найти ангажемента, перестал употреблять парафин, без которого этот номер нельзя выполнить, и стекло разодрало ему кишечник. Теперь я один...

И он разгрыз электрическую лампочку. Он жевал осколки и с аппетитом глотал их, как будто это было очень вкусное блюдо. Съел одну, взялся за другую...

— Вот мой обед. Есть перед выступлением нельзя, желудок должен быть совершенно пуст... и это мне теперь хорошо удается... Желудок пуст и перед выступлением и после него... Каждый день я съедаю шесть, а то и восемь лампочек, и мне этого достаточно. Но, возможно, кто-нибудь из присутствующих захотел бы все-таки поспособствовать мне пообедать и посытнее?..

С этими номерами я ездил за границу, и всегда с успехом... А сейчас... И с горящим языком, и с мечом в желудке, и с лампочкой в зубах я слежу, нет ли поблизости полицейского. В Старом Городе это мне чуть не стоило зрения. Здесь лучше. Здесь границы трех полицейских участков, поэтому сюда никто из начальства не заглядывает. Они любезно предоставляют это друг другу. Ведь и они, наверно, тоже люди, и им уже достаточно надоело...

Итак, может быть, кому-нибудь угодно мне помочь? Пожалуйста... сами видите, я исполняю все честь честью, без всяких трюков, без обмана... но я знаю... времена плохие...

И возможно, среди вас кое-кто мне даже завидует — у меня на обед есть хоть электрические лампочки...

Руде право, 9 августа 1936 г.,
под псевдонимом «Иозеф Павел»

БДИТЕЛЬНОСТЬ!

В тот день, когда в Испании вспыхнул заговор против народа, бывший испанский король Альфонс был уже на пути из своего словацкого убежища в западночешский курорт Кинжварт в замок Меттерниха. В замке, хозяйкой которого была графиня Меттерних, жена польского посла в Риме, вскоре собралась целая свора небезынтересных гостей. Среди них были также граф Мариано и графиня де Юно, которые две недели спустя попали в руки рабочей

милиции в Сан-Себастьяне как курьеры короля Альфонса, посланные из Кинжварта в Бургос. Для установления связей на будущее из Бургоса через Рим прилетели два испанских гранда — маркиз де Тена и Уррутиа, который, как это теперь выяснилось, является участником антиправительственного заговора в Бургосе. Летчик Жонес Кампбелл, который их привез, находится на службе у заговорщиков в качестве курьера и прилетел в Кинжварт за деньгами на фашистскую авиацию. Одновременно в замке графа Берхема, в десяти километрах от Кинжварта, появился дворянин Папен, дипломатический поверенный Гитлера. У испанского посла в Праге, который изменил Испанской республике и пошел на службу к фашистам, тоже было в замке Меттерниха свое доверенное лицо. Сам же он уехал на несколько дней в Марианские Лазни. Заключить из этого, что он встретился с Альфонсом и курьерами бургосского «правительства», совсем не трудно...

Все это чрезвычайно ясно свидетельствует о том, что в Кинжварте находилось заграничное гнездо испанских заговорщиков, откуда в Испанию посылались деньги и директивы для дальнейших действий. Однако власти Чехословакии не только не предали это гласности, но и сами ничего не предприняли, чтобы лишить реакционного Бурбона возможности чинить козни против демократической Испанской республики, чтобы разогнать контрреволюционную свору, которая из роскошного уюта западночешского курорта руководила убийством испанского народа.

Все сведения, которые мы приводим в своей газете, мы должны были собрать сами, всю грязную деятельность Альфонса и его банды мы должны были расследовать сами, и если нам удалось в конце концов разоблачить всю эту свору реакционеров, то это произошло лишь потому, что нам помогали трудящиеся Кинжварта, которые не закрывали глаза на события, происходившие вокруг, которые были бдительными.

Правительственные органы держали в своих руках летчика Жонеса Кампбелла — и он улетел от них... на смех всему миру. Когда представители властей явились с допросом к маркизу де Тену и «министру» Уррутиа, которые жили в Кинжварте целых три дня, то выяснилось, что оба вовремя исчезли за границу, захватив деньги для фашистских заговорщиков в Испании. Это, черт возьми, уж слишком большое «невезение»! Нам удалось заставить Альфонса покинуть Чехословакию, но ведь не государственные органы его выгнали. Альфонс бежал, бежал из страха перед возмущением и гневом народа, бежал потому, что был испуган решительными выступлениями трудящихся в Кинжварте и во всем районе.

Но остался здесь еще Гаспар Санц-и-Товар, всеми силами поддерживающий испанских фашистов и выплачивающий особый гонорар за фабрикуемые в Праге и распространяемые реакционной печатью в Чехословакии «достоверные известия из Испании», свод подлостей, направленных против испанского народа и его республики. Все еще существуют тайные связи испанской реакции с реакцией в Чехословакии, осталось еще немало помощников испанской контрреволюции. Что необходимо в борьбе с ними?

Бдительность всех трудящихся Чехословакии. Борьба испанских трудящихся, испанских демократов против фашизма является борьбой трудящихся, борьбой истинных демократов всего мира. И никто из них не должен допустить, чтобы международная реакция могла гнусно клеветать на испанский народ и тем более применять оружие.

Будьте всюду на страже! Бдительно следите за тем, чтобы из Чехословакии даже тайно ничего не было послано в помощь испанским фашистам! Действуйте так, как вам приказывает международная солидарность трудящихся, так, как вам хотелось бы, чтобы поступали трудящиеся Испании, если бы вы вынуждены были бороться против

буржуазной коалиции. Будьте бдительны! Мы все должны быть бдительны, чтобы уже не мог повториться такой позор, когда из Чехословакии посылались деньги и директивы испанским фашистам! Сделайте невозможной всякую деятельность контрреволюции, которая угрожает испанскому народу! Бдительность! Бдительность всех трудящихся Чехословакии в помощь испанскому народу!

Руде право, 14 августа 1936 г.,
за подписью «if»

УЧИТЕЛЯ

Окружной школьный комитет в Сланом разослал всем подчиненным ему школьным управам и директорам циркуляр:

«Из-за недостатка вакансий не представляется возможным обеспечить работой четырнадцать молодых учителей, которые были заняты в школах нашего округа в минувшем учебном году. В то же время в округе работает семьдесят шесть замужних учительниц. Многие из них материально хорошо обеспечены, некоторые даже очень хорошо, так что живут совсем прилично. А рядом с ними молодое учительское поколение влачит жалкое существование, не имея никакой надежды на кусок хлеба. Представляете ли вы себе весь ужас положения молодых учителей, чувствуете ли всю горечь их жизни и разочарование в тех, кто мог бы им помочь — и не помогает? Поймет ли одна из этих счастливиц, что неписаным, но свойственным сердцу каждого благородного человека законом является помощь ближнему?»

И далее в циркуляре говорилось об «эгоизме, новейшем яде, который разъедает общество», о «заветах правды, добра и красоты», об учителях как хранителях «вечно прекрасных и неизменных идеалов, за которыми идет человечество», «творцах национального самосознания и со-

вести» и как о «творцах национального и человеческого характера».

Но за всеми этими красивыми словами скрывается тот факт, что Сланский окружной школьный комитет намеревается решать вопрос обеспечения работой молодых учителей путем изгнания из школ замужних учительниц — лишь на том основании, что они замужем. Да разве это решение вопроса? Нам очень хорошо известно, в каком отчаянном положении находятся те молодые учителя, которые после длительной учебы оказываются выброшенными на улицу, без хлеба, без работы и без всякой надежды на нее в течение всего следующего года, а может быть, и многих лет. Мы хотим всеми силами способствовать тому, чтобы они могли учительствовать, а также получали за свою работу достойную плату. Но стремиться делать это так, как делает Гитлер, более чем возмутительно, даже если при этом апеллируют к «социальной совести» замужних учительниц. Может быть, в Чехословакии избыток школ? Нет, их слишком мало. Может быть, излишек учителей? Нет, и их мало, и ни для кого не секрет, как они перегружены. Может быть, чехословацкие дети не нуждаются в большом числе воспитателей? Нуждаются. Почему же их нет, если в одном только округе четырнадцать оказались лишними? Потому что на это нет денег. У кого нет денег?

Окружной школьный комитет обращается к замужним учительницам, получающим около тысячи крон (а большей частью и меньше), потому, дескать, что они живут в полном достатке. Обращалось ли какое-либо налоговое учреждение к господину Прейссу с предложением отказаться хотя бы от одного из пяти миллионов его месячного дохода? И знаете ли вы, что этим миллионом можно было бы оплатить труд не четырнадцати, а тысячи новых учителей, и каждый из них считал бы выпавшую на его долю тысячу крон сказочным жалованьем? Знаете ли вы, что господин

Прейсс, один только господин Прейсс, получает в месяц в семьдесят раз больше, чем все эти семьдесят шесть замужних учительниц, на социальную совесть которых пытается воздействовать окружной школьный комитет в Сланом?

И это считается в порядке вещей? Между тем учителя и школы в Чехословакии так перегружены, что невозможно сделать их положение хотя бы немного более сносным, не увеличив на одну треть количество классов и число учителей. Ведь есть учителя, у которых по шестьдесят учеников в классе, и им еще не предоставлена возможность вести параллельные группы. Каким после этого может быть воспитание школьной молодежи?!

Такое положение нельзя терпеть, а призывы к социальной совести учительниц изменить его не помогут. Не помогут и обращения к социальной совести Прейссов. Они должны платить, а так как они ничего не дадут добровольно, их нужно принудить к этому. У школьников Чехословакии должно быть достаточно школ, учителей!

Руде право, 3 сентября 1936 г.

СОЮЗНИКИ ТЕХ, КТО УБИВАЕТ ДЕТЕЙ

Прага, 11 ноября

Вчера мы опубликовали страшные документы, свидетельствующие о фашистских злодеяниях. Несколько фотографий из тех многочисленных снимков, которые нам прислал наш мадридский корреспондент: фотографии мадридских детей, убитых бомбами фашистских летчиков. Дети играли на стадионе, построенном правительством Народного фронта, в квартале, не имеющем никакого стратегического значения, как раз на том месте, которое еще трид-

цатого октября штаб мятежников объявил «неприкосновенной зоной». Бомбы сбросили с небольшой высоты, и вокруг не было ничего такого, что по военным соображениям следовало бомбить. Тем определеннее вырисовывается их намерение, тем яснее становится, что фашистские бомбы были специально сброшены на мирное население, на детей мадридских трудящихся для того, чтобы посеять ужас среди народа, открыто выступившего против фашизма.

В школьные классы, еще утром наполненные детским шумом и весельем, внесли шестьдесят один гроб с убитыми детьми. Сердца миллионов людей во всем мире, всех, кто еще колеблется, всех, кто еще раздумывает, должны устремиться к одной цели, проникнуться одним желанием — покарать убийц и не допустить, чтобы преступление повторилось.

Возьмите эти страшные документы, возьмите эти снимки убитых и искалеченных детей мадридских пролетариев и идите с ними от человека к человеку, идите с ними из дома в дом, чтобы людям не пришлось вскоре защищать свои города и деревни от фашистских убийц. Не говорите об этих снимках: «Это ужасно!» — но действуйте, действуйте немедленно, чтобы этот ужас не мог продолжаться в Испании и не мог повториться снова — прямо на ваших глазах.

Потому что у тех, кто убил в Мадриде играющих детей, есть союзники и в Праге и во всей Чехословакии. Враные, Каганки, Стоупалы, Стршибрные, Генлейны — это те, кто с самого начала фашистского мятежа в Испании действуют под знаменем убийц испанского народа и все с большим рвением призывают людей в ряды «национальных» бандитов, вооруженных Гитлером и Муссолини и проливающих кровь испанского народа. Взгляните хотя бы, как именно сегодня «Поледни лист» дюймовыми буквами радостно сообщает о том, что защитники Мадрида потеряли тридцать восемь тысяч убитых и в несколько раз больше раненых.

Гиены из «Поледни лист» разделяют радость Франко так бурно, что не замечают, как этим сообщением они опровергают свое собственное вранье о франкистской «народной» армии. Ведь только в Мадриде мертвых и раненых больше, чем воинов во всей армии испанских заговорщиков, а это, конечно, доказывает только то, что весь народ поднялся на борьбу против фашистов; если же он до сих пор не уничтожил их, то лишь потому, что ему приходится бороться не только против Франко и Молы, но также и против Гитлера и Муссолини, против объединенной международной реакции, а единственную фактическую помощь он пока получает лишь из далекой Советской страны.

А мы здесь, в Чехословакии, терпим такое положение, терпим, что и другие союзники Франко и Молы, что Враный и Стршибрный помогают убийцам испанского народа, мы разрешаем им ликовать по поводу преступлений испанских фашистов, мы до сих пор терпим, что они открыто проповедуют и готовят у нас такое же кровопролитие, какое организуют Гитлер и Муссолини с помощью Франко в Испании.

Именно тот самый «Поледни лист», который преподнес читателям фотомонтаж с «оскверненными мумиями» и распространял гитлеровскую пропаганду о «красных ужасах в Испании», теперь, глядя на эти страшные фотографии убитых детей, не преминет цинично заявить, что виновато мадридское правительство: дескать, оно должно было отступить перед требованиями фашизма. Но это циничное заявление нельзя расценивать только как одобрение убийства; это — признание, характеризующее его собственную программу: отступите перед нашей чудовищной наглостью, или мы в союзе с Гитлером и Муссолини будем и здесь творить все, что творит наш Франко в Испании.

Отступить? Мы не смеем отступить ни на шаг! Мы должны идти вперед, идти от дома к дому и пробуждать всех,

кто не хочет страдать под диктатурой фашизма, все то огромное большинство народа, которое не хочет влачить жалкое существование и умирать в колонии Третьей империи,— пробуждать для того, чтобы люди объединились и окончательно истребили у нас гнездо гитлеризма, всех помощников испанских убийц, уничтожили бы их вовремя, чтобы они не могли повергнуть народы Чехословакии в такой же ужас, в какой повергли испанский народ испанские Враные и Стршибрные.

Руде право, 12 ноября 1936 г, за подписью «if»

СОЛИДАРНОСТЬ ДЕТЕЙ

В жижковский барак почтальон принес «Руде право». На первой странице фотография. Фотография детей, игравших в предместье Мадрида (на мадридском Жижкове, так же как играют дети на Жижкове пражском) и в игру которых ворвалась бомба. Фашисты сбросили бомбы с самолета, посланного из Третьей империи.

Дети из жижковского барака, посмотрев в обезображенные лица своих маленьких незнакомых товарищей из Мадрида, притихли и перестали играть. А потом на почерневшей лестнице барака, там, где обыкновенно шарики обмениваются на веревочки и где кто-нибудь с видом знатока оценивает новый перочинный ножик, происходил совет, глубоко детский и мудрый, совет солидарности...

Через некоторое время они собрались снова. Из карманов и из сжатых кулаков высыпалось в кучу девять крон десять геллеров. А другую кучу образовали пара детских ботинок, две детские рубашки, семь детских шапок, трое брюк, один наколенник, трикотажные кальсоны, две пары чулок, два шерстяных свитера, детское пальтишко и шубка.

И после долгих размышлений к этим вещам, собранным для испанских детей, было присоединено письмо:

«Милые дети! Мы посылаем вам кое-какую одежду и обувь. Потому что мы знаем, что в холодные ночи вам холодно, раз ваши отцы должны бороться.

Надеемся, что вы выиграете!

Желаем вам, чтобы вы выиграли скорее!

Напишите!»

От имени детей жижковского барака подписали Йосеф М. и Антонин В.

Дети жижковского барака сделали то, что считали своим долгом.

А вы, взрослые?

А вы, демократы и республиканцы Чехословакии?

Руде право, 13 ноября 1936 г.

НОЖ В СПИНУ

Прага, 12 ноября

Двадцать четвертого июля 1936 года наш редактор интервьюировал депутата парламента от национально-социалистической партии профессора д-ра И. Б. Козака, как председателя чехословацкого комитета действия по установлению мира.

— Каким вы располагаете опытом работы с коммунистами в области движения за мир? — спросил он, между прочим, Козака.

Профессор ответил:

— Я требовал от коммунистов, чтобы они не пытались направлять в свое русло народные выступления в защиту мира. Они обещали и держат слово. Их сотрудничество вполне лояльно. И к тому же они очень энергичны.

Кто недооценивает значение их решимости содействовать усилению нашей обороноспособности — также и в международном отношении,— тот действительно близорук.

Люди, которые могут сейчас считаться авторитетными не впадают в эту ошибку. Я более всего опасаюсь, как бы от нас не отошли другие политические группы и, таким образом, коммунисты оказались бы в большинстве. Тогда трудно будет доказать, что эти группы по собственной инициативе отошли. Станут говорить, что это дело рук коммунистов. Я думаю, что *всеобщее и общегосударственное значение* народного движения в защиту мира будет признано тогда, когда люди увидят, что наши государственные сановники и выдающиеся деятели относятся к нему положительно.

За три месяца, прошедшие со времени разговора с профессором Козаком, отношение коммунистов к комитету мира нисколько не изменилось, оно продолжало оставаться столь же лояльным. И даже более того: сила комитетов действия по установлению мира возросла, возникло много новых местных комитетов; вся Чехословакия теперь охвачена мощным движением за мир. Именно теперь «всеобщее и общегосударственное значение народного движения в защиту мира» стало гораздо яснее, чем три месяца назад.

И именно теперь — как снег на голову — президиум национально-социалистической партии принимает решение о том, что *«членство в комитете действия по установлению мира несовместимо с членством в национально-социалистической партии»*. Член сената от национально-социалистической партии Пламинкова выступала на Староместской площади перед тысячной толпой друзей мира, перед теми, кто хочет сплоченно и организованно воспрепятствовать агрессии; на митинге, организованном комитетом действия по установлению мира, она призывала защищать мир как раз в то время, когда президиум нацио-

нально-социалистической партии вынес постановление о том, что и ей, как члену национально-социалистической партии, не подобает быть членом комитета мира. То, чего «более всего опасался» профессор Козак, сбылось: не Коммунистическая партия, а другая политическая организация отошла от движения за мир — и это был как раз президиум его собственной партии, который решился на раскол единого движения за мир и стремится принудить всех членов партии взять на себя общую ответственность за этот раскол.

В какой момент президиум идет на такую раскольническую акцию! На всех фронтах наступает реакция, ежедневно мы являемся свидетелями удивительной наглости реакционных провокаций в политике и культуре. Генлейновцы с оружием в руках доказывают, насколько они подготовлены и снаряжены для путча в пользу Третьей империи, Гитлер и Муссолини не скупятся на выступления, содержащие скрытую и откровенную угрозу малым странам, особенно Чехословакии. События в Испании яснее ясного показывают, как фашистские государства в Европе представляют себе ведение современной войны против демократических народов. Грозит война, необходимо всеми силами защищать мир. И в такой момент пан Франке в президиуме партии, в названии которой имеется слово «социалистическая», добивается раскола единой организации, борющейся за мир.

Ничего лучшего не мог бы пожелать себе ни один враг республики, ничего лучшего не мог бы придумать ни один поджигатель войны, ничего лучшего не мог бы хотеть Гитлер, выжидающий подходящего момента у границ Чехословакии. Разбить фронт мира, который встал против фронта войны,— разве не понятно, что это усиливает опасность возникновения войны, *что это нож в спину* тем, кто борется против войны, кто борется против опасности, нависшей над республикой.

А почему члены национально-социалистической партии не должны выступать за мир? Потому, отвечает им доктор Франке из президиума партии, что за мир выступают также и коммунисты. Это — поразительный «аргумент», который должен потрясти каждого хоть мало-мальски мыслящего человека. «Было бы *близорукостью,*— сказал доктор Козак три месяца тому назад,— недооценивать значения решимости коммунистов содействовать усилению нашей обороноспособности». Но то, что совершил президиум национально-социалистической партии, не только близорукость, не только слепота, это — *безумие!*

Лишь безумец может ослаблять фронт мира в республике, которая находится под угрозой нападения, только потому, что в него входят коммунисты. Лишь безумец способен предполагать, что можно без коммунистов защитить республику от гитлеровской агрессии. Быть может, президиум национально-социалистической партии прикажет своим членам покинуть и армию, так как сотрудничество с коммунистами несовместимо с членством в этой партии, а ведь в армии есть коммунисты, и даже *очень много коммунистов?*

Руде право, 13 ноября 1936 г.,
за подписью «if»

ПОХОД РЕАКЦИИ ПРОТИВ КУЛЬТУРЫ

Чешская реакция продолжает насаждать гитлеризм в культуре. Ежедневно встречаешь в газетах Враных и Стршибрных новые нападки на культуру и деятелей культуры, и всегда, чем бесстыднее нападение, тем оно невежественнее.

Но речь идет не только о газетной травле. Статьи эти не так умны, да и не так остроумны, чтобы сами по себе

могли представлять опасность. Дело именно в том, что они не существуют «сами по себе». Дело в том, что они были той артиллерийской подготовкой, вслед за которой предполагается главное наступление, и что сегодня они — искусственная завеса, под прикрытием которой уже проводится генеральное наступление. Они должны вызывать антикультурный психоз, чтобы гитлеризму в области культуры удалось захватить новые важные позиции. Это не только газетная кампания, которую мы могли бы, совершенно закрыв глаза на ее качества, назвать «дискуссией», а реакция власти, административное давление, использование государственных позиций для полной фашизации чешской культуры.

Когда, например, «Народни листы» пишут, что сейчас разрабатывается положение, согласно которому государственные премии будут распределяться таким образом, чтобы ими не награждались выразители и пропагандисты «большевизма в культуре» и эти «большевистские пропагандисты» уже никогда не смогли бы заседать в жюри, то это, очевидно, кажется нам смешным, ибо это пишет человек, для которого, по его собственному признанию, чешская литература кончается 1918 годом. Но это не смешно потому, что одновременно с этой газетной юмореской реакция, представленная аграрной партией и партиями Национального объединения, готовит проект нового положения, по которому государственные премии могли бы получать только Заградники-Бродские и авторы стишков на новогодних открытках. Так пусть хоть сдохнет литература, лишь бы стала фашистской!

Не случайно в нападках газеты «Народни листы» большевиками названы Лангер и Шальда и обвиняется в большевизме жюри, членами которого были деятели культуры различных политических взглядов, в том числе и католики, но как раз не коммунисты. Не приходится долго доказывать, что «борьба с большевизмом» здесь только предлог,

чтобы скрыть их истинную цель: борьбу против всякой подлинной нефашизированной культуры.

В газетах Враного, Каганка, Стоупала мы часто встречали нападки на радио, хотя не секрет, что именно группа этих господ владеет радиовещанием. Мы могли бы эти газетные атаки принять за комедию, если б не знали, что все эти статьи писались для того, чтобы скрыть внутреннее официально одобренное наступление, целью которого является полный захват радиовещания. Работники радио — деятели искусства — не являются реакционерами, как его владельцы. Реакционеры не могут заменить их собственными равноценными в художественном отношении силами, потому что вообще нет и не может быть полноценных реакционных художественных сил. Выгнать Ирака и поставить на его место Каганка — это вызвало бы слишком много шума. А вот изолировать работников культуры на радио и в изоляции сломить их административным давлением — это как раз то, чего сейчас добивается реакция.

Поэтому реакция использует каждый удобный случай. По радио в сообщении о советском вечере было прочитано стихотворение советского поэта Светлова «Гренада». И внутренняя реакция на радио уже идет в наступление — распространяет слух, будто это было стихотворение во славу мадридского правительства. Мы могли бы с возмущением сказать, что вовсе не грех проявлять свои симпатии к легальному правительству дружеской демократической республики. Могли бы также уличить реакцию в скандальном невежестве, так как «Гренада» Светлова была написана десять лет назад и поэтому не может иметь прямого отношения к нынешним испанским событиям. Но к чему задерживаться на подобных доказательствах. Реакции нет дела до этого произведения, ей важно нападать и запугивать и каждой выигранной уступкой усиливать свое наступление до тех пор, пока радио и работающие на нем

деятели искусств не войдут окончательно в нужную «колею».

Так же поступает реакция и с радиовещанием для рабочих. Мы все знаем, насколько убоги, как возмутительно подстрижены все передачи для рабочих. Но реакция усиливает и здесь цензуру, ибо ее целью является полная отмена, полное изъятие рабочего вещания из программы радио.

Это делается в Праге и у всех на глазах. В провинции, конечно, реакция позволяет себе гораздо больше. Теперь уже известно много примеров, свидетельствующих о том, что из органов просвещения вытесняются все прогрессивные работники культуры. Не случайно, что все чаще и чаще поступают сведения о подобных случаях. Это проводится план д-ра Каганка, который хочет быть не только компаньоном, но и соратником: выполнять те же функции, что и Геббельс. План, по которому за год должны быть вытеснены из просветительных учреждений все социалисты и люди, «имеющие склонность к излишней прогрессивности».

Обратите внимание на деятельность министра Махника, который приказал из воинских библиотек изъять книги всех прогрессивных авторов, [а в воинских казармах постепенно запрещает и все газеты, кроме таких органов, как «Венков», «Поледни лист» и «Народни листы»], и вы увидите другой пример сосредоточенного правительственного наступления реакции на культурном фронте.

Подобное же наступление было начато и на Национальный театр. Но оно было остановлено. Было остановлено большим совместным выступлением чешских и немецких работников театра. Этой организованности, этого единства реакция испугалась. Она не отваживается идти в наступление, когда ей противостоит сила всех подлинных деятелей театра.

Поэтому-то ночь на пятницу в Свободном театре, когда артисты энергично откликнулись на события, стала памят-

ной ночью. Артисты в ту ночь остановили наступление реакции на своем участке, и реакция должна была довольствоваться только артиллерийской подготовкой на страницах газет.

На время. Так как и для театра угроза не совсем исчезла и не исчезнет совсем, пока реакция сможет наступать на культуру на всех остальных фронтах и пока перед ней будут отступать. Есть тысячи деятелей культуры, художников, писателей, работников кино, а решать вопрос об их судьбе и их творчестве хотят несколько предпринимателей, стремящихся к монополии и потому уничтожающих ту культуру, которая им не хочет и не может служить. Эти тысячи деятелей культуры не имеют права молчать. Они обязаны откликнуться — откликнуться так, как это делали артисты; и если они выступят все вместе, то их голоса зазвучат намного сильнее.

Хватит отступать и выражать свое возмущение, стоя в сторонке. Если так будет продолжаться и впредь, то скоро мы не отличим чешскую культуру от «культуры» Третьей империи.

Руде право, 18 ноября 1936 г.

ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

Снег падал густыми хлопьями, но снегоочистители быстро убирали его с мостовых.

Тонда условился встретиться с Мартой в Новом Национальном театре. Там сегодня уже в семидесятый раз давали пьесу «Шаги времени». Он давно закончил работу. Было семь минут седьмого, когда он, наскоро умывшись, вышел за ворота своего Карлинского тракторного завода.

Времени оставалось в обрез, а ему нужно было еще забежать домой, чтобы побриться и надеть выходной костюм. И вся эта спешка только из-за того, что по оплошности он забыл заранее позаботиться о билетах. Теперь Тонда боялся, что все места в театре будут распроданы. Он торопливо направился к станции метро. Вскоре подошел поезд «Б», который доставил его в Дейвицы. Тонда жил в Подбабе, в одном из тех больших многоэтажных зданий, окна которых светятся на головокружительной высоте. Он вошел в лифт и нажал кнопку шестнадцатого этажа.

Не будь этой истории с билетами, можно бы вполне успеть спокойно переодеться. И как это он о них забыл! Впрочем, разве нет у него других забот? Например, вопрос о заводском кинотеатре. С тех пор как завком принял решение его строить, у Тонды по три совещания на неделе: одно с профсоюзной организацией, другое — с культкомиссией, третье — с архитекторами. «Смотри, Тонда, не подкачай. Дело идет о нашей чести»,— говорили ему товарищи.

В метро Тонда встретил своего старого приятеля Пепика. Когда тот заметил Тонду, его круглое лицо просияло. Они крепко пожали друг другу руки. Пепик работал литейщиком на заводе, ранее принадлежавшем Рингоферу. Он был там председателем заводского авиакружка, летал как бог и уже завоевал несколько рекордов.

— Знаешь, какая у меня новость? — начал разговор Пепик.— На следующей неделе наш заводской комитет покупает еще один самолет. Первоклассный биплан! Четыреста пятьдесят лошадиных сил! У нас их будет теперь три. Мечта, а не машина!

— Держу пари, что ты летишь на ней первый! — заметил Тонда.

— Попал в самую точку!

— Смотри только не сверни себе шею, отчаянная ты голова! А у меня тоже есть кое-что новое. Мы только

что утвердили план строительства заводского кинотеатра «Энгельс». Весною приступим к делу. Приходи. Увидишь, какой у нас зал будет! Ну, вот я и приехал. Будь здоров!

Он быстро взбежал по выходной лестнице и устремился к Новому Национальному театру. У кассы уже было много народу. Тонда встал в очередь и нетерпеливо переступал с ноги на ногу.

«Молодец Пепик,— думал он.— Но все-таки... мое кино поинтереснее, чем его двухмоторный самолет.

Правда, когда мы окончим строительство, начнутся новые заботы: о фильмах. Обеспечить хороший кинорепертуар не так-то просто! Нужно будет добиться правильного соотношения между веселыми и серьезными фильмами... Впрочем, что касается самолета, то и до него дойдет очередь. Тогда же придется подумать и о новом аэродроме для Карлинского тракторного. А за счет территории нынешнего можно будет расширить заводские стадионы. Они и так уже не вмещают болельщиков. Ведь трибуны рассчитаны всего на сто двадцать тысяч зрителей.

Да, немало еще будет у нас забот!

Забот?! Но разве это настоящие заботы! Так их можно назвать только ради смеха.— И Антонин задумался над радостями и печалями, которые занимали его еще так недавно.— Да, о другом приходилось думать в тридцать шестом году, когда Европе угрожал Гитлер.

Тогда мало кто мог смеяться по-настоящему.

И вспоминать-то не хочется об этом проклятом времени. Солоно тогда приходилось нашему брату рабочему. Считалось счастьем, если ты, как каторжный, гнул спину на хозяина. Стоило же потерять это «счастье», и тебя вообще переставали считать человеком! Ты становился простой цифрой в статистике безработных...

Где же это, кстати, со мной случилось?

В той грязной каморке на Злихове?

Нет, это было до того. В тридцать шестом пришлось перебраться в пещеры у Иноииц, совсем как зверю...»

— Вам какой билет, товарищ?

— Что?

— Какой вам нужен билет?..

Слова кассирши вернули Тонду к действительности. Какие ему нужны билеты?

— Дайте, пожалуйста, два места на балкон! — обрадовался он. Повезло — в кассе еще оставались билеты.

Антонин вышел на улицу и стал ждать Марту. В газетном киоске он купил «Вечернюю Прагу» и бегло просмотрел заголовки:

«В Словакии, близ города Брезен, введен в эксплуатацию гигантский бумажный комбинат «Красный колосс».

«Проект 1000 новых домов в городе Забеглицы одобрен!»

«Сталелитейные заводы в Кладно выполнили производственный план на 158 %».

«Мост через Нусельское ущелье вступил в строй».

«Двадцать тысяч заводских библиотек».

Тонда подумал, что библиотек, пожалуй, еще недостаточно, точно так же, как и семнадцати новых театров для Праги, но тут пришла Марта...

...Спектакль начался.

Героем пьесы был врач, стремившийся найти путь к продлению человеческой жизни. Эта проблема глубоко волновала всех зрителей. И Антонин и Марта с напряженным вниманием следили за тем, что происходило на сцене, ибо это и для них было так важно.

«Жить — как это прекрасно! — думали они.— Кому же теперь хватает обычного срока жизни?»

И тут Тонда опять вспомнил о тридцать шестом годе, о той зиме, когда он не раз думал: «А стоит ли вообще жить?» Он поделился своими мыслями с Мартой. Стал говорить о той, прежней жизни, и о новом и прекрасном на-

стоящем, и о будущем, которое наверняка окажется еще в тысячу раз прекрасней.

— Мне хотелось бы дожить до того времени, когда все, о чем мы сейчас только мечтаем, станет действительностью,— сказал Тонда.— Тогда уже будут новые люди, с вечно молодыми сердцами. А в нас еще слишком много от старого мира.

— Нет,— возразила Марта,— не говори так, Тоник! Я от души желаю, чтобы у людей, которые будут жить после нас, были такие же сердца, как наши. Мы жили в мрачное время. Весь мир был охвачен ужасом. А мы, Тонда, мы не боялись. И чем тяжелее была жизнь, тем мы были тверже... Мы были мужественны, Тонда, потому что мы знали, что победим, хотя и не всегда могли себе представить, каким станет мир, когда эта победа придет...

Они возвращались домой пешком по широким асфальтированным улицам. В декабрьском воздухе веяло молодой, богатой жизнью, которая бурлила в каждом квартале Праги.

После долгого молчания Тонда сказал:

— Да, ты, конечно, права, Марта.

И через минуту добавил:

— Помнится,— это было еще в тридцать шестом, как раз под рождество,— один мой товарищ принес в пещеру коммунистическую газету. Был в ней рассказ, я хорошо его помню, назывался он «Оптимистический рассказ». Начинался он, казалось бы, совсем обычно: «Снег падал густыми хлопьями...» А дальше в нем говорилось о прекрасном воскресном дне, который ждет нас в будущем, в самом недалеком будущем.

Антонин улыбнулся:

— А я, чудак, подумал тогда, что все это только фантазия...

Печ. по кн.: Юлиус Фучик. Избранное. М., 1956, с. 398—401

О ШЕСТИ МАЛЬЧИКАХ

С высоты это была лишь небольшая цель. Маленькая ямка, а около нее полдюжины эльгетских мальчиков, играющих разноцветной фасолью. Ведь во время войны, возможно, и замолкают музы, но не прекращаются детские игры.

Господин Юнкерс целился прилежно.

Бомба упала точно в центр кружка детей. Из дома выбежали люди с воспаленными, запавшими глазами — и глаза запали еще глубже. Люди собрали разорванные тела мальчиков. Уложили их в школе, из которой всего минуту назад они выбежали, живые и озорные.

Пришел официальный фотограф и неловко, потому что руки его тряслись от ужаса и не повиновались, запечатлел на пленке потрясающий документ.

За три дня долетел документ до Парижа, до Лондона, до Праги. Газеты опубликовали его на первых страницах, и люди смотрели на него такими же глазами, что и те, из Эльгеты.

Была весна.

Одинокое деревцо цвело за оградой угольного склада — маяк в море дыма смиховской окраины, указывающий путь к ямке, самому удобному месту для игр. Изо всех уголков Праги именно это место более всего полюбилось шести мальчикам, которые бродили по запыленным улицам и предавались своим шалостям с таким же увлечением, с каким поэт пишет стихи.

Здесь был угол, в который никогда не заглядывал учитель. Здесь глиняный тротуар был разбит носильщиками и сравнялся с землей, по которой шарики катались без малейшей помехи. Здесь, наконец, из-под ограды торчал пучок травы — и это была природа, напоминающая джунгли, пахнущая всеми запахами далеких краев, в которые плавал легендарный капитан Коркоран. Здесь мож-

но было играть в войну, мечтать и в страшном азарте выиграть или проиграть разноцветный стеклянный шарик.

Но в тот день, о котором мы рассказываем, шесть мальчиков пришли на угольный склад не для того, чтобы сражаться, мечтать или играть. Они даже не посмотрели на заботливо вырытую ямку, которая их ожидала. Они сели на край тротуара, спиной к траве, и склонили головы.

Франтик открыл тетрадь, потом аккуратно разложил и разгладил газетный лист, как это делал и его отец.

Со страницы газеты на них смотрело детское лицо со срезанным бомбой черепом.

Мальчик из Эльгеты.

Франтик читал не по-детски тихим голосом.

Читал сообщение о бомбардировке Эльгеты, о варварстве фашизма. Воззвание к протесту и к активной солидарности. Дети понимали не все слова, которые Франта с напряжением читал по складам, но страшный смысл сообщения был им ясен. Мальчики из Эльгеты — это были, собственно, они сами. Так же как и они, те ходили прямо из школы к ограде угольного склада играть в шарики, и именно там, у эльгетской ограды, настигла их смерть.

В волнении все вскочили и подняли головы. Весенние облака стремительно спешили по небу. Но врага там не было. Мальчики щурили глаза, чтобы все-таки его разглядеть. У него, как у дракона, должно быть, было много лиц, жирных и противных, сливавшихся друг с другом. Увидеть его так и не смогли. Это был невидимый страшный враг, который убил мальчиков из Эльгеты. И эльгетские мальчики просили о помощи против него.

Они помогут?

Конечно.

Сомнений здесь не было. Дети это решили еще раньше, чем Франтик дочитал.

— Мой брат,— сказал Руда деловито,— уехал в Испанию... Доброволец...

— Это здорово,— решили мальчики. Но как же помочь еще?

— Мы не умеем стрелять,— заколебался Франта.

Об этом, конечно, стоило подумать. Научатся, конечно, но это только будет, а помощь нельзя откладывать. Сейчас, настойчиво кричала газета, помочь нужно сейчас же.

Но как?

Беспомощно смотрели дети в газету. Должны же там об этом сказать. И ведь было, на самом деле было сказано.

Франтик радостно показал на один из столбцов: «Сбор средств в помощь испанскому народу».

Пять, десять, пятьдесят, сто крон стекались с разных сторон в фонд помощи...

На край тротуара стекались финансы из шести карманов, но не набралось даже полкроны.

— Мало...

Посмотрели снова в газету. Нет, никто так мало не давал. Это была не помощь.

— Я принесу завтра...

— Поздно...

Кто знает, что случится до завтра, сколько мальчиков из Эльгеты еще поплатятся своей жизнью за их медлительность? Эх, завтра! А сегодня?

Грустно блуждали их глаза по окрестности. Ах, если бы где-нибудь лежала банкнота, ведь бывает же так. Идет человек и потеряет деньги. Это очень просто, сколько таких случаев...

Но на улице деньги не валялись.

Шесть детских головок усиленно размышляли. Мечты переплетались с действительностью, разжигая стремление помочь.

И тут вскочил Антонин.

— Есть,— сказал и вдруг заколебался,— у меня есть нож.

С этого началось.

— С ножом ты ничего не сделаешь.

Это звучало почти как богохульство. Нож Антонина был его кладом, которому завидовали все мальчики, «рыцарский меч», на котором все они присягали.

— Ничего не могу? А продать его?

Пять пар глаз уставилось на Антонина с недоверием. Расстаться с перочинным ножом, всем его богатством?

Богатством?

И тут наконец дети все поняли. Франтик торжественно встал, и все встали. Франтик пожал Антонину руку с чувством, которое могут выказать всегда только мальчики и, в минуту опасности, мужчины.

А потом он молча положил на землю рядом с ножом Антонина согнутую жестяную коробку из-под гуталина, которая была поочередно жилищем жуков, поездом или пароходом у берега Влтавы. Коробка была не такой редкой вещью, как нож Антонина, но в ней была часть жизненной истории Франты.

Руда на прощание сжал в руке тринадцать цветных шариков, и, когда Йозеф положил рядом с ножом и коробкой свой свисток, он застыдился и прибавил к ним еще четырнадцатый шарик, оловянный, с которым он всегда выигрывал.

Шесть карманов опустошились. На тротуаре теперь лежало самое драгоценное имущество шести мальчиков: нож, коробочка, свисток, шарики, веревочка, чижик, потрепанный, затасканный кошелек из бумаги, теперь выглядевший уже как кожаный, праща, гайка, фотография центра нападения Планички, на которой неумелой рукой был подделан его автограф, и другие удивительные вещи, о которых даже не знаешь, зачем они нужны, и названия которых забываешь сразу же, как перестаешь быть мальчишкой. Шесть мальчиков еще раз взглянули на это богатство. А потом торжественно доверили Франте и Антонину осуществить продажу.

За рекой, на правом берегу Влтавы, находится Старый Город, и в его кривых переулочках найдешь затерявшиеся лавочки ветошников, еще не вытесненные ломбардами. Туда несут бедные люди свою нищету и утешаются тем, что, превратившись в несколько мелких монет, она становится меньше.

Туда по невидимым следам своих родителей отправились и шесть мальчиков. Люди равнодушным потоком проходили мимо них и не догадывались, что встречают торжественную процессию (кто знает, наверное, многие бы из них сняли шапки).

Впереди шли Франта с Антонином и твердыми руками придерживали карманы со своим богатством.

В десяти шагах, не спуская с них глаз, как почетный караул и охрана одновременно, шли четверо остальных.

Почетный караул из четырех мальчиков стал у входа в лавочку старого ветошника. Франта и Антонин прошли мимо затасканных фраков и старых рабочих костюмов с дрожью, которую во что бы то ни стало хотели сдержать, потому что чувствовали на себе взгляды своих товарищей.

Старый Исаак стоял за прилавком.

Молча дети выложили перед ним коробочку, свисток, веревочку, шарики и, наконец, нож Антонина. Потом уставились ему в лицо не испуганным взглядом, каким обычно смотрели их матери, и не с нарочитым и бесполезным вызовом, как это делали их отцы, а торжественно.

Старик вопросительно оглядел ветошь и злобно проворчал:

— Чего вы хотите?

Он был заметно удивлен. На самом деле, сразу уж слишком много никому не нужного барахла.

— Чего вы хотите? — пробурчал он снова.— Марш отсюда, хулиганы!

Ему казалось, что мальчики смеются над ним.

Франта не смог молча сохранять торжественность.

— Это все,— сказал он,— продаем...

Старый Исаак знал людей. По голосу он понимал, кто просит, кто тонет, кто пришел впервые, кто вторично, а кто уже никогда не придет, если ему отказать, потому что скорей умрет от голода, чем снова предложит свой поношенный пиджак. Голос Франтика звучал иначе. Такого тона он еще никогда не слышал. И не будь он так стар, это бы его раздражало. Теперь же это было только любопытно и смешно. Что только эти ребята не сделают, чтобы получить на сигареты...

— Это не на сигареты,— сказал Франта обиженно.

— Ага, на кино.

— И не на кино,— мучительно отнекивался Франта, чувствуя непонимание.— На Испанию это...— вымолвил наконец.

И стало тихо.

Вся долгая жизнь припомнилась старику. А Франта проклинал себя, боялся даже взглянуть на Антонина. Зачем только он сказал это старому еврею? Что ему до этого? Позовет полицию. Пропадут вещи, и они не смогут помочь мальчикам из Эльгеты. Осторожно он протянул руку к прилавку, чтобы спасти, что удастся...

— Оставь! — сказал старик строго.

Он взял старую железную коробку Франты и долго ее разглядывал. Глаза двух делегатов налились слезами.

— М-да...— пробурчал Исаак,— коробочка неплохая, но больше двух крон за нее не дам...

— А это...— взял в руки нож Антонина,— прекрасная работа... Так... Для Испании, говорите... Гм... очень хорошая работа... Пять крон, думаю...

Делегаты затаили дыхание и мечтали о победе, которую принесет их помощь там, в Эльгете... Столько, столько денег!

Старик оценивал справедливо, штуку за штукой, веревочку, свисток, чижика, шарики.

А потом в мелких монетах, чтобы было побольше, он высыпал на прилавок двадцать крон...

Руде право, 1 мая 1937 г.

ЕДИНСТВО ПРОТИВ ТЕХ, КТО ГУБИТ СТРАНУ

Корейские народные сказители рассказывают такую повесть.

Пришел бедняк к богачу и говорит:

— Смотри, как я голоден. Я, и моя жена, и мои дети — мы голодаем. Мы работаем на тебя, и все, что сделаем, принадлежит тебе. У тебя всего вдоволь, ты обладаешь во много раз большим, чем тебе нужно. А мы голодаем. Дай нам мешок рису.

— Дам,— ответил богач,— если ты угадаешь, какой у меня глаз стеклянный.

— Левый,— сказал бедняк не задумываясь.

Богач удивился, что бедняк так быстро и правильно угадал, и спросил его, как он это узнал.

Тогда бедняк ответил:

— Твой стеклянный глаз глядит на меня так сочувственно, так дружелюбно, так по-человечески.

Об этой старой повести корейского народа наверняка вспомнит каждый, кто ее знает, когда прочтет, что пишет реакционная чешская пресса о забастовке пражских строителей. «Венков», «Вечер», «Поледни лист» и «Народ» — все эти реакционные чешские газеты, поспешно устремив свои лживые взгляды на строителей, смотрят с поразительным единодушным сочувствием: «Ах-ах, какой

убыток! Эти несчастные люди потеряли на забастовке уже миллион крон из своей заработной платы. Кто им это возместит? Сколько беспокойства! И как от этого страдает престиж нашего государства!»

Но мудрость корейского бедняка — не только его мудрость. Он хорошо знает, что участие и человечность лишь тогда появляются в глазах богача, если эти глаза фальшивы, если они стеклянные. Однако это хорошо знают и пражские строители, это так же хорошо знают и все трудящиеся Чехословакии: они прекрасно видят, что рядом со стеклянными, фальшивыми глазами со страниц реакционных газет на них смотрят глаза настоящие, глаза капиталистических хищников, такие же ненавидящие и жадные, как их руки — руки грабителей.

Сегодня они «сочувственно» пишут о миллионе, который рабочие-строители потеряли на забастовке. Но ведь эти рабочие-строители именно реакционными господами были ограблены во время кризиса на сотни миллионов в результате снижения зарплаты, повышения норм выработки и вздорожания предметов первой необходимости. Сегодня господа «сочувствуют» рабочим,— но не пройдет и дня, как именно они, именно эти реакционные господа, усилением эксплуатации и провокационным поднятием цен доведут народ до того, что терпение его лопнет. Сегодня с беспримерной наглостью говорят в своих газетах «о подрыве государственного престижа» как раз те господа, которые не выступили против правительства, желая, чтобы они, и никто иной кроме них, положили себе в карман новые сотни миллионов от вздорожания хлеба и муки.

Само собой разумеется, они не могут сделать себе оба глаза стеклянными, и поэтому рядом с демагогическим «сочувствием» ясно видно их стремление сорвать борьбу за повышение заработной платы, сорвать при помощи тех же мер, какие применяет Гитлер в Третьей империи. Их

задача в том, чтобы постепенно повышать цены, и они будут их повышать, потому что объединенный фронт крупных фабрикантов и крупных землевладельцев-эксплуататоров прекрасно знает, что здесь речь идет об очень многом.

Экономическая ситуация улучшилась. Наступила конъюнктура. Промышленный индекс показывает, что в целом уже достигнут предкризисный уровень 1929 года. Для господ капиталистов теперь создана отличная конъюнктура. Но *заработная плата рабочих и служащих осталась на уровне кризиса,* осталась на том же уровне, на каком настояли работодатели, сославшись на кризис. Согласно очень скромным официальным подсчетам, чехословацкий рабочий класс во время кризиса *ежегодно терял примерно 5 миллиардов.* Однако прибыль капиталистов не падала. А начиная с 1932 года, когда кризис особенно усилился, мы видим, наоборот, прямо-таки небывалый рост капиталистической прибыли. Крупные капиталисты, обкрадывающие рабочих, разумеется, с не меньшим усердием грабят и государственную казну, и, конечно, в их отчетах о налогах и в их балансах мы найдем лишь намек на то, что они зарабатывали в действительности. Но, сравнив баланс двадцати двух самых важных предприятий угольной, металлургической и химической промышленности в 1935 году с балансом тех же заводов в 1936 году, мы все-таки установим, что за один год их чистая прибыль возросла *на 81 процент,* прописью: восемьдесят один процент! Акции девяти крупнейших металлургических заводов Чехословакии в 1932 году равнялись 415 миллионам крон, а в 1936 году — уже 2 миллиардам 183 миллионам крон. За четыре года акции короля металлургии на девяти заводах возросли почти *в пять раз!*

За все время существования республики крупные капиталисты не имели такой прибыли, как сегодня. Но зато заработная плата рабочих и служащих во время кризиса

упала на 20—30 процентов, а во многих отраслях еще больше. Но не только падала заработная плата; за это время так безмерно возросла дороговизна, что зарплаты уже не стало хватать и на голодное существование. Даже официальная статистика свидетельствует, что зарплата рабочего в Чехословакии составляет в среднем 16 крон 94 геллера в день. А ведь для рабочей семьи в четыре человека только на самую необходимую еду — без квартплаты, без одежды, без обуви и т. д.— и то в неделю нужно 124 кроны 15 геллеров. Если рабочий теперь занят шесть полных дней в неделю, он зарабатывает 101 крону 64 геллера, то есть на 23 кроны меньше, чем ему нужно для своей семьи на самую необходимую пищу.

Шестнадцать крон дневного заработка — это только средняя цифра. Та же *официальная* статистика показывает, что в Чехословакии насчитывается 740 тысяч рабочих, зарабатывающих ежедневно меньше половины этой средней суммы, то есть меньше восьми крон ежедневно, а четверть миллиона рабочих получает лишь четыре кроны в день. Вот в чем корень, вот где причина того, почему приходят в ужас врачи, отмечающие, что истощение детей беспрерывно усиливается. Вот причина того, почему офицеры чехословацкой армии вынуждены заявлять, что солдаты запаса, являющиеся на учения, не способны ни на какое физическое напряжение, требуемое от них. Вот причина общего упадка жизненного уровня, причина начинающегося вымирания Чехословакии. Нет, это не простое вымирание, *это убийство Чехословакии,* которое крупные капиталисты, союзники Гитлера, совершают планомерно и сознательно.

И вот являются рабочие и требуют повышения заработной платы всего лишь на 10 процентов — это только часть того, что украдено у них во время кризиса. Сами предприниматели понимают, что это требование более чем справедливо, что невозможно его не выполнить. Но

Союз промышленников, объединяющий корыстолюбивых монополистических пиявок, объявляет его несправедливым, даже незаконным. Господа, которые *за десять минут зарабатывают больше, чем рабочий за целый год тяжелого труда,* эти господа постоянно отвергают справедливые требования строителей, так же как и справедливые требования перчаточников. Целых шесть месяцев, даже больше, они вообще отказывались вести переговоры, и лишь сплоченная сила бастующих строителей вынуждает их приступить к ним. Господам не избежать поражения, когда рабочая сила перейдет в атаку.

И это как раз то, что страшит господ. Так же как полгода назад в ящиках их секретарей валялись требования строителей, валяются там теперь требования металлургов, химиков, требования рабочих всевозможных профессий... Но у рабочих Чехословакии уже иссякло терпение вежливо ждать, пока господа соблаговолят окончательно отбросить их требования.

Наглые капиталистические корыстолюбцы не уступят добровольно своих прибылей и не хотят их уступать. Они вызвали забастовку строителей и своими действиями провоцируют еще более ожесточенную борьбу, на которую поднимаются рабочие других специальностей. Что нужно им показать? Силу. Огромную, непобедимую, решительную силу рабочего класса, которая принудит их к отступлению.

Но это не значит, что всегда надо прибегать только к забастовке.

Забастовка — тяжелая борьба, в которой рабочий ради победы должен идти на большие жертвы. А мы хотим, чтобы рабочие одержали верх над корыстолюбием капиталистов с наименьшими жертвами. И именно поэтому мы используем все средства и постоянно трудимся ради идеи, за которую стоит огромное большинство чехословацкого пролетариата,— идеи единства рабочих профсою-

зов, всех сил пролетариата против капиталистических провокаторов, разлагающих единство.

Единство, единство, единство! — вот сила, против которой не устоит никакая капиталистическая крепость.

Руде право, 6 августа 1937 г, за подписью «jf»

ВОСПИТАНИЕ ТРУСОСТИ

В редакции зазвонил телефон. Я снял трубку.

— Господин редактор, прошу вас, назовите мне какое-нибудь укромное место, где мы могли бы встретиться. Я должен поговорить с вами!

Голос был взволнованный и боязливый.

Мы встретились. Это был преподаватель средней школы одного чешского городка. Он рассказал следующее:

— Преподавать в такое время нелегкое дело. Но сейчас начинается что-то уж совсем несуразное. Представьте себе. Я преподаю чешский язык и литературу, проходили мы с учениками драматические произведения Коллара. На эту тему было задано сочинение. Класс у меня хороший, мальчики все разумные, передовых взглядов. Все указывали именно на наиболее прогрессивные стороны деятельности автора, и, вспоминая его «Пражского еврея», многие говорили также об антисемитизме как о варварстве. Некоторые к тому же цитировали Масарика.

...Через две недели директор школы пригласил меня к себе для личного объяснения. Он тщательно запер за мной дверь кабинета и серьезно начал: «Коллега, вы ведете себя очень и очень неосторожно. В нынешние времена такие задания, коллега, давать нельзя. Вы сами

хорошо знаете, что я не терплю антисемитизма и уважаю прогрессивные взгляды. Но напрасно вы их подчеркиваете и даже внушаете ученикам в классе. Я считаю это при теперешней тяжелой ситуации несовместимым с обязанностями воспитателя. Вы не имеете права забывать, что у нас есть сосед, который сделал антисемитизм одним из законов своего государства и который может почувствовать себя обиженным, если мы станем, выполняя обязанности воспитателей, допускать действия, которые могут быть истолкованы как нападки на господствующие взгляды соседнего государства. Поэтому прошу вас впредь быть осторожнее».

Директор сказал это весьма официальным тоном, а затем полушутя добавил: «Конечно, коллега, я пока этого в протокол не заношу. Но если господин инспектор остановит на этом свое внимание, засвидетельствуйте ему, что я вас предостерег».

Этот преподаватель из маленького городка рассказал и другие вещи, характеризующие положение в средней школе, где он преподает, и, признаюсь, улыбка, с которой я слушал его вначале, застыла на моем лице. Рассказанное им было совсем не смешно. Преподаватель подтвердил, что директор его школы вообще-то вовсе не фашист, что он демократ, еще недавно был даже членом социалистической партии, и его поведение непосредственно присущими ему взглядами не объясняется, но свидетельствует о том, что из него воспитали труса. Политика приспособленчества, которую нам рекомендуют разные господа соглашатели, воспитала этого человека, и на своем маленьком посту директора школы он только доказал, куда ведет эта политика. Ведь с такими страхами и «оглядкой на соседа» можно вырастить только молодежь с уродливым характером, бесхребетную, неспособную к принципиальным решениям и к сопротивлению злу; с такими страхами и «оглядкой» даже весь народ может кончить только

как уродливый недоносок, отданный на милость фашистскому врагу.

К счастью, на рабочих это капитулянтское воспитание не имеет влияния, даже наоборот, оно пробуждает протест. Но, как видно на примере директора средней школы, оно действует на мелкобуржуазную интеллигенцию, и действует катастрофически. Пусть же рабочие с заводов поскорее выступят на помощь тем, кто пока еще колеблется. Безумная политика капитуляции, разлагающая демократов и воспитывающая в них бесстыдную трусость, должна быть ликвидирована.

Творба № 5, 4 февраля 1938 г.
за подписью «jf»

ЧЕШСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В БОРЬБЕ ЗА СВОБОДУ

Через всю историю чешского государства — государства малой нации проходит, благодаря его географическому расположению в центре Европы, единая красная нить: борьба за национальную свободу и ее защита. Для восточных монгольских племен Чехия была ключом к Западу, для западных государств — ключом к Востоку. Чехия была и осталась перекрестком Европы, за который никогда не прекращалась война. Но на этом перекрестке жили и живут люди, которые принадлежат не тому или другому победителю, а самим себе, люди, которые боролись и за свою политическую свободу, и за свободу своей культуры.

Следовательно, легко понять, почему в Чехии шире и глубже, чем где-либо, распространилась мечта о более справедливом строе — или во имя божье, или во имя

человека,— в котором главным законом были бы правда и право для каждого, о строе поистине гуманном, не делавшем слабых добычей сильных, а малые нации предметом захватнических нападений более крупных наций, о строе, который «не дал бы погибнуть ни нам, ни нашим потомкам», как поется в одном из старинных чешских хоралов XIII века. Эта мечта о справедливом человеческом обществе всегда была близка народным массам, но не всегда — правящей верхушке. Классовые интересы господствующих слоев — необходимость поддержания власти, собственности, возможность эксплуатировать — часто приходили в противоречие с национальными интересами. В то время как наш народ, пишет Палацкий в предисловии к последнему тому своей «Истории», вел «великие и роковые битвы, которых не видывал свет: битвы за интересы и богатства человеческого духа», паны — как раз в период самых ответственных и самых роковых битв — склонялись к соглашению с неприятелем, к капитуляции перед ним, к предательству национальных интересов. Это особенно ясно показывает история средневековых гуситских войн, предательская борьба панского союза против «гуситского короля» Иржи из Подебрад, это показывают в военном отношении незначительные, но трагические поражения в битве на Белой Горе и позднее.

Противоречия жизненных интересов нескольких господ властителей и всей нации объясняют, почему в чешской истории в роли вождей выступают реже всего коронованные особы и чаще всего деятели культуры — выходцы из народа. Самый славный период чешской истории, эпоха гуситов, связан не с именем короля, а с именем пражского проповедника, профессора университета и творца чешского литературного языка нового времени Яна Гуса, который был выдан в руки палача изменившими панами. В самые мрачные времена, после битвы на Белой Горе, крупнейшей политической фигурой чехов был

не полководец, не государственный деятель, а учитель и писатель, всемирно известный педагог Ян Амос Коменский, который как еретик был изгнан из родной страны, но и в эмиграции создал для своего народа и для всего человечества произведения, которые не утратили ценности до наших дней.

А позже? В течение полутора столетий шла истребительная борьба против чешской нации. Три четверти чешских земель были конфискованы и переданы немецким и итальянским придворным авантюристам, чешская шляхта была изгнана или истреблена, так что из двухсот пятидесяти старинных чешских дворянских родов осталось только двадцать семь. Чешские школы были закрыты, чешские книги сжигались на кострах, чешский дух искоренялся имперскими карательными экспедициями, пытками, поджогами деревень и жестокой иезуитской пропагандой. В истории Европы нового времени, кроме чехов, никакая другая нация не подвергалась таким страданиям, и мучителям чешского народа казалось совершенно невероятным, чтобы после таких ста пятидесяти лет он мог выжить. Однако он не умер, несмотря на то, что его виднейшие мужи были истреблены. В глухих деревушках все еще жили народные «писмаки», они переписывали редкие чешские книги с уцелевших экземпляров, слагали песни о страданиях народа и выражали в них надежду на его освобождение. По тропинкам, пересекавшим границу, рискуя своей жизнью, переходили «контрабандисты» чешской культуры и переносили на родину напечатанные за границей сочинения Яна Амоса Коменского, Павла Странского, Павла Скалы и других.

Эту эпоху чешские историки назвали эпохой «тьмы». Те, кто правил чешским народом в то время, были убеждены в том, что они навсегда похоронили целую нацию в темной могиле. Но едва на западе забрезжил рассвет, едва появились первые зарницы французской

революции, как чешская нация вышла из оцепенения... Она не умерла, она только спала — стали говорить о ней библейскими словами. Каковы были ее первые гигантские политические успехи? Чешское стихотворение, пьеса, написанная на чешском языке, чешский театр, чешские газеты, после многолетнего перерыва — печатные чешские книги.

В конце XVIII века начинается эпоха чешского Возрождения — новая жизнь чешской нации и завоевание культурной и политической свободы. Кто возглавляет это Возрождение? Чешские писатели. Пухмайер, Гневковский, потом Юнгман, Марек, Нееддлы, Полак и Коллар, Клицпера и Тыл, Челаковский и Эрбен, Гавличек и Палацкий и Фрич. Мы видим, как чешские писатели и поэты, верные своим предшественникам, не только косвенно, посредством литературы, но и прямо становятся политическими вождями нации.

Мы могли бы далее проследить, как на разных этапах чешского политического развития, даже тогда, когда поэты и писатели вступали из-за этого в противоречие с официальной чешской политикой, они не переставали бороться за свободу. Но это — общеизвестные факты, и нам только нужно вспомнить, о какой именно свободе шла речь, как чешская литература понимала девиз свободы. Тут прямо-таки программно звучат строки Коллара из вступления к поэме «Дочь Славы» (1824):

Тот лишь достоин свободы, кто ценит свободу другого.
Тот, кто рабов заковал,— сам по душе своей раб [1].

Это — вполне современное понимание свободы действительно для всех, свободы без рабов и без рабовладельцев. В борьбе за такую свободу — смысл чешской истории и смысл всей чешской литературы. Через шесть десятков

[1] Перевод С. Шервинского.

лет после Коллара Ян Неруда пишет свое патетическое послание нации «Только вперед!».

Неруда напоминает о современном положении чешской нации и тут же ясно заявляет о том, какова его задача и в чем его будущее.

За волю человека предки бились,
За волю ныне борется народ,
И как враги над нами ни глумились,
Мы за нее идем вперед, вперед!

Стало быть, не отказ от борьбы за волю человека, за свободу всех людей, которую вели гуситы, а продолжение этой традиции дает Неруде гарантию будущей свободы и славы чешской нации. Не приспособление к рабовладельцам нового времени, а борьба с ними во имя общечеловеческой свободы принесет свободу и чешской нации,— в этом Неруда убежден, и по этому пути он призывает идти вперед, только вперед.

Сознание правды и справедливости заметно в этих словах Неруды. Это то же сознание, которое присуще гуситскому хоралу:

Неприятеля не бойтесь,
Не глядите на число...

и то, что мы находим в одном из самых ранних памятников чешской письменности, в первой «Чешской хронике», написанной древнейшим чешским летописцем Козьмой Пражским (1125 г.). Козьма приводит обращение чешского легендарного героя Тира к воинам накануне большого сражения и вкладывает в его уста следующие слова:

«На войне все одинаково полны решимости сражаться, но бойцы не одинаково заинтересованы в победе. Те воюют за славу для немногих, мы боремся за *свободу*

народа, за свою собственную свободу и за последнее спасение; те — за то, чтобы захватить чужое имущество, мы — за то, чтобы защитить дорогих деток и любимых жен. Будьте же крепки и мужественны!»

Восемь столетий минуло с тех пор, как были написаны эти слова, но тем же духом проникнуты выступления современных поэтов: непреклонное мужество и решимость к борьбе, вера в победу, основанная на том, что здесь речь идет о справедливой борьбе, о борьбе за правду и право, о борьбе за свободу народа, а *тем самым* и за *свою*. Поскольку мы уже цитировали тут очень древнюю «Чешскую хронику» и слова героя Тира, то послушаем, что еще говорит Тир своим воинам:

«Те, которым страх мешает воевать, оказываются в большой опасности; отвага же подобна стене, отважным сами боги помогают. Если же вы захотите повернуть назад, вам все равно не уйти от смерти. *Но если бы это была только смерть! Настанут горшие беды!»*

Такова литература чешской нации. Так наша литература обращается к нам в самом начале своей истории. Такова красная нить, которая проходит, ни разу не порвавшись, через целое тысячелетие. Тот, кто стал бы питать надежду на отказ от борьбы за свободу, был бы разочарован. Тот, кто сам захотел бы покинуть ее, исключил бы себя из чешской литературы. Говоря словами Виктора Дыка,— а этими словами говорит не только чешская земля, но и весь смысл чешской истории:

Покинешь меня — не погибну!
Покинешь меня — погибнешь!

1938

Фучик Юлиус. О театре и литературе. М.— Л., 1964.

ДОЖДАЛСЯ И Я АМНИСТИИ

Я прочел о пасхальной амнистии. Судя по опубликованным параграфам, я считаю, что и мои давнишние «преступления» оказались теперь амнистированными, что и я дождался амнистии. И я испытываю те чувства, которые вызывает внезапное ощущение гражданского полноправия.

Маленький деревенский зал в Костелице над Черным лесом. Слушатели были очень внимательны и очень любопытны, вопросы задавались без конца: как обстоит дело со страхованием сельскохозяйственных рабочих в Советском Союзе, как с лесным хозяйством, что такое фабрики-кухни, как дела с тракторами и, главное, о Красной Армии. Среди слушателей были в основном рабочие, и поэтому они не стремились создавать впечатление, будто верят россказням дипломатических «оптимистов по профессии» о столетнем мире. Они настойчиво спрашивали о Красной Армии, хотя положение в Европе, казалось, напоминало еще спокойную райскую идиллию.

Я отвечал на их вопросы, рассказывал о Красной Армии, о ее составе, вооружении, опыте; рассказывал о борьбе с интервентами в первые годы Советской власти и о единственном позднейшем сражении — с армией китайских генералов [1], которые за японские деньги шли завоевывать для японских господ советский Дальний Восток. Только китайская армия успела подойти к границе, как вступило в действие оружие Красной Армии и — ее пропаганда. И китайские дивизии с развевающимися знаменами стали сдаваться «в плен», захватывая с собой для верности и своих неповоротливых генералов.

[1] Армия белокитайского милитариста генерала Чжан Цзолина, организовавшего в 1929 г. вооруженные провокации на советско-китайской границе.— *Прим. перев.*

Это был рассказ об истории Красной Армии. Но один из моих слушателей — чернокостелицкий жандарм — не доверял истории. И он написал донос, что я якобы подстрекал граждан Черных Костелиц дезертировать в Красную Армию. Суд выслушал его свидетельские показания и мой ответ и без долгих размышлений, по-соломоновски мудро решил, что чернокостелицким гражданам абсолютно нет никакого дела до китайской армии, что я при своем образовании должен был это знать (потому что образование является отягчающим вину обстоятельством) и что, следовательно, когда я говорил о китайской армии, то не мог иметь в виду ничего иного, как армию чехословацкую, и, таким образом, призывал граждан к тому, чтобы они соединились с Красной Армией, то есть с армией, нашему государству и всей демократической республиканской форме государственного правления крайне враждебной. Совершил я, выходит, преступление согласно параграфу 15 статьи 3 «Закона об охране республики» и осуждаюсь... и так далее.

В качестве второго преступления мне было инкриминировано мое заявление о том, что советская международная политика является политикой мира, а Советский Союз — сильнейшим оплотом мира во всем мире, который нельзя не признавать и против которого не может идти никто, кто действительно хочет мира. Было это, очевидно, утверждением подстрекающим, потому что подстрекнуло полицейского чиновника (кстати, члена тогдашней национальной фашистской общины, район Винограды) сделать на меня донос, и суд именем республики признал, что я совершил преступление, квалифицированное как подстрекательство, и осуждаюсь... и так далее.

И... но дело здесь не в воспоминаниях ради воспоминаний. Я лишь напомнил опыт того времени, которое хронологически, безусловно, не так уж далеко от нас, как это может показаться по развитию событий. То, что мы,

коммунисты, утверждали тогда (и это называлось преступлением), стало понятно сейчас всему народу, возлагающему на СССР великие надежды. Да и из уст самих официальных представителей можно теперь слышать, что Советский Союз является великим оплотом мира во всем мире, а его Красная Армия — мощной гарантией нашей безопасности.

Наше «преступление», таким образом, состояло в том, что мы смотрели на несколько лет дальше, чем другие. Мы не ждем, что это за нами признают. Но будем критичны и к сегодняшним действиям тех, кто тогда в наших действиях видел преступление. Эти люди во многом способствовали сегодняшнему состоянию нашей страны, и нет оснований надеяться на то, что их «прозорливость» и сегодня им не изменяет.

Но почему, дорогой мой, спросят меня, ты упрекаешь именно сейчас, когда благодаря законной амнистии открыт путь правде, когда устранено то, что ты считал несправедливостью? Зачем эти воспоминания о том, что уже прошло, хотя и было не так давно?

Почему? Потому что это «устранение несправедливости» очень мне горько. Дождался и я амнистии потому, что она была дана — генлейновцам. Не хватило смелости дать ее нам. Еще менее было проявлено смелости признать за нами правоту. Нас только «пристегнули» к ним. За все время существования республики, единодушно констатируют газеты, за все время существования республики не объявлялось такой широкой амнистии. Осужденные пролетарии такой амнистии *просто* никогда не могли дождаться, хотя ведущие демократы и давно уже, кивая головами, соглашались с тем, что неприлично все-таки сегодня держать в тюрьмах людей за то, что вчера они кричали: «Да здравствует Советский Союз!» Амнистировались мелкие «проступки», была проявлена готовность закрывать на них глаза, но не было смелости, в интересах

демократии и утверждая ее силу, сделать то, что теперь сделано по причине ее слабости.

Трудно испытывать радость, если тебе предлагают тиф взамен скарлатины. Трудно приветствовать решения, вызванные нерешительностью. Потому что дни, которые мы сейчас переживаем, являются днями решающими для большого будущего. И они требуют, именно решительно требуют энергичных и целеустремленных, решительных действий всех демократических сил, ясного сознания и понимания, что если открываются двери тюрем затем, чтобы выпустить тех, кто говорил и говорит правду о ходе исторического развития, то они должны быть открыты и для того, чтобы впустить тех, кто предательски, с потрясающей подлостью стремился остановить это историческое развитие, вернуть мир к средневековью и нашу страну привести к полному порабощению,— они должны впустить их *и закрыться за ними на семь замков.*

Творба № 17, 29 апреля 1938 г.

ГАЗЕТА «РУДЕ ПРАВО» ПОД УГРОЗОЙ ЗАПРЕТА

Эта заметка должна вернуть нас к недалекому прошлому. Если есть сейчас люди, которые всюду, во всем мире, активно борются против пропагандистских — и других — наступлений Третьей империи на Чехословакию, то это прежде всего коммунисты. Коммунистическая партия — единственная подлинно интернациональная, дееспособная партия, и коммунисты сплоченно борются за одну и ту же идею, будь то в Праге, Мадриде или в Токио. Поэтому они и сейчас сообща защищают Чехословакию от выпадов фашистов.

Каждый, кто видит хотя бы немного дальше кончика собственного носа, должен понимать, сколь велика помощь, когда миллионы коммунистов во всем мире, когда все коммунистические газеты, начиная от «Правды», органа Коммунистической партии СССР, и кончая нелегальными листовками, печатающимися на гектографах в Третьей империи или в Японии, противостоят фашистской пропаганде, направленной против Чехословакии. Когда они у себя дома и далеко вокруг привлекают внимание людей, усиливают их симпатии к малой стране Средней Европы, которой угрожает фашизм. Из этого ясно видно, какую мы получаем поддержку. В самый нужный момент мы ощущаем ту же международную солидарность, которую наши коммунисты всегда проявляли по отношению к своим товарищам в Испании, Китае или в Германии.

И именно в эти минуты мы узнаем, что по решению суда должна быть закрыта одна из коммунистических газет. Если бы речь шла о закрытии коммунистической газеты даже где-нибудь в одной из южноамериканских республик, то все граждане Чехословакии должны были бы горячо протестовать против этого. Но речь идет не об южноамериканской республике, а о республике Чехословацкой. Закрытие грозит газете «Руде право». Сейчас это такое безумие, что новость эта скорее похожа на одну из вражеских сплетен. И тем не менее это правда,— мы читали о решении в газетах. Кровь закипает в жилах.

Почему должна быть закрыта газета «Руде право»? Якобы в последнее время ее часто конфисковывали. А за что, собственно, она так часто подвергалась конфискации?

Ни мне, ни читателям «Творбы» нетрудно отгадать.

Мы знаем это по *собственному опыту*. Наш журнал много раз подвергался конфискации, потому что он предупреждал об опасности, грозящей со стороны реакции, и боролся против нее. Есть у нас и другой опыт.

Сейчас уже в чешской прессе время от времени появляются сообщения о страшном разочаровании, испытываемом населением Австрии. Разочарованы там, разумеется, не подпольщики-коммунисты или социал-демократы, которые не ожидали ничего хорошего от прихода немецких войск. Разочарованы там австрийские нацисты, причем настолько, что теперь ими полны концентрационные лагеря. Нищей, страдающей была Австрия — и поэтому много хороших, честных людей мечтали там о Третьей империи, ожидая от нее помощи. И вот пришли в Австрию люди из империи и напали на нее, как саранча. Дороговизна растет, заработная плата падает, вчера был еще хотя бы черный хлеб, а сегодня вообще уже ничего нет. Подготовка к войне пожирает масло и людей. Как вы думаете? Не нужно ли сказать об этом нашим согражданам-немцам, совращенным генлейновской пропагандой? Не надо ли ясно и вовремя показать им последствия аншлюса, чтобы ни нам, ни им не пришлось испытывать запоздалого разочарования? Конечно, вы скажете — надо. И сейчас это уже начинают делать то тут, то там по личной инициативе отдельных лиц и нескольких коалиционных журналистов.

Но «Творба» делала это уже месяц тому назад. Уже месяц тому назад газета «Руде право» приводила подлинные письма австрийских товарищей о внутреннем положении в стране после аншлюса.

Все это было конфисковано.

И такого рода конфискации — я не хочу здесь анализировать причин еще более показательной конфискации статьи о чешской реакции,— такого рода конфискации — достаточный повод для закрытия газеты?

Признаюсь: я не могу себе представить, чтобы кто-нибудь из ответственных демократов мог *сегодня* дать согласие на исполнение судебного решения о закрытии газеты «Руде право». Но уже самый факт возможности такого

решения более чем достаточен для того, чтобы вспомнить изречение Гамлета:

Прогнило что-то в королевстве датском.

Этот факт прямо подводит нас к пониманию опасности внутри нашей страны. И каждый, кто не является Гамлетом, ясно видит, что необходимо действовать, открыть окна и впустить здоровый воздух.

Творба № 25, 24 июня 1938 г.,
за подписью «jf»

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОЙ ЧЕШСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Краткая цитата из письма читателя М.:

«Я вполне согласен с вашим утверждением, что чешская литература в прошлом всегда стойко защищала свободу. Но так ли это сегодня? Я опасаюсь, что не все деятели современной культуры выдержат суд будущего, как по справедливости выдержали деятели прошлого ваш суд. Я был бы счастлив, если бы ошибся, но думаю, что уже сегодня мы можем видеть случаи, когда люди оказались сломленными».

И дальше следует ответ — не только читателю М.

Я убежден, что современная чешская культура выдержит суд будущего, точно так же как культура прошлого выдержала суд нашего времени.

[Изъято цензурой Второй республики восемь строк.]

Нет даже следа какой бы то ни было ломки характера, чешская культура не осквернит своей чести даже молчанием. Она не опускает рук. Она борется и будет бороться не переставая. Характеры, которые ломаются от первого удара, не имеют к ней отношения. Впрочем, будем более осторожно обращаться с этим великим словом «характер».

Где нет ничего, там сам черт ничего не найдет. И если уже сегодня в ком-то что-то ломается, то это не характер, потому что в таком человеке его, очевидно, никогда не было, а следовательно, и ломаться здесь нечему.

Разумеется, если мы хотим видеть нынешний день таким же целостным, как минувший, мы должны хотя бы в своих представлениях постараться взглянуть на современность с той же дистанции, с какой мы смотрим на прошлое. Это нелегко и никогда не удастся сделать вполне. Именно от этого усилия зависит точность нашего суждения о настоящем. Мы всегда должны быть немного историками современности и критиками своего в ней участия, чтобы все видеть правильно и правильно поступать. Когда мы смотрим на события издали, мы перестаем замечать незначительные детали и мелкие стычки, которые кажутся нам сейчас невесть какими важными и очень мучительными, и остается только главное, только действительно существенное и крупное, видное издалека — то, благодаря чему день сегодняшний перейдет в день завтрашний, в дни будущие.

Да, мы можем сегодня наблюдать так называемые «сломленные характеры» не только в области политики, но и в области культуры. Но это вовсе не является особенностью только нынешнего дня. То же самое происходило и в прошлом, которое, как говорит читатель М., справедливо выдержало наш суд.

Всегда существовала периферия культуры, где с большим или меньшим успехом жили и паразитировали торгаши «культурой», спекулянты и мошенники, готовые продать не только свои «труды», но и себя. Если бы мы захотели припомнить имя кого-нибудь из них, нам пришлось бы немало покопаться в давно забытом и превратившемся в прах мусоре. Ведь даже в этой своей «работе» и «деятельности» они никогда не достигали такой значимости, чтобы о них стоило помнить. Это были только не-

значительные детали и мелкие стычки, которые, вероятно, в свое время мучили не одну добрую душу, но не пережили и мошки-поденки. Когда мы сейчас рассматриваем культуру прошлого, мы их не видим, не имеем о них понятия. Они не повредили общему характеру чешской культуры, не обременили ее, потому что были легче той же мошки-поденки.

Так, пожалуйста, и расценивайте нынешние «сломленные характеры». Мы, конечно, не имеем права не замечать их, не имеем права просто отмахнуться от них, мы должны раздавить их, как вредное насекомое. Но при этом мы всегда считаем, что такое, даже самое отвратительное, насекомое не может наложить отпечаток на судьбы народа и его культуру.

Иногда на некоторых деталях отрицательного свойства мы можем показать и явления положительные, как, например, стойкий характер подлинной чешской культуры.

Так, например, Вилем Вернер, автор книги «Люди на льдине», изменил в первые же дни Второй республики, когда сердца всех еще обливались кровью от горя и негодования, и вздумал восхвалять в своих пьесах новый порядок и решительно осуждать все лучшее в нашем прошлом. Он написал первую чешскую приспособленческую пьесу, назвал ее «Новые люди» и перед премьерой напечатал интервью, изложив в нем всю свою философию приспособленчества.

Первая чешская приспособленческая пьеса — разве это не пример сломленного характера в современной чешской культуре? Нет, это только одна деталь, которую необходимо разоблачать, а подлинный характер чешской культуры проявился в данном случае совсем иначе. Торгашеские расчеты приспособленческой «культуры» использовать обстановку оказались совершенно ошибочными.

Во-первых, несмотря на величайшие усилия честно выполнить свой актерский долг, ни одному из исполнителей

пьесы «Новые люди» не удалось скрыть правду жизни, так как им попросту оказалось чуждо все, что Вернер вкладывает им в уста. Актерское искусство, как вообще всякое подлинное искусство, есть не просто умение воспроизводить текст. Оно творит и, как всякое творчество, должно выражать и выражает свое собственное мировоззрение, которое проявляется в исполнении. В пьесе «Новые люди» актерское мастерство открыто выступило против конъюнктурного приспособленчества.

Во-вторых, постоянных посетителей премьер крупных пражских театров нельзя упрекнуть в левизне, они не отличаются особой разборчивостью. И все-таки, несмотря на это, с каждой новой сценой в зрительном зале на премьере становилось все холоднее, и в ту минуту, когда зрителям стало ясно, что за автор предстал перед ними, наступил ледяной холод.

Поймите следующее: в зрительном зале наших больших театров могут сидеть самые разные люди, но весь дух чешской культуры, которым они проникнуты (пусть даже в некоторых случаях его не так уж много), взбунтовался против приспособленческой пьесы Вернера и вызвал или отвращение к нему, или по крайней мере стыд за него.

И, в-третьих, рецензии всех без исключения чешских театральных критиков резко осудили пьесу «Новые люди»: и критик «Право лиду» и критик «Народни листы» пришли к одинаковому выводу, что подобным пьесам не место на чешской сцене, ибо они являются преступлением против национальной морали. Это было осуждение не плохой, а отвратительной пьесы, отвратительной по характеру и противной духу чешской культуры. В этом редком единодушии чешской критики выразительнее всего проявилось то, что можно было почувствовать и в игре артистов и в поведении публики,— что эта пьеса не имеет отношения к чешской культуре.

И это действительно так. Это всего-навсего мелкое периферийное явление, и как таковое его и нужно расценивать, если мы хотим сохранить справедливость в отношении чешской культуры. Это, конечно, совсем не значит, повторяю, что мы должны быть равнодушны к таким явлениям и своим равнодушием позволять им жить. Но мы не имеем права также и ошибаться в их значении.

Первая чешская приспособленческая пьеса!

И вся подлинная чешская культура против нее!

Это симптоматично для характера современной чешской культуры. Это означает, что она не только не становится на путь приспособленчества, но и прямо с ним борется.

Чин № 20, 15 декабря 1938 г.,
под псевдонимом «Карел Стрнад»

УВАЖАЙТЕ СВОЙ НАРОД!

Прочел я в «Вечернем чешском слове» подзаголовки статьи Рудольфа Кепки и живо согласился с ним. «Напряжем все силы и волю, добьемся подъема. Мобилизуем все силы и добрую волю для дела национального возрождения! Покажем, что мы можем и хотим жить!» — призывает Кепка в своих заголовках.

Потом я прочел и статью. Кепка в ней пишет, что «маловерие сковало сейчас души людей и мешает им видеть перспективу лучших дней». Наши надежды, заявил он, «разбиты вдребезги», «боль заставляет людей упрямиться, толкает их на бессмысленные, бесцельные акты отчаяния», «территориальные потери и все другие беды двух месяцев непрерывной агонии» ведут нацию к «опасности нравственной катастрофы», мы «уже опять ведем себя, как Швейки, а это зловещий признак», «это багровый смех людей, в которых все умерло, которым никто не дал

надежды на то, что они будут жить завтра», и что, следовательно, заслуга партии «Национальное единство» уже в том, что она спасает нацию, поддавшуюся нравственной деградации.

Вот уж нет! Я всей душой за подлинное национальное единство чешского народа, но с тем, что Кепка говорит о народе, я не могу согласиться и от имени многих чехов хочу высказаться об этом публично. Я понимаю, что статья Кепки — это агитационное выступление за партию «Национальное единство», и знаю также, что эта статья многое объясняет. Нельзя, однако, агитировать вразрез с интересами народа, это была бы плохая и опасная ему услуга.

Действительно ли таков сейчас чешский народ, похож ли он хоть немного на мрачный образ, созданный Кепкой? Бог весть в какой среде вращается Кепка, если он видит вокруг себя нравственную деградацию, бессмысленные акты отчаяния и неверия, да еще слышит какой-то «зловещий багровый смех»! Я знаю чешский народ, живу среди него. Я живу среди него уже многие годы, и мне известны его смех и грусть, его радость и боль, надежда и вера. Разве мог он не ощутить тяжелой боли, попав в такую катастрофу? Каким бесчувственным назвали бы мы чеха, каким нечеловечески равнодушным к судьбе своего народа, если бы он не был потрясен до глубины души всем тем, что у нас творится! Но отчаяние? Но нравственная катастрофа, уход в себя и мысли о смерти? Неверие? Нет, ничего подобного не вижу я в нашем народе.

Как раз наоборот! Не каждый народ смог бы перенести столь тяжелые удары, как наш, не испытать при этом глубокого потрясения своих моральных устоев. Чешский народ удручен, потому что его предали, но он не сломлен. Он произносит горькие слова обвинения, но не слова отчаяния. Он сохраняет дисциплину и при отступлении, как соблюдал ее в наступлении. Он не утратил упорного му-

жества и надежд на лучшие времена, а в нынешние тяжкие годы это высокие и достойные уважения качества. То, что чехам свойственны эти качества, не означает, что наш народ особо одарен, что он выше других народов. Совсем не это я хочу сказать! Чехи проявляют ныне столь высокие качества потому, что у Чехии очень своеобразная история. Чехи проявляют эти качества потому, что у них уже есть исторический опыт, которому никто не позавидует, но который сейчас оказался особенно полезным.

Вспомните только, что отличает нашу историю! Ее героические периоды порождали мыслителей, создававших справедливый закон, и борцов за него, во все ее периоды шла борьба за правду, за новые, более совершенные отношения между людьми. Во имя этих идеалов мы одержали много побед и потерпели немало поражений. Но если мы и бывали разбиты, наша история не останавливалась, ибо жив был чешский народ. Не впервые пытаются похоронить нас. Не впервые ждут нашей нравственной катастрофы, которая означала бы для нас бесповоротный конец. Но ни один враг не дождался нашего конца, а те, кто хоронил нас, сами уже не только похоронены, но и давно забыты.

Именно после поражений чешский народ приобретал тот опыт, который столь пригодится нам сейчас: чехи научились не сдаваться на милость победителя, не падать духом, верить в правду, даже если она попрана, и видеть в ней свое лучшее завтра. Вот почему чешский народ даже после белогорской катастрофы не опустился морально, хотя долго жил в страшном порабощении. Он не был деморализован, потому что не слушал предателя Вилема Славаты, советовавшего чехам приноровиться к реакционной Вене и верно служить ей, а прислушивался к голосу изгнанника Яна Амоса Коменского: «Верю и я, что минуют невзгоды и все, чем ты владел, снова вернется к тебе, народ чешский!»

Эта вера жила в народе целых триста лет, она не была забыта за двадцать лет первой республики, и она во всей своей силе жива сейчас. Вот почему не может быть речи о маловерии, отчаянии и нравственной катастрофе нашего народа. Ничего подобного у нас нет. Нельзя, однако, забывать, что отдельный человек — существо бренное, он живет всего несколько десятилетий и поэтому не всегда успевает изучить историю своего народа настолько, чтобы руководствоваться историческим опытом в своих поступках. Зато народ живет тысячелетиями, это устойчивый организм, в сознании его сохраняется весь его опыт и в жилах всегда течет красная кровь. У отдельных людей может быть короткая память,— народ ничего не забывает. Отдельные люди могут поносить наше доброе прошлое,— народ этого не делает. Отдельные люди могут не видеть или не хотеть видеть лучшего будущего,— народ всегда будет стремиться к нему. Отдельные личности могут морально разложиться,— народ никогда. Народ может страдать от морального разложения отдельных своих представителей, но в целом он не поддастся им. Ибо они смертны, приходят и уходят, а народ вечен.

Вернемся, однако, еще на минутку к истории. О ней меня заставил вспомнить стиль статьи Кепки. Этаким неестественным стилем с нагромождением зловещих, гиперболических слов и образов когда-то уже писали у нас. Поистине это стиль барокко, и им столь же неудачно, как Кепка, пользовались иезуиты в Чехии после Белой горы. И вот что интересно: они тогда тоже обнаруживали в чешском народе моральный упадок и душевные пороки, они тоже навязывались в спасители. Народ, однако, не принял их «помощь» и тем спасся.

Нет, не будем говорить плохо о чешском народе. Он в опасности, но это не опасность моральной катастрофы. Чешский народ един в оценке своего положения. Он един в оценке своих сил. Он знает своих друзей и врагов, его

не сломит ни горечь, ни боль, он ясно видит свое лучшее будущее и пойдет навстречу ему.

В этом смысле — и здесь Кепка прав — наш народ действительно упрям. Не знаю только, следует ли упрекать его за это. Хорошо, что есть еще упрямые чешские головы, и хорошо, что всегда были они. Не будь их, мы бы уже не существовали на свете. Но не только упрямством можем мы гордиться. К упрямой голове нужна несгибаемая спина. Иная спина такой головы не удержит.

Чин № 18, 1 декабря 1938 г.,
под псевдонимом «Карел Стршад»

МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ

Петр,

Петршик, две ночи я не спал — работал и был в бессильном волнении,— а третью ночь мне не дало спать беспокойство. Беспокойство о тебе. Я закрыл глаза, мечтал и думал: как ты родишься, вырастешь, станешь взрослым, станешь мужчиной,— и вдруг задашь мне один вопрос. Да, я знаю, что задашь. И я беспомощно ворочаюсь с боку на бок на своей постели. Мне становится страшно: что, если ты не поймешь?

Да, я знаю: вопрос этот будет мучить тебя многие годы, и в один прекрасный день он, как появляющийся на свет цыпленок, пробьет скорлупу уважения и дружеских чувств к нам, и ты спросишь: «Что же было тогда? Как могло такое случиться?»

Иногда кажется, что это было бесконечно давно, скажешь ты, но ведь и мать и отец все-таки жили в то время. Как же все-таки они могли жить? Как могли молча сносить это страшное унижение человека? Как могли любить?

Рабство и убийства захлестнули тогда Европу. Справедливость была унижена, как никогда еще раньше, и каждый кусок хлеба, проглоченный на коленях, должен был отдавать горечью. Как могли они это терпеть? Как боролись, сопротивлялись этому? Все ли сознавали? Чувствовали ли?

Какие странные, непонятные, непохожие на людей были тогда люди! Вообще-то у них была человеческая кровь? Человеческие нервы? Человеческие сердца? Были ли вообще они людьми?

Я, вероятно, даже никогда не увижу тебя, мой мальчик. Вероятно, никогда не смогу ответить тебе на твои вопросы, даже не смогу погладить тебя. Вероятно, уже никогда больше не увижу и твою мать, которая носит тебя под сердцем и по которой я тоскую по вечерам более печальным, чем одиночество; вот день кончается, а я знаю: сегодня уже никто не придет, кого я хотел бы видеть.

Обниму ли я ее еще когда-нибудь? Сесть бы рядом с ней... она возьмет мою руку, приложит к себе, и я почувствую, как ты шевельнулся. Мне хочется, чтобы так было. Я хотел бы, чтобы ее волосы упали на мое лицо, как это бывало, когда она наклоняла голову и смущенно улыбалась моей радости. И я хотел бы дожить до тебя.

Каким ты будешь? Чьи будут у тебя глаза? Пусть они будут ее, Петр, большие и нежные, и ты смотри так же, как и она, счастливо и опьяненно на красоту, которую встретишь в жизни. И пусть тебе никогда не придется смотреть так грустно, как приходилось ей! Но нет! Твои глаза увидят уже другой мир. Ты никогда не узнаешь того ужаса подлости и позора, который нас окружал. Слава богу, ты никогда не узнаешь, как тонка была нить, на которой держалась наша жизнь!

Мы — зерна в земле, Петр. Мы — то есть наше поколение. Так мы говорим. Не все зерна взойдут, не все дадут ростки, когда придет весна. Любой из этих подкован-

ных сапог, что слышны над моей головой, может нас раздавить. Может нас растоптать — случайно, из злобы, из садизма,— и мы это знаем. И с этим живем.

Но ты не думай, Петр, что мы боимся умирать. Не все мы останемся жить, но ведь не все и погибнем. И это мы знаем, и с этим живем. Зашелестят поднявшиеся колосья, зарастут следы у могил — и о нас забудут. Заглохнет все — тревога и печаль,— и только урожай скажет твоему поколению за нас, живых и мертвых,— берите и ешьте, это их плоды, их тело.

И это мы знаем — и с этим живем.

И все-таки иногда, когда полицейский вдруг остановится под окнами или неожиданно раздастся в тишине стук в дверь,— остановится сердце, перехватит дыхание в мимолетном испуге. Это — только миг, как внезапная смерть, и, как в минуту смерти (я часто об этом читал и слышал), пробежит перед тобой мысленно твоя жизнь. Не вся, лишь куски, мелькающие друг за другом, иногда смешные и, как правило, не имеющие значения. Но и в них ты узнаешь себя: вот таким я был.

И эти тревожные мысли мучили меня сегодня ночью, когда мне не давал спать страх, что ты не все поймешь. Было это так страшно, что я и передать тебе не могу, потому что я сам переставал понимать. Каково это не видеть, каково не знать, когда все это пройдет и люди снова будут людьми! Из глубины ночи, как из глубокого колодца, все мы видели звезды белого дня. Но на струнах наших нервов смычок дней играл безумную мелодию, и человеческие судьбы вокруг меня и моя собственная судьба плясали под нее. Стихия чувств швыряла любовь, как тела со скалы, и все самое сокровенное выходило на свет с ее кровью: появлялись страсти, которых ты никогда не предполагал, безмерный ужас и безмерная нежность, суровость и мечтательность, страсти, дремавшие долгие годы и разбуженные ревом времени, появлялось бешеное стремление

к счастью, которое бывает страшно, которое сокрушает все на пути своем, если не может быть удовлетворено. Люди обнажились — и это не было красиво. Жизнь была временной. Любовь была временной. Все было «на время». Казалось, что нет ни одной ценности, которая бы устояла, сохранилась.

Горе! Неужели мы не сможем уберечь полноту своих сердец от этого опустошения вокруг нас? Неужели они надтреснут и будут издавать только хриплые звуки вплоть до конца дней нашего поколения?

И такие моменты наступали иногда, Петр! И разве сможешь ты их понять, когда мы сами бывали подавлены их ужасом? Если бы я мог рассказать тебе обо всем этом! Возможно, мой голос сказал бы тебе то, чего не могут передать слова.

Но кто знает, встретимся ли мы когда-нибудь. Поэтому я пишу тебе. Я бросаю в море времени свое письмо, как записку в бутылке; пусть счастливый прибой принесет его к твоим ногам, и ты, стерев плесень наших душевных мук, прочти давнишние слова о современных нам людях. Чтобы понять нас, мой близкий и незнакомый.

Мой Петр!

Предисловие к роману «Поколение перед Петром», начатому 16 марта 1939 г., в ночь вступления гитлеровских войск в Прагу

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МИНИСТРУ ГЕББЕЛЬСУ

Ответ чешской интеллигенции

Геббельс, министр пропаганды и придворный шут национал-социализма, пригласил в Германию некоторых представителей чешской интеллигенции, показал им все,

что хотел, и затем сообщил, какой смысл имел этот торжественный визит. Его речь, в которой беззастенчивый подкуп чередовался с угрозами, относилась не только к приглашенным, она была адресована ко всей чешской интеллигенции.

Геббельс сказал, что еще, мол, есть время для того, чтобы чешский народ показал, «включился ли он в процесс установления нового порядка с охотой или с внутренним сопротивлением». Он сказал, что в зависимости от этого нацистская Германия либо предложит Чехословакии честную дружбу, либо начнет с ней борьбу. От интеллигенции (особо подчеркнул далее министр), мол, зависит, каким путем захочет пойти чешский народ, потому что народ всегда мыслит так, как мыслит его интеллигенция.

Таков был основной смысл речи Геббельса.

Немецкие фашисты пытались внести раскол в мужественное движение сопротивления чешского народа самыми различными путями. Но не преуспели в этом.

Они пытались привлечь на свою сторону чешскую молодежь. Безуспешно. Старались снискать расположение рабочих. Нацистские агенты едва успевали уносить ноги с фабрик и заводов.

А теперь с помощью чешской интеллигенции они хотели бы проникнуть в самое сердце народа.

— Идите к нам на службу,— откровенно говорит Геббельс,— это будет выгодно для вас,— и при этом потирает руки, как купец при заключении выгодной сделки.— Идите к нам на службу, и если мы будем владеть вами, то в наш карман попадет и весь чешский народ. Ведь народ мыслит так, как мыслит его интеллигенция.

Другими словами, менее изысканными, но зато более точными: если измените вы, будет предан весь народ.

Такое мерзкое предложение, такое подлое оскорбление чешской интеллигенции не может остаться без ответа. От нас его требует наша честь, от нас его требует наш народ,

все его прогрессивные силы, все, с кем мы стоим плечом к плечу в рядах национально-освободительной революционной борьбы.

Вот почему мы отвечаем.

Мы, чешские музыканты, артисты, писатели, инженеры, мы, кому насильно закрыла рот ваша цензура, мы, чьи руки связаны вашим террором, мы, чьи товарищи испытывают нечеловеческие страдания в ваших тюрьмах и концентрационных лагерях,

мы, чешская интеллигенция, отвечаем вам,

министр Геббельс!

Никогда — слышите вы? — никогда мы не изменим революционной борьбе чешского народа, никогда не пойдем к вам на службу, никогда не будем служить силам мрака и порабощения!

Чего вы от нас хотите? Чтобы мы помогали вам распространять в чешском народе вашу мошенническую пропаганду, обманывающую на каждом слове, чтобы мы своими именами, приобретенными честным трудом на ниве нашей культуры, придавали вашей пропаганде видимость достоверности, чтобы мы предоставили свои голоса и свои перья в распоряжение вашей лжи, чтобы мы злоупотребили доверием своего народа и рекомендовали ему путь, который приведет его только к мучительной гибели?

Нет, этого мы не сделаем!

Чего вы от нас хотите? Чтобы мы участвовали в вашем кровавом терроре, чтобы мы оказались в одной шеренге и на одном уровне с вашим гестапо, чтобы мы убивали мысли чешских людей, как в гестапо убивают их самих, чтобы мы помогали всем вашим насильникам уничтожать гордое, прекрасное сопротивление чешского народа, поработить который вы напрасно пытаетесь?

Нет, этого мы не сделаем!

Чего вы от нас, собственно, хотите? Чтобы мы совершили самоубийство?

Этого мы, конечно, не сделаем.

Мы, «идейно-руководящий отряд народа», как вы нас называете, действительно связаны глубокими и нерушимыми узами с народом своей страны. Но не потому, что мы внушаем народу свои взгляды, а потому, что мы выражаем взгляды своего народа. Мы, люди культуры, всегда не на жизнь, а на смерть связаны с самыми прогрессивными силами своего народа, и мы знаем это.

Во все времена, когда чешская интеллигенция была действительно идейно-руководящим отрядом народа, во все знаменательные времена чешской культуры все великие деятели ее были связаны с самыми смелыми идеями человеческого прогресса, во имя которых наш народ боролся за свое существование и страдал, страдал, но не погиб, потому что не отрекся от этих идеалов.

Мы все, что с нами будет, ожидали,
Мы не страшились бури и невзгод,
Мы с чешскою судьбой себя связали,
И с ней вперед, и только лишь — вперед!

Это написал чешский поэт. Так чешский поэт уже много лет назад от имени всех нас и нашего народа наметил тот единственный путь, который приведет нас к свободе и национальной независимости.

Это не путь измены народу в интересах порабощения. Это путь борьбы против порабощения, путь борьбы за свободу человека у нас, у вас, во всей Европе!

С этого пути мы не свернем!

В чешской истории немало страниц о политической измене реакционных чешских господ, которые охотно продавали свободу чешского народа, даже жизнь всего народа, лишь бы сохранить свое богатство и свои привилегии. Но вы не найдете в чешской истории ни одной страницы о политической измене деятелей культуры своему народу, и мы, будьте уверены, мы не впишем подобной страницы в свою историю!

Мы родились под бури грохотанье.
К великой цели через мрак и грязь
Проходим шаг за шагом испытанья,
Лишь пред своим народом преклонясь.

И это написал тот же чешский поэт. А вы думаете, что мы, интеллигенция чешского народа, который пережил столетия тяжкого угнетения и не сломился, потому что не пал на колени, вы думаете, что мы, кровь от крови этого народа, склоним перед вами головы? Безумец!

Вы обещаете нам какие-то «выгоды». Серьезно?

«Как только эти вопросы будут разрешены (то есть как только свершится измена чешской интеллигенции), для чешской кинематографии откроется невиданно широкий рынок сбыта... Чехи получат возможность вывозить свои фильмы, свою литературу, свою музыку». Вы так сказали? Да, вы действительно так сказали.

Бедная колченогая Лорелея с берегов Шпрее, где твоя обольстительность?

«Когда птичку ловят, ее завлекают песней»,— говорит наша чешская пословица, но вы и петь-то хорошо не умеете.

На что же вы хотите нас поймать — на экспорт чешских фильмов? И это говорите вы, укравшие у чешского народа лучшие киноателье, вы, кто в самом зародыше убивает чешское киноискусство, чтобы оно не смогло развиться в полную силу?

На экспорт чешской литературы? И это говорите вы, кто варварски расправляется со всей нашей литературой, кто конфискует и уничтожает лучшие произведения чешских писателей, кто выбрасывает чешскую литературу из чешских библиотек, кто бесчестит поэму Карела Махи «Май», кто конфискует не только современные сборники стихов, но и автобиографию Карла IV, изданную шесть веков назад, кто хочет просто уничтожить всю чешскую письменность?

Вы хотите нас соблазнить и экспортом чешской музыки. И это говорите вы, кто калечит нашу музыкальную жизнь постоянными запретами, кто насильно заставляет умолкнуть музыку нашего величайшего композитора; вы, кто запретил нам петь; вы, кто отнимает у наших детей песни, сложенные народом?

Вы закрыли наши университеты, вы онемечиваете наши школы, вы ограбили и заняли лучшие школьные здания, превратили в казармы театр, концертные залы и художественные салоны, вы грабите научные учреждения, прекращаете научную работу, хотите сделать из журналистов убивающие мысль автоматы, убиваете тысячи работников культуры, уничтожаете основы всей культуры, всего того, что создает интеллигенцию,— и теперь хотите именно с ее помощью продолжать свое дикое безумие?

Господин Геббельс, «это такая шутка, на которую отвечают пощечиной!» — можем ответить мы словами великого немецкого драматурга.

Да, немецкого драматурга, драмы которого уже не могут появиться на ваших сценах. Вот ваши «выгоды» во всей их красе! И это напоминает нам о том, что, прежде чем вы могли предпринять поход против чешской культуры, вы предприняли карательную экспедицию против собственной, немецкой культуры. Вы убили великую немецкую науку, вы изгнали из своей страны виднейших немецких ученых, изгнали или замучили крупнейших немецких поэтов и писателей, вы сожгли на кострах произведения виднейших немецких философов, разграбили немецкие картинные галереи, растоптали славу немецкого театра, вы фальсифицировали отечественную историю, вы вычеркнули из немецкой литературы имя и творчество Генриха Гейне — одного из величайших ее творцов, а также десятки других немногим менее известных писателей, вы выхолостили творчество Гёте и Шиллера, вы превратили свою «ниву культуры» в огромную пустыню.

Вы уничтожили или заставили замолчать свою интеллигенцию, а теперь приглашаете чешскую интеллигенцию «принять участие» в вашей «благотворной деятельности». Как? — В качестве очередной вашей жертвы. Иной «выгоды» предоставить вы ей не можете.

Хотите отрубить ей голову и предлагаете, чтобы она сама положила ее на плаху.

Благодарим за приглашение — не принимаем!

Мы знаем ваши «выгоды». Плюем на ваши угрозы. Из вашей длинной речи мы принимаем лишь одно — признание, что вам не удалось сломить чешский народ. Полтора года вы топчете коваными сапогами наши земли, преследуете нас на каждом шагу, наводняете тюрьмы нашими мужчинами, женщинами, даже детьми и убиваете наших лучших людей.

Полтора года вы душите нашу политическую, экономическую и культурную жизнь.

Полтора года вы пытаетесь своим террором поставить нас на колени перед свастикой. После полутора лет такого беснования даже вы, изолгавшийся министр нацистской пропаганды, должны признать, что у вас ничего не вышло, что мы все еще сопротивляемся.

Да, с этим мы согласны, и мы гордимся этим.

Но если вы, жалкий лжец, думаете, что у нас, у чешской интеллигенции, меньше гордости и меньше характера, чем у чешского народа, из которого мы вырастаем, если вы думаете, что мы позволим вам запугать или соблазнить себя, что мы отречемся от народа и пойдем вместе с вашим гестапо против народа, то вот вам еще раз наш ответ:

Нет, нет, никогда!

А на ваш вопрос, хотим ли мы участвовать в строительстве новой Европы, мы отвечаем:

Да, да, да, и как можно скорее!

Только это будет совсем другая Европа, не та, о которой мечтаете вы. Ваш «новый порядок» — старый беспо-

рядок, в котором вы поддерживаете жизнь только инъекциями из крови миллионов ваших жертв. Поэтому вы так торопитесь! Поэтому вы и хотите, чтобы мы как можно скорее стали добровольным материалом для ваших новых, более обильных инъекций — «не то будет поздно».

Поздно для кого?

Для вас.

Ведь мы прекрасно сознаем, в какое время вы делаете нам свое наглое предложение. Вы ведете войну, разбойничью войну, у вас есть успехи, вы наступаете, оккупируете, расстреливаете, бомбардируете, затопляете, а каков результат всего этого?

С каждым мгновением все очевиднее иллюзорность цели, ради которой вы развязали войну, с каждым шагом ваша цель удаляется от вас за тридевять земель. И вы сами уже начинаете сознавать это. Оккупировав страны, которые должны были служить вам плацдармом для нападения на Советский Союз, вы открыли глаза людям, в течение многих лет искусно ослепляемым реакцией с помощью вашей пропаганды, вы наполнили мысли и сердца десятков миллионов порабощенных людей пламенной ненавистью к вам и к реакции в их странах, к фашизму, скрытому под какой угодно личиной; вы наполнили сердца этих людей единой, мощной волей к подлинной свободе,— а теперь вы хотите из всего этого организовать «новую», фашистскую Европу.

Вы еще можете наносить бешеные удары во все стороны, но организовать вы не можете ничего, кроме собственного краха. Вот поэтому ни вы, ни ваши английские партнеры в прошлом и враги в настоящем не сможете кончить войну.

Вы организовали в Европе фабрики смерти, вы объявили войну в воздухе, на море и на земле, но кончите вы ее под землей, куда вы загнали народ чешский, народ французский, бельгийский, голландский, датский, норвежский,

испанский, итальянский и народ своей собственной страны.

Не вы, повторяем вам (вы это теперь и сами понимаете), не вы, развязавшие эту войну, но народы, преступно втянутые в нее, народы, которые вы тщетно пытаетесь сделать рабами, народы, руководимые революционным рабочим классом и опирающиеся на огромную мощь Советского Союза, растущую с каждым вашим «успехом»,— народы сами закончат эту войну, нарушат ваши планы и создадут новую Европу, которая живет пока лишь в мечтах: Европу без нацистов, без фашистов всех мастей, Европу без корыстолюбивых мерзавцев, Европу свободного труда, Европу свободных народов, Европу действительно новую, Европу социалистическую!

Представители чешской интеллигенции

Подпольная листовка, осень 1940 г.

ДВА ФРОНТА ВРАЖЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ

Делать ставку сразу на две карты — отнюдь не собственное изобретение чешской буржуазии, однако это характернейшая черта ее политики во все наиболее ответственные моменты истории. Да и вообще чешская буржуазия всегда, во все времена, проявляла охоту подороже продать интересы чешского народа, и продать их тому, кто потом получше позаботится о ее собственных интересах. И, надо сказать, продемонстрировала в этом отношении виртуозное мастерство.

Вы только вспомните, с какой легкостью и естественностью буквально в течение одной ночи в 1938 году чешская буржуазия поменяла Лондон на Берлин! Но в неустойчивое военное время нельзя полагаться даже на самую

большую ловкость и сноровку в перемене ставок. Надежнее иметь в игре две ставки одновременно. Именно так оно и было во время первой мировой войны, когда одна ставка делалась на Вену (Крамарж, Станек), а вторая на договор четырех (Масарик, Бенеш). Так же обстоит дело и сейчас. Господа должны быть подстрахованы. Пускай выигрывает Берлин или Лондон — не столь уж важно кто, главное, чтоб не выиграл чешский народ. И именно о том, чтоб не выиграл чешский народ, сообща и в равной мере усердно пекутся как центр берлинской, так и центр лондонской пропаганды.

Вне всякого сомнения, мы должны отличать распространителей лжи, сфабрикованной в Берлине, от тех, кто является рупором лжи, сфабрикованной в Лондоне. Вся эта мразь, находящаяся на службе Берлина, все эти Моравцы и Вайтауэры знают, что они лгут, знают, что предлагают народу яд, несущий смерть; к этому они и стремятся. Однако не все распространители лондонской пропаганды осознают, что их деятельность враждебна народу. И среди них есть, конечно, креатуры моравцевского и вайтауэровского типа, но есть и чистые люди, честные и мужественные, не страшащиеся никаких опасностей и готовые отдать свою жизнь за счастье и независимость народа. Однако их чистота и мужественность не спасают их от близорукости, и вся их честность не способна придать лондонской пропаганде ни чести, ни правдивости. Наоборот. Это еще больше увеличивает ответственность и усугубляет вину Лондона и его прямых прислужников за то, что, грубо злоупотребляя словами о любви к народу и свободе, они толкают чешских людей на бессмысленные жертвы — только ради того, чтоб несколько лордов-капиталистов не утратило своего господства над миром, а несколько чешских эксплуататоров — власти над народом.

Но ведь на самом деле, надо быть близоруким и иметь очень короткую память, чтобы не понять, к чему действи-

тельно стремится Лондон. Неужели мы не знаем лондонских лордов? Неужели нам мало прежних уроков? И неужели мы не знаем тех, кто сейчас в Лондоне формирует «независимое» правительство Чехословакии? Разве у нас все еще не хватает опыта, чтобы разобраться в этом? Есть у нас такой опыт, причем столь живой и глубокий, что просто непонятно, как только мог о нем забыть кто-либо из пострадавших.

«Ведь и глупость — это грех»,— говаривал Т. Г. Масарик. Пусть это будет глупость, даже самая честная глупость, но если люди, после всего, что было, клюют на приманку лондонских лордов,— это грех, грех по отношению к чешскому народу и его борьбе за свободу.

Даже более того: глупость в решительные минуты, когда речь идет о нашем будущем, равняется преступлению, которого история не может и никогда не сможет простить. Пройдет какой-нибудь десяток лет, и никто просто даже не поверит, что в 1941 году находились люди, которые могли еще себе позволить не понимать, о чем идет речь и где их место, могли что-то делать несознательно. Конечно, в 1918—1938 годах некоторые могли еще не разобраться, могли не видеть, что к чему. И таких, действительно, было немало. Но ведь 1938—1941 годы стали столь показательной школой жизни, столь усердно и даже насильственно навязали каждому настоящие знания, что трудно представить себе человека — если он только упрямо не надевает шоры на глаза,— который бы не видел, как чешские капиталисты продавали и продолжают продавать чешский народ. Продают, как в Берлине, так и в Лондоне, одной и той же капиталистической своре, безразлично, говорит она на немецком или на английском языке.

Обратимся к примерам: Гаха по воле Франка дал нам нового «вождя» национальной солидарности. Им стал хитрый, любящий поразглагольствовать аграрник «крестьянин» Фоусек, предложенный его дружком Виктором Стоу-

палом,— один из главных представителей чешского капитализма. Каждый понимает, что это — комедия. Фоусек — крестьянин, чье поместье оценивается на миллионы, крестьянин, имеющий дворянский титул, «вождь», который никого не ведет, «представитель народа», который больше всего на свете боится попасть в руки народа. Но у Виктора Стоупала есть еще один дружок. И находится он сейчас не в Праге, а — в Лондоне. Это тоже такой же «крестьянин», тоже «представитель народа» и даже министр «независимого» чешского правительства. Его зовут Файерабенд. Неужели вы никогда не слышали этого имени? Да это же тот, тот самый, кто один из первых — еще в 1936 году — навещал Гитлера в Берхтесгадене, это тот, кто первым публично порекомендовал сотрудничество с нацизмом, кто вместе с Махником и Задиной «обсуждал» с нацистскими генералами тайные планы чехословацкой обороны, кто в качестве главы монополии удерживал высокие цены на зерно в Чехословакии для того, чтобы «избытки» зерна поставлять в гитлеровские закрома по ценам столь низким, что не покрывались даже транспортные расходы.

Проявив себя таким образом, он вдруг стал теперь министром «независимого» правительства, борющегося за «освобождение» Чехословакии от гитлеровского господства.

Да, да, не смейтесь, это действительно хорошо известный человек. Конечно, не тем, что он защищал интересы чешского народа,— с точки зрения народа, это просто подлый предатель,— а тем, что уже достаточно проявил себя как защитник интересов чешского капитализма. Поэтому-то он и был послан в Лондон. И поэтому был там горячо принят. Если бы «независимое» чешское правительство в Лондоне не только лишь на словах было правительством чешского народа, оно должно было бы тут же на месте повесить Файерабенда на ближайшем фонаре за все его

предательства в прошлом. И если оно по какой-то чудаковатой робости этого все-таки не сделало, то должно было хотя бы арестовать его, должно было бы его изолировать из опасения, что он, по причинам давней своей дружбы с нацизмом, предаст, как неоднократно предавал ранее. Но ведь правительство его и не повесило, и не изолировало, наоборот, оно приняло его в свою среду и сделало одним из «независимых» министров «свободной» Чехословакии.

Им даже в голову не пришло классифицировать его заговор против первой республики как преступление, в голову не пришло опасаться его предательства, потому что — ну потому что ворон ворону глаз не выклюет.

Чешские капиталисты не усмотрели никакого предательства ни в том, что Файерабенд из средств нашего народа снабжал Гитлера, готовящегося к нападению на Чехословакию, ни в том, что он выдал ему планы о мобилизации и карты наших военных укреплений. Для них это была всего лишь мудрая капиталистическая политика в период, когда весь мировой капитал полагался на Гитлера как на своего представителя в борьбе против социализма, против угрозы социальной революции, против единственной свободной страны свободных трудящихся — Советского Союза. О том же, что чешскому народу будет нанесен удар, а возможно, встанет вопрос и о самом его существовании, они думали меньше всего.

И теперь им снова отнюдь не кажется странным или аморальным, что вчерашний трубадур Гитлера сегодня воспевает Черчилля. Это для них в высшей степени логично. В то время, когда борются между собой два империалистических блока и исход поединка еще не ясен, умение поставить сразу на обе карты и есть, по их мнению, проявление наибольшей политической дальновидности. Файерабенд и его компания, таким образом, представляют собой эту вторую, лондонскую ставку, тогда как Стоупал, Гаха, Фоусек и их компания — это ставка на Берлин.

Все могло бы быть и наоборот, для этого нет никаких принципиальных противопоказаний или политических препятствий, потому что господа, делающие сразу две ставки, знают лишь один политический принцип: удержаться у власти, чего бы это народу ни стоило; удержаться у власти, безразлично, с помощью Берлина или Лондона, или даже с помощью Берлина и Лондона, вместе взятых,— только бы удержаться у власти — и эксплуатировать дальше, хватать свою прибыль, жить и дальше за счет трудящихся. И, конечно, совсем ничего не изменилось бы, если бы Файерабенд (как, впрочем, он это целый год и делал) повторял в Праге, как попугай, угрозы Гитлера, а Стоупал разливался бы соловьем, распевая обещания Черчилля. Ничего бы ровным счетом от этой перестановки не изменилось, потому что это всего лишь две руки одного и того же тела, причем правая прекрасно ведает, что творит левая. Они разделили свои роли так, как мы это сегодня видим. И играют, точно придерживаясь сценария, при этом, подобно Гитлеру, они полагаются на то, что народ — это всего лишь «тупая, несоображающая толпа», которая в их игре не разберется и не сумеет ее испортить.

А речь идет как раз о том, чтобы народ — если он наконец намерен жить в подлинно свободном мире и гарантировать себе свободу — все-таки разоблачил эту игру и должным образом ее испортил. Иначе ему не избавиться от страданий, кому бы он ни поддался — сторонникам Гитлера или сторонникам Черчилля. Главное, придется поддаваться...

Вы не вспоминаете о горькой усмешке, которая появилась на вашем лице, когда в октябре 1938 года вы прочли в газетах, как несколько десятков недалеких французских женщин преисполнились желания построить Чемберлену «домик мира» за то, что, пожертвовав Чехословакией, он «спас Францию от войны». Едва ли вы тогда сказали:

«О, святая простота!» Скорее, вы испугались этой непонятной тупости, этого полного непонимания того, что, отступая в Мюнхене перед воинственно топающим Гитлером, Франция оказалась на самом пороге войны, оказалась на краю пропасти. Вы видели это ясно. Ведь не прошло и десяти месяцев, как гитлеровские бомбы уже обрушивались на города и деревни «спасенной» Франции, а гитлеровские танки, большей частью награбленные как раз в Чехословакии, уже превращали в кровавое месиво тела сыновей многих из тех женщин, которые так благодушно радовались чемберленовскому «миру».

Столь же близорукими и недалекими, как эти «чемберленовские» женщины во Франции, столь же трагически смешными — а на сегодняшний день и опасными — являются те, кто еще сегодня собирается строить не только «уборные мира», но и воздушные замки будущего на основании обещаний Черчилля, наследника и преемника Чемберлена, кто еще сегодня верит, что Черчилль борется за «спасение свободы нашего народа».

Лондонский центр пропаганды, разумеется, представляет нам Черчилля как старого и верного «друга Чехословакии», который уже дважды или трижды упомянул о «мужественном народе чехов»; к тому же Черчилль както похлопал по плечу Бенеша, а в другой раз даже подал ему руку и однажды не поленился встретиться с чехословацкими солдатами, которые были посланы, чтобы защищать его интересы и за эти интересы умирать. Это ведь не то, что Чемберлен, который говорил о нас как о «неизвестном и незначительном народце в Средней Европе», возможно чехословацкую армию не признавал и Бенешу руки не подавал!

Да, это «нечто другое», потому что — ситуация другая.

Теперь, когда британская внешняя политика уже проиграла свои европейские позиции, теперь, когда английский империализм схлестнулся с империализмом немец-

ким, и приобрела значение любая сила, которую можно бросить в бой, теперь и «чешский народ стал мужественным», и солдаты его «особенно себя проявили».

Чемберлен представлял собой редкий случай политического кретинизма, в силу которого он, руководствуясь свирепой ненавистью к Советскому Союзу, поставил все только на гитлеровскую карту. Черчилль, правда, уже тогда был поумнее, а главное, поосторожнее; он предупреждал, что следует предусмотреть и возможное непослушание Гитлера: что, если ему вдруг вздумается пойти не на Советский Союз, а, скажем, на Балканы или обрушиться на средиземноморские позиции Англии. В этом вопросе Черчилль расходился с Чемберленом. Но принципиальных различий между ними не было. Наоборот, в период самого сильного нажима Чемберлена на Чехословакию в конце 1938 года, необходимого для того, чтобы она молча легла под военную машину Гитлера и тем самым дала ему возможность продвигаться дальше на Восток, в период, когда нашу страну начали регулярно навещать разные Ренсимены и другие представители лордовской своры, почтенный сэр Черчилль счел своей прямой обязанностью вколотить личный гвоздик в гроб нашей первой республики, присоединить свой голос к хору тех, кто подготавливал мюнхенскую капитуляцию.

Из Лондона нам настоятельно советуют не забывать заслуг Черчилля по отношению к чешскому народу. Хорошо, вспомним, что было им тогда написано:

«Чехословацкое правительство обязано сделать западным державам любую уступку, которую те сочтут нужным сделать по требованию Германии... Как от Германии мы требуем, чтобы она не разжигала никаких споров вне своих границ, точно так же мы должны гарантировать, что ясное определение нашей точки зрения (то есть «дружеской» позиции английских лордов по отношению к Чехословакии) не придаст лишней отваги для проявления

упрямства маленькой стране, существование которой зависит от совести и усилий других».

Вот он таков, господин Черчилль! Выходит, чехословацкое правительство даже не обязано было сделать всего, что диктовали ему интересы Чехословакии, а должно было лишь выполнять приказы английских лордов и толстосумов. И его «совесть», на которую он любезно предлагает уповать, явно не была настолько уж щепетильна, чтобы не возникло решение пожертвовать «маленькой страной». Да, эта «маленькая страна, существование которой зависит» от милости лордов, должна была перестать существовать — и только потому, что именно это «усилие» на сегодняшний день соответствует политической игре, которую ведут лорды.

И более того: ему, «прогрессивному» Уинстону Черчиллю, «старому другу Чехословакии», показалось даже, что эта английская политика, которую вели Чемберлены и Рансимены, эта грязная, отравляющая все и вся политика торговли человеческим мясом, могла бы придать Чехословакии «отвагу для проявления упрямства», и поэтому он сам, по собственному почину, решил помочь нам еще также советом, заключавшемся в том, что мы должны непременно слушаться лордов — пусть те даже захотят нашей смерти. Поистине нет на свете ничего лучше «старого друга»!

Но чем же этот «друг» отличается от явного врага — Чемберлена? Ничем, кроме того, что он еще жив и, следовательно, может еще действовать, демонстрировать соответствующие проявления своей «совести» и своих «усилий».

Чемберлен заботился о владычестве английского капитализма над миром, о спасении капиталистического порядка вообще — и с этих позиций он смотрел не только на наш народ, но и на все народы мира. О господстве английского капитализма над миром и о спасении капиталистического

порядка заботится также и Черчилль — и с этих позиций он смотрел и смотрит на все народы. Когда им это было на руку, мы должны были «жертвовать собой ради дела мира». Времена изменились, и мы должны теперь «приносить жертвы войне». Времена меняются, но жертвовать собой для нас «обязательно» во всех случаях. Так себе это представляет «великий» Черчилль.

И это не только на сегодняшний день, но и на будущее. Гитлер, мечтая о сказочно победном исходе своей разбойничьей войны, обещает организовать огромный концентрационный лагерь, над воротами которого будет написано: «Новая Европа». Черчилль в качестве желанной цели своей разбойничьей войны видит огромную тюрьму с не менее циничным названием «Новый мир». Гитлер хочет достигнуть порабощения всех европейских народов и подчинить их монопольному господству немецкого капитализма. Черчилль хочет достигнуть порабощения всех европейских народов и поставить их в зависимость от английских капиталистических монополий. О подлинном самоопределении народов, о праве свободного развития народов, как великих, так и малых, о подлинном их братстве, которое бы раз и навсегда исключило войну и гарантировало постоянный мир, Гитлер не думает, так же как и Черчилль.

Может ли быть в Европе мир, если победит Гитлер и колеса германской колесницы надменно будут ломать кости народу чешскому и польскому, сербскому и норвежскому, голландскому и всем остальным европейским народам?

Конечно, не может.

А может ли быть мир в Европе, если победит Черчилль и будет из всех стран Европы — не отличая «победителей» от «побежденных» — выкачивать национальные доходы, чтоб за счет других народов возместить затраты на войну и понесенные убытки? Конечно, и в этом случае не может быть и речи о прочном мире, и в этом случае это

будет только худое перемирие, каким, в сущности, было двадцатилетие после первой мировой войны. Только это перемирие может стать еще более коротким и еще более неспокойным, еще более «военным» и внезапно нарушится новой войной, куда более страшной, куда более убийственной, чем та, которую мы сейчас переживаем.

И, возможно, если бы мы в эти несколько жалких лет опять приобрели бы какое-то бледное подобие государственной «независимости» — хотя даже и этого Черчилль нам на сей раз пообещать не может (а ведь обещания — это товар, который обходится господам дешевле всего!),— ну, если бы даже мы это подобие «независимости» все-таки приобрели, все равно появился бы снова какой-нибудь господин Черчилль или лорд с какой-нибудь другой фамилией и сказал бы так же ясно, как вот этот наш «старый друг» в 1938 году: «Черта лысого, вы независимы. Существуете вы только по милости, по нашей милости, по милости английских лордов, и нас, английских лордов, вы должны слушаться. Умирать за наши интересы — вот что является вашим уделом. Следовательно, вперед».

И Гитлер, и Черчилль — оба означают и для нас, и для всей Европы только новую нищету, новую эксплуатацию и, наконец, новые страдания в новой империалистической войне. Другими способами удержаться у власти они уже не могут, потому что другого пути у них просто нет. Без эксплуатации и порабощения целых народов сегодняшний капитализм уже не может существовать, и в этом нет разницы между капитализмом немецким и капитализмом английским.

Мы как-то слышали по берлинскому радио, что какие-то арабские племена якобы провозгласили Гитлера своим союзником в борьбе за свободу против английских поработителей. Разве хоть один в этот момент не подумал: «Бедняги, вот уж хлебнут горя!.. Неужели они не знают, с какой жестокостью подавляет Гитлер свободу нашего

народа и всех остальных народов, попавших в его лапы?»

Но когда арабы услышат по лондонскому радио, что, мол, чехи ждут освобождения от Черчилля, они удивятся еще больше и будут правы: «Безумные! Неужели они не видят, с какой жестокостью подавляют английские лорды свободу нашего народа и всех остальных народов, попавших в их лапы? Неужели они не знают, что английский капитализм сделал из огромного высококультурного индийского народа?!»

Из нелегальной листовки, написанной в начале 1941 г.

ПЕРВОЕ МАЯ 1941 ГОДА

Полстолетия тому назад, в день Первого Мая, чешские рабочие впервые шагали по улицам Праги. И великий поэт Ян Неруда, один из подлинных национальных чешских поэтов, сердце которого горячо воспринимало все свободное и прогрессивное, видя эти, тогда еще немногочисленные ряды, приветствовал их восторженными словами, полными ясного предвидения: «Мы дожили до знаменательного дня — Первого Мая. А может быть, даже до самого знаменательного дня в человеческой истории вообще! Уверенным, железным шагом прошли рабочие батальоны в 1890 году. И сразу же видишь, как от одного этого движения изменилась общественная и политическая ситуация нынешнего дня, и изменилась не только на сегодня!»

Далеко видел поэт Ян Неруда. Он не только почувствовал, но и понял, что перед ним шагает величайшая сила современной истории, мощный поток будущего, который изменит до основания весь мир. Неруда понял, что это первый боевой смотр революционных сил пролетариата, смотр единственной силы, которая может завоевать и за-

воюет свободу и счастливую жизнь для человека, для всех народов, для всего человечества.

С того времени в майские дни по улицам Праги и других чешских городов и селений прошли миллионы рабочих. И шаги их каждый раз сливались с шагами миллионов, десятков миллионов пролетариев всех стран в мощном и уверенном движении. Но немногим меньше четверти века шагают не только рабочие, готовые бороться за свое освобождение, но и гигантские отряды уже освобожденных трудящихся, которые являются хозяевами одной шестой части мира и которые ни на минуту не забывают о своей ведущей роли в революционной армии мира. С каждым шагом увеличивалась эта армия; с каждым годом ее растущая сила на боевом смотре Первого Мая говорила нам о том, что день решительного боя приближается.

Но в этом году, в день Первого Мая, рабочие массы нашей страны уже в третий раз не пройдут по улицам наших городов и не запоют наших пролетарских песен, возвещающих о весне человечества.

Почему? Что это значит? Неужели капиталистическому миру удалось разбить эту великую рабочую армию? Нет. Не удалось и никогда не удастся. Кажущееся затишье в этом году означает нечто совершенно другое. Оно означает, что мы уже боремся. Прошли дни славных боевых смотров, приходят дни самой борьбы, дни огромной решающей битвы, в которой мы можем потерять только свои оковы, а приобрести — весь мир!

Безумство капиталистического порядка достигло своего завершения в новой войне. Во второй раз капитализм доказывает одному поколению, что он не знает и не видит другого выхода из экономических кризисов, кроме бешеного уничтожения людей и ценностей. Одни эту войну хвастливо называют войной «За новую Европу», другие нагло называют ее войной за «человечность и демократию». Но их объединяет одно: те и другие используют

войну прежде всего для наступления на все добытые этим поколением свободы и завоевания, для наступления на авангард трудящихся в собственной стране. Ибо он является самым большим и непримиримым врагом капитализма и не прекратит борьбы до тех пор, пока с корнем не вырвет все их корыстолюбивое, кровожадное варварство. Враги трудящихся знают авангард трудящихся и боятся его. И правильно. Он окончит войну, которую они вызвали. Он окончит ее тем, что навсегда растопчет их, как отвратительных, паразитических насекомых.

На протяжении многих лет мы организовывали сопротивление против войны, на протяжении многих лет, насколько хватало наших сил, мы проваливали военные планы капиталистов и отдаляли войну. В эти годы мы не сидели сложа руки. В эти годы росла хозяйственная и военная мощь Советского Союза, сильнейшей и теперь уже непобедимой опоры социализма. В эти годы выросли и закалились и наши ряды. И если нам не удалось помешать началу этой войны, то мы готовы окончить ее. Мы готовы превратить войну империалистическую в войну освободительную. Мы готовы выполнить свою историческую задачу могильщиков капитализма. И в этом состоит основной смысл нынешнего смотра революционных сил чешского пролетариата.

На протяжении многих лет мы, коммунисты, говорили всему чешскому народу об опасности новой войны и призывали к борьбе с ней. Много было таких, которые понимали нас и шли за нами. Но много было и таких, которые поверили заманчивым обещаниям столетнего мира и не пошли тогда за нами. Сегодня они испытывают всю горечь своего заблуждения.

На протяжении многих лет мы указывали на опасность, которая грозит чешскому народу, и призывали своевременно покончить с господами-изменниками. Многие понимали и шли за нами. Но много было и таких, которые

были ослеплены буржуазным национализмом и не верили нам.

Сегодня они видят всю глубину измены.

На протяжении многих лет мы призывали чешский народ под революционные знамена социализма, без которого не может быть жизни для чешского народа, без которого не может быть будущего для всего мира. Многие поняли и примкнули к нам. Но много было и таких, которых ложью и обманом завлекли в сети социал-предательства и чешского национализма. Сегодня они обрели правильный путь и идут вместе с нами. Они увеличили нашу армию. Сегодня она сильнее, устойчивее и более подготовлена к борьбе, чем когда бы то ни было. Сегодня под ее знамена собрались все прогрессивные силы чешского народа. Если бы сегодня, как в прошлые годы, мы вышли бы на улицы, для всех желающих пойти с нами не хватило бы пространства городов.

Мы это знаем. Но перекличку своих рядов Первого Мая 1941 года мы производим не на улицах и площадях, не в торжественной обстановке демонстраций, а в окопах великой битвы, готовые к решительному натиску на силы старого мира, как только пробьет наш час.

«От Пиренейского полуострова до полярного круга тянется линия фронта»,— выкрикивает Гитлер. «От Америки до ворот Индии тянется эта линия»,— старается перекричать его Черчилль. Нет. Оба ошибаются, и ошибаются жестоко. Непрерывная цепь окопов этой линии тянется через все капиталистические и зависимые от них страны, вокруг всего земного шара, от западных до восточных границ Советского Союза; и эта цепь прочно связана с гигантской крепостью социализма, в которой сегодня сотни тысяч новых бойцов непобедимой Красной Армии на свободных просторах под свободным небом присягают в верности социалистической революции. Присягнем же в этой верности и мы, находящиеся в подполье!

Да, мы в подполье, но не как погребенные мертвецы, а как живые побеги, которые пробиваются во всем мире к весеннему солнцу. Первое Мая возвещает об этой весне, о весне свободного человека, о весне народов и их братстве, о весне всего человечества.

Еще в подполье находимся мы, но и там мы куем победу свободы, победу жизни, победу самых смелых мечтаний человеческой мысли.

Победу социализма!

Подпольная брошюра, 1 мая 1941 г.

В БОЙ ВО ИМЯ СВОБОДЫ ЧЕШСКОГО НАРОДА!

Двадцать второго июня в три часа пять минут начался последний акт нацистской политики, начались последние дни нацизма. Гитлер в последний раз проявил так называемую «инициативу». Его нападение на Советский Союз является актом отчаяния, доказательством не силы, а слабости фашистского режима. Это поступок азартного игрока, которому грозит крах и который все ставит на последнюю карту в безумной надежде, что она какимнибудь чудом не будет бита. Но в истории не бывает чудес. Эта карта будет бита.

Почему Гитлер напал на Советский Союз?

Потому, что он знал, что без поражения Советского Союза он не сможет далее удерживать народы в подчинении, не сможет окончательно завоевать Европу, никогда не осуществит своих планов завоевания всего мира. Потому, что он знал, что каждая новая «победа» неизбежно влечет за собой сопротивление еще одного порабощенного народа, который все свои надежды устремляет к правде и

могуществу Советского Союза, а в силе своего сопротивления опирается на новый, справедливый, освободительный строй земли Советов. Потому, что он знал, что без поражения Советского Союза он не сможет долго удерживать свою кровавую власть даже над немецким народом!

Словом, потому, что без поражения Советского Союза все его успехи ни к чему не приведут, что на его пути к дальнейшим успехам, к дальнейшему порабощению мира стоит Советский Союз. Таковы были обстоятельства, заставившие Гитлера напасть на СССР.

Именно своим нападением на СССР он восстановил против себя все свободолюбивые народы мира, которые в этот момент встали рядом с Советским Союзом. С этим обстоятельством Гитлер не посчитался. И в этом заключается катастрофический провал планов внешней политики Гитлера, который ожидал изоляции Советского Союза, лихорадочно готовясь к этому в последние месяцы. И напрасно пытается Гитлер выпутаться из этой ситуации громкими криками о крестовом походе против большевизма. Напрасно. Но почему? Ведь с этим лозунгом Гитлер когда-то пришел к власти и первых успехов во многих случаях добился именно при поддержке тех, кто сегодня объявил ему войну. Да, это было так. Но уже на протяжении ряда лет Гитлер откровенно заявлял, что лозунг крестового похода против большевизма был маскировкой его планов, направленных в действительности против свободы всего мира, что он был ему нужен для того, чтобы расколоть мир, который, объединившись, мог бы положить конец фашизму, что для фюрера важна не идея, а добыча.

Своим предательским нападением на Советский Союз, с которым по собственному желанию менее двух лет назад он заключил пакт о ненападении, Гитлер обнажил свои истинные планы захвата мира. Он доказал всем, в том

числе и тем, которые до сих пор не сумели этого понять полностью, что фашизм — это бандитизм в государственных размерах, что ради грабежа он способен на любую подлость, что с ним не может быть настоящего мира нигде и ни в чем. Он раскрыл, да и не мог сделать иначе, перед лицом всего мира ничтожность своих целей и грубость своих методов с такой бесстыдной откровенностью, что ни в ком не осталось и тени сомнения относительно той страшной судьбы, которая постигла бы человечество, если допустить дальнейшее существование нацистской чумы. Он убедил каждого, что нет страны, независимость которой не подвергалась бы угрозе, что нет народа, который мог бы быть уверен в своей свободе и жизни, пока существует грабительский режим фашизма. Это является первым обстоятельством, почему свободолюбивые народы всего мира встали в этот момент рядом с Советским Союзом.

Нападением на Советский Союз во время войны с Англией Гитлер показал также, где он видит главную опасность, основное препятствие осуществлению его планов завоевания мира. Таким образом, он признал, что о победе фашизма не может идти и речи до тех пор, пока существует великий Советский Союз, пока этот союз свободных народов является заманчивым примером для всех народов мира, которые фашизм уже поработил или собирается это сделать. Он показал, что Страна Советов является его главным противником, которого он смертельно боится. Фашистский мракобес своим нападением на СССР признал также, что Советский Союз стоит на страже всех прогрессивных завоеваний человечества, которые фашизм хочет уничтожить, что он является защитником свободы мира, который фашизм хочет подчинить себе.

И это является другим обстоятельством, почему народы всех стран в этот момент встали рядом с Советским Союзом.

Нападением на Советский Союз после двухлетнего неистовства в странах Европы Гитлер напомнил народам мира всю историю миролюбивой советской внешней политики. И это явилось третьим обстоятельством, почему народы всех стран в этот момент встали рядом с Советским Союзом.

Теперь каждый понимает, насколько мудрой и прозорливой была политика Советской власти, как она умела смотреть далеко вперед.

С момента прихода Гитлера к власти Советский Союз ясно и конкретно указывал на очаг новой войны в Европе. Советский Союз неутомимо призывал народы и правительства воспрепятствовать массовым убийствам и развязыванию новой войны, с терпеливостью и настойчивостью убеждал он в необходимости коллективной безопасности, которая бы не позволила агрессору втянуть Европу и весь мир в безумство новой мировой бойни. Но, несмотря на все усилия Советского Союза, Европе пришлось пройти через суровые испытания массового уничтожения людей и ценностей, чтобы на обломках не только городов и деревень, но и целых государств наконец понять великую правду советской политики. И после этих испытаний, через которые прошло все человечество, Гитлер напал на Советский Союз и этим совершил то, чего больше всего боялся: он объединил против себя все силы мира, которые сметут его.

Именно на это указал товарищ Сталин в своей исторической речи третьего июля: «Что выиграла и что проиграла фашистская Германия, вероломно разорвав пакт и совершив нападение на СССР? Она добилась этим некоторого выигрышного положения для своих войск в течение короткого срока, но она проиграла политически, разоблачив себя в глазах всего мира, как кровавого агрессора».

Подпольный выпуск «Руде право»,
11 июля 1941 г.

ВСЕ МЫ БОРЕМСЯ ПРОТИВ ГИТЛЕРА

В историю народов Чехословакии была внесена новая дата: восемнадцатое июля 1941 года. В полдень этого дня советский посол в Англии от имени правительства Союза Советских Социалистических Республик и чехословацкий министр иностранных дел от имени правительства Чехословацкой республики подписали соглашение о взаимной помощи и сотрудничестве в борьбе против нацистской Германии.

Нацистская и контролируемая нацистами печать и радио строго замалчивали это известие, но уже на другой день во всей стране не было человека, который бы не знал о нем. Радостное известие переходило из уст в уста и всюду вызывало восторг и решимость бороться. Чтобы обрести свободу и сделать возможным ее полное торжество на нашей земле, необходимо прежде всего бороться, бороться самоотверженно и со всей решимостью с Гитлером и его сворой.

Что означает для нас договор о взаимной помощи с Советским Союзом и признание законного чехословацкого правительства другими странами?

Подписанием договора с Чехословакией Советский Союз объявил, что он не признает и никогда не признавал оккупации Чехословакии, что не признает и никогда не признавал мюнхенского сговора. Подписание договора с СССР и признание законного чехословацкого правительства другими странами означает, что Чехословакия опять существует в своих прежних границах, с единством своих народов, которые Гитлер хотел натравить друг на друга, чтобы облегчить их покорение и эксплуатацию. Все это означает, что Чехия вновь окаймлена венком своих гор так, как это было всегда в нашей памяти и в наших сердцах, что Черхов — чешский,

а Прадед — моравский, что Нитра не является пограничным городом.

Договор о взаимной помощи с Советским Союзом означает также, что Чехословакия как государство находится с Гитлером в состоянии войны, что она ведет борьбу вместе с дружеской Страной Советов против вооруженных сил фашизма, что борьба ведется за все чехословацкое государство, за освобождение всей Чехословакии, за освобождение всех ее народов. Поэтому в договоре о взаимной помощи с Чехословакией Советский Союз в особом пункте дал свое согласие на то, чтобы на советской территории были сформированы самостоятельные чехословацкие воинские соединения, руководимые чехословацкими офицерами. Эти соединения рядом с великой Красной Армией и вместе с ней поведут борьбу против гитлеровских захватчиков, будут добиваться победы, которая приведет нас к освобождению. Соединения чехословацкого корпуса в Советском Союзе уже формируются, чтобы с оружием в руках проложить себе дорогу на родину и сделать свободными Прагу, Брно, Братиславу.

Но договор с Советским Союзом о совместной борьбе с Гитлером воодушевляет не только наших братьев и товарищей за границами родины. Не только те, кто в Советском Союзе может свободно выступить против нашего врага, но и мы, находящиеся под гнетом его жестокой оккупации,— все мы боремся против Гитлера.

И поэтому мы являемся значительной силой в борьбе против фашизма, мы, находящиеся внутри страны, которую враг поработил, но которая не сложила оружия.

Смотрите, как воюет братский белорусский народ! Гитлер оккупировал бо̀льшую часть его земли, но на всей оккупированной территории Белоруссии нет места, где бы нацистские захватчики могли быть спокойны за свою жизнь; нет ни шоссе, ни железных дорог, по которым бы они могли безопасно передвигаться, нет ни одного бензи-

нохранилища, в котором они могли бы заправлять свои танки, кусочка хлеба, которым бы они могли утолить свой голод. Белорусские рабочие и крестьяне эвакуировали, спрятали или уничтожили все, что хотя бы на один час могло продлить жизнь фашистским варварам. Они скорее превратили бы свои обширные поля в пустыню, чем оказали бы Гитлеру какую бы то ни было, хотя бы и вынужденную, помощь. Они очень хорошо знают, что все, чем мог бы воспользоваться враг, было бы использовано против Красной Армии, отдалило бы час победы и усилило бы их собственные страдания.

Все это должны помнить и мы, находящиеся в тылу своего смертельного врага. Такой борьбы ждут от нас наши товарищи из Чехословацкого корпуса, эти наши герои, которые идут в бой за нашу свободу, полные решимости пожертвовать своей жизнью, но не сложить оружия. «Я вас не опозорю,— передает своим друзьям кладненский шахтер, работавший перед своим отъездом в Донбасс на шахтах Махавца и Шоллерца.— Я вас не опозорю, я буду бить гитлеровских палачей так, как надлежит жителю Кладно. А вы на родине объединяйтесь и не упускайте возможности наносить удары гитлеровским палачам. Ни одного килограмма угля нацистской военной промышленности! Помните, что все мы боремся против Гитлера!»

Металлист из Млада Болеслава при вступлении в ряды Чехословацкого корпуса в СССР приветствует своих товарищей: «До встречи в свободном отечестве! Дома приложите руки к тому, чтобы это свидание состоялось как можно скорее». То же говорит нам и полковник генерального штаба чехословацкой армии, глава чехословацкой военной миссии в Советском Союзе:

«Не забудьте, что все мы, находящиеся за границей и живущие на родине, образуем единую армию. Все мы должны приносить величайшие жертвы, чтобы обеспечить

свободу и мир. Пришло время, когда наш народ может ускорить поражение гитлеровского режима, когда наш народ должен усилить борьбу против тирании и таким образом содействовать ее поражению. Вы должны создать на родине такую обстановку, чтобы у немецких оккупантов горела земля под ногами».

Горняк, металлист и полковник...— а как много общего в их словах, обращенных к нам, какое единство мысли, воли и действий! Да, единство действий! Единство в борьбе против Гитлера, за свободу Чехословакии! Это единство не на словах, а на деле. А этим делом должна быть наша борьба против Гитлера, борьба всесторонняя и постоянная, борьба всеми средствами, везде, при любых обстоятельствах.

Рабочий класс Чехословакии уже показывает великий пример этой борьбы своим все возрастающим сопротивлением и саботажем. На чехословацких автомобильных заводах для Гитлера были изготовлены автомобили, которые проехали только шестьдесят километров. На чехословацком авиазаводе были выпущены такие бомбовозы, которые не поднимали даже самих себя. На Восточном фронте красноармейцы нашли неразорвавшиеся гранаты, и на одной из них, наполненной песком, красноречивые, по-русски написанные слова: «Делаем, что можем. Братья чехи». По чехословацким железным дорогам уже проехали поезда с цистернами бензина, которые на станциях назначения оказались пустыми. Один из важнейших железнодорожных путей в Чехословакии (Прага — Пльзен — Верхний Брод) был серьезно поврежден именно в те часы, когда по нему должно было проехать шесть больших воинских транспортов. Состав, груженный самолетами, сгорел в пути. Поезд с амуницией был взорван. На некоторых оружейных заводах рабочие отказались работать сверх нормы. Производительность труда на всех крупных заводах стремительно падает. Станки все чаще

выходят из строя. Рабочие Чехословакии, показывая пример остальным, стоят в авангарде нашей борьбы против Гитлера.

Но и чехословацкие крестьяне уже включаются в борьбу. Гитлеровские грабители уже успели убедить их в том, что крестьянам ничего не остается от результатов их тяжелого труда, что у них отнимут все, чтобы продолжать войну.

Крестьяне уже понимают, что каждый килограмм хлеба, который продлит жизнь нацистов, сокращает их собственную жизнь, жизнь их семьи, жизнь всего народа.

И во многих местах из всего этого начали делать такие же выводы, какие на своей оккупированной земле сделали белорусские крестьяне.

Несмотря на любовь к земле и ее плодам, несмотря на меры, предпринятые фашистами, мы лучше сами сожжем урожай на полях, чем отдадим его гитлеровским бандам.

Уже проявляется саботаж и в учреждениях. Нацистские оккупанты обеспокоены и напрасно стремятся введением военного положения в разных областях страны остановить рост освободительной борьбы. Они знают, что это только начало, и боятся его продолжения.

Да, это только начало. Это начало великой борьбы, которую должна вести вся Чехословакия в тылу фашистского врага. Все народы Чехословакии должны бороться одним фронтом, чтобы ускорить падение Гитлера. Фашисты должны бояться каждого своего шага на чехословацкой земле, они ни секунды не должны быть уверены, что доживут до следующей минуты. Священная война за свободу нашей страны должна разгореться на всех ее просторах, на всех наших заводах, полях, железнодорожных путях, во всех городах и селениях. Все мы плечом к плечу, без колебаний, без страха перед собственными жертвами, без милосердия к врагу должны выступить против гитлеровских оккупантов. Все!!! Тот, кто в эту минуту

пытается устраниться от борьбы, тот изменяет народу, тот не имеет права решать его будущее.

Нацистам не удалось сломить нашего сопротивления ни угрозами, ни убийствами, ни концентрационными лагерями, ни глупейшей психической атакой на нервы и сердца людей.

Но теперь мы стали сильнее. Годы пассивного сопротивления остались позади. Мы начинаем активную борьбу. Мы переходим в контратаку, ибо только так мы можем завоевать свободу, только так мы можем спасти будущее Чехословакии.

В бой! Все мы боремся с Гитлером! Каждый гражданин Чехословакии — солдат антигитлеровской коалиции. Пусть удар за ударом падает со всех сторон на фашистских извергов, чтобы ни на минуту они не могли опомниться.

Саботируйте все военные, продовольственные и административные мероприятия фашистов. Разрушайте, уничтожайте, сжигайте все, что необходимо для ведения войны. Сделайте невозможным каждое их движение по нашей территории. Отважно боритесь, как борются советские партизаны! Боритесь с находчивостью, решимостью и силой, достойными народа гуситов! Не бойтесь врага! Не обращайте внимания на его численное превосходство. И никогда не убегайте от врага.

Подпольный выпуск «Руде право» № 8,
конец июля 1941 г.

НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ!

— Что нового? — вместо приветствия спрашивают люди при встрече.— Что за границей? Какова ситуация на фронте? Когда будет разбит Гитлер? Как будет выглядеть будущая Чехословакия? — такие и подобные им вопросы обнаруживают большой интерес людей к поли-

тике. И это понятно. Теперь каждый думает о политике и живет ею, и это хорошо. Но у нас немало таких людей, которые больше информированы о том, что делается за границей, чем о положении внутри страны. Это уже плохо. Нам необходимо знать, что делается на фронте и за границей, но эта осведомленность только тогда приобретает смысл, когда мы сделаем из нее необходимые выводы для нашей непосредственной работы в стране. Да, фронт протянулся по всему миру: и на западе, и на востоке, и в Средиземном море, и в Африке,— но наш боевой участок фронта находится здесь, на нашей земле.

Сегодня вопрос стоит совершенно не о том, за кого мы. В этом наш народ един: против нацизма, за СССР и его союзников.

Но одной ненависти к врагу и симпатии к Советскому Союзу — мало. Только чувства не принесут нам освобождения. Нужно действовать. Борьба против врага не должна вестись только на востоке, на западе, в Средиземном море, в Африке. Она должна вестись и у нас. И поэтому наш участок фронта должен быть прежде всего в Чехословакии. И если мы еще не можем вести войну по всем правилам военного искусства, то у нас есть безграничные возможности вести ее так, как позволяют это наши силы — силы всего нашего народа и каждого из нас, кто может и должен бороться.

Много простых людей уже научились тому, как пускать под откос поезда, как рвать телефонную и телеграфную связь и тем самым нарушать передвижение военных грузов по железным дорогам, как выводить из строя вагоны, как снижать производство танков, как выпускать брак. Они научились множеству способов мелкого саботажа. Это уже дает свои результаты. Но сейчас речь идет о том, чтобы то, что сегодня делают тысячи, начали делать десятки и сотни тысяч, чтобы это делал весь народ...

Не думайте, что вы бессильны, если в вашем распоряжении нет хотя бы тонны динамита; наши рабочие руки — это динамит, который может разрушить все планы Гитлера, рассчитывающего на чешский транспорт, промышленность и земледелие.

Речь сейчас идет о том, чтобы все участвовали в этом деле. Сила мелких актов саботажа — в их множестве. Помните, как поется в песне: «Каждый пройдет свой метр, мы приложим метр к метру и продвинемся против течения на сотни километров».

Но борьба с Гитлером означает не только саботаж; она должна быть на каждом шагу, при любых обстоятельствах. Власти протектората опять сообщили о снижении норм продовольствия для чешского населения, а нацистская саранча ведет себя еще наглее, обкрадывая наш народ и обрекая его на голод. Не давать морить себя голодом! Таков приказ народной самообороны. Одновременно это означает активную борьбу против Гитлера, удар по основам его грабительского режима. И первое место в этой борьбе принадлежит чешским женщинам.

Рабочий класс понял свою роль в этой борьбе и уже начал действовать. Ряд забастовок на пражских металлургических заводах, забастовки в Кладно и Брно, демонстрация женщин перед закрытыми магазинами в Праге, демонстрации голодных в Подебрадах и пр.— все это указывает на то, что чешский народ начинает осознавать, где его место и как надо действовать. И это должен осознать и в соответствии с этим действовать каждый, все, весь наш народ.

От пассивного сопротивления — к активной борьбе миллионов — таков наш лозунг, таково должно быть содержание нашей борьбы на этом новом этапе. Важно, чтобы теперь люди при встрече не спрашивали друг у друга: «Что нового?», а, наоборот, с гордостью заявляли друг другу: «Слыхал новость? Сегодня на нашем заводе,

в нашем селении, на нашей улице, на нашей станции мы нанесли Гитлеру еще один удар и приблизились к победе».

Нужно действовать, ибо только действие может освободить нас.

Не смотрите только за границу, помните, что за границей смотрят на нас и оценивают нашу деятельность. Будем и дальше следить за событиями на фронте, но главное — создадим боевой фронт здесь, на нашей земле. Не будем ждать поражения нацизма, а будем наносить ему удар за ударом на каждом шагу, каждую минуту, чтобы приблизить час этого поражения, чтобы сократить срок своих страданий. Станем же наконец активными помощниками Красной Армии! Не забывайте, что поражение фашизма является первым условием для обеспечения свободной жизни народа.

На каждое наступление врага отвечайте контрударом. Отказывайтесь работать за низкую плату. Боритесь против дороговизны всеми средствами, и прежде всего забастовками. Добивайтесь повышения заработной платы. Добивайтесь снабжения населения продуктами в достаточном количестве. Категорически отказывайтесь работать сверх нормы и ни в коем случае не допускайте повышения производительности труда. Работайте так, чтобы производительность каждого рабочего систематически снижалась!

Каждое действие, ослабляющее врага, имеет теперь большое значение. Нельзя свою ненависть к фашизму и чувство дружбы к СССР ограничивать только красивыми словами.

Нужно действовать — таков категорический приказ времени.

Пусть каждый из вас станет человеком действия!

Подпольный выпуск «Руде право» № 9, сентябрь 1941 г.

28 ОКТЯБРЯ И 7 НОЯБРЯ

В дни великой борьбы за жизнь и свободу народов мы вспоминаем о двух великих днях прошлого, которые нам указывают направление и освещают путь в будущее: 7 ноября 1917 года — начало Великой социалистической революции народов России — и 28 октября 1918 года — день нашего национального освобождения.

Это сопоставление дат не случайно. Между ними глубокая внутренняя связь, *закономерная историческая связь: если бы не было 7 ноября, не было бы и не могло быть нашего 28 октября.* В ноябре 1917 года в страшном грохоте войны, потрясшей весь мир, с востока раздался голос свободы: конец войне, конец порабощению народов и эксплуатации человека человеком, которая приводит к войнам. Мы устанавливаем *новый строй, строй свободы и справедливости,* воплощающий высшие идеалы человечества. Трудящиеся всех стран, мы показываем вам пример!

Это был голос, который потряс весь мир, поколебал в Европе основы многих старых институтов, подорвал их устои, освободил в европейских странах революционные силы и указал перспективу борьбы. Право наций на самоопределение, осуществленное Великой Октябрьской социалистической революцией, явилось увлекающим примером для всех порабощенных народов Европы. В нем черпало свою силу освободительное революционное движение малых народов, и особенно народов славянских стран на юге и в центре Европы. Из него выросло и наше 28 октября. Великая Октябрьская социалистическая революция до основания изменила жизнь и лицо российской земли, она показала всему миру гигантскую творческую силу рабочего класса, приведшего эту революцию к победе. Но самое большое влияние на движение малых народов оказала национальная политика Советов, благодаря которой царская

Россия из «тюрьмы народов» превратилась в страну свободных народов. Все народы Советского Союза — большие и малые — равны между собой, каждый из них сам определяет свою судьбу, самостоятельно и с братской помощью других народов развивает свою промышленность и сельское хозяйство, поднимает свое благосостояние и культуру. Свобода каждого из народов неприкосновенна и гарантированна! Именно это обстоятельство произвело глубокое впечатление на все малые народы. Если, например, в 1914 году чехи, вступая в войну, надеялись на некоторые уступки Вены в рамках австрийской монархии, *то после 7 ноября 1917 года у них не было даже и мысли о каком бы то ни было компромиссе с Австрией.* Идея самоопределения народов, которая победила на одной шестой части мира, наполнила наше 28 октября новым содержанием — не требованиями частичных уступок, а решительным требованием свободной, независимой Чехословакии.

И эта глубокая связь, кровное родство двух великих дат в истории народов СССР и народов Чехословацкой республики продолжали существовать и никогда не прекращались. Каждый из нас понимает теперь, что любой наш внутренний и внешний враг был врагом Советского Союза, а любой враг Страны Советов всегда был главным врагом нашей земли.

Мюнхен — это проявление поразительной политической близорукости — был частью антисоветской политики, направленной против всех малых народов. Всем своим строем, всей своей внутренней и внешней политикой Советский Союз всегда был могучим защитником малых народов. Поэтому для нас он всегда был верным союзником, поэтому для Гитлера он был главным препятствием на пути его грабительских планов по отношению к малым народам. Гитлер знает, что, если он не победит Советский Союз, он никогда не преодолеет силу сопротивления пора-

бощенных народов Европы, силу, опирающуюся на правду и справедливость Страны Советов. Это также явилось одной из причин его нападения на Советский Союз.

Но этот шаг стал концом Гитлера. Ибо, несмотря на временные удачи, за которые он платит неслыханными потерями, он никогда не преодолеет силу Советского Союза. Советская страна — это уже не «колосс на глиняных ногах», как некогда называли царскую Россию.

СССР — не царская Россия, которая разваливалась и должна была развалиться изнутри. Революция 7 ноября и замечательное социалистическое строительство на протяжении последующих двадцати четырех лет превратили Советскую страну в мощную крепость нового строя, наполнили ее непобедимым духом свободы. В районах, недосягаемых для противника, была создана новая, социалистическая промышленность, были воспитаны миллионы новых, социалистических людей, сильных и мужественных, проникнутых бесконечной любовью к свободе и свободному отечеству, миллионы людей, которые не сложат оружия до тех пор, пока хоть один фашист будет находиться на советской земле.

Эта борьба может окончиться только полнейшим крахом Гитлера. И в этой борьбе, как и двадцать четыре года назад, решается и наша судьба.

Страна 28 октября не на жизнь, а на смерть связана со страной 7 ноября, связана не словами, а делом, общими интересами, общими жертвами и общей победой.

Беспредельный героизм Красной Армии и всего советского народа, несокрушимая отвага и воля к свободе народов Чехословакии допишут к великим датам прошлого наших народов новую общую, навеки памятную дату — день поражения и уничтожения коричневых диких зверей, день рождения новой, свободной и справедливой Европы.

Подпольный выпуск «Руде право» № 11,
ноябрь 1941 г.

СООБЩА, ОРГАНИЗОВАННО И УПОРНО ДОБИВАТЬСЯ ПОБЕДЫ

Мы родились под бури грохотанье;
К великой цели через мрак и грязь
Проходим шаг за шагом испытанья,
Лишь пред своим народом преклонясь.
Всего, что с нами будет, ожидали.
Мы не страшились бури и невзгод,
Мы с чешскою судьбой себя связали,
И с ней вперед, и только лишь — вперед!

Да! Наш народ, закаленный в многовековой борьбе, народ Гуса и Жижки, Прокопа Голого и Коменского, народ Гавличека и Неруды, народ мучеников и борцов за свободу, без которой он не может жить,— такой народ не сложит оружия в борьбе за нее: «И с ней вперед, и только лишь — вперед!»

Палачи приходили и исчезали в глубинах истории, а непобедимый народ жил, рос и укреплял свои силы. Его не сломили ни войска крестоносцев, согнанные со всей Европы, ни казни на Староместской площади после Белогорской битвы, его не сломило ни многовековое рабство, ни позорное мюнхенское предательство, его не сломил даже кровавый террор гитлеровского палача Гейдриха, его не сломит ничто, какие бы испытания ни готовило ему ближайшее будущее. То, что не удалось Габсбургам, не удастся и гитлеровским убийцам.

Народ будет жить, и хорошо будет жить, когда Гитлер, Геббельс, Нейрат, Гейдрих, Моравец, Вайтауэр, Вернер и им подобная падаль будет выброшена на свалку истории. Еще, вероятно, спорят о дате, но уже во всем мире никто не сомневается, что очень скоро Гитлер будет разбит, а гитлеризм вырван с корнем и уничтожен.

Много жертв приносит сейчас наш народ во имя борьбы за свое освобождение. Но кровь сотен казненных и замученных, вздохи тысяч заключенных не могут остановить наш народ от дальнейшей борьбы, не могут ни испугать народ, ни сломить его воли к победе. Наоборот, кровь и стоны взывают о мщении, они призывают к активной борьбе.

Погибли рабочие и солдаты, ремесленники и учителя, погибли «соколы» и коммунисты, погибли католики и протестанты. Но никто из них не будет забыт, никто из них не останется неотомщенным; их жертвы не были напрасны. На место павших встанут десятки и сотни тысяч новых борцов, мужественных сынов и дочерей народа. Из единства мысли вырастает мощное единство действий, единство организованной, дисциплинированной, упорной и настойчивой борьбы.

Два наиболее организованных отряда нашего народа, руководимые Центральным чехословацким комитетом национального сопротивления и Центральным Комитетом Коммунистической партии Чехословакии, подали друг другу руки и в братской совместной работе образовали общий руководящий орган нашей отечественной борьбы за свободу: Центральный народно-революционный комитет. Это великий, исторический шаг вперед. До сих пор различные слои населения боролись против Гитлера изолированно, и это препятствовало полной реализации боевых сил народа. Такое положение теперь устранено, и созданы условия для единого руководства борьбой. В обращении к народу Центральный народно-революционный комитет призвал к организованной борьбе, к образованию местных народно-революционных комитетов, к подготовке и созданию массовых вооруженных отрядов — к созданию народно-революционной гвардии. Усилить борьбу, вести ее организованно и единым фронтом — вот те задачи, которые были выдвинуты и которые, без сомнения, будут решены.

Нам предстоит тяжелая борьба с еще сильным, опьяненным мнимыми успехами врагом, единственными аргументами которого являются грабеж и убийства, а политической целью и программой — истребление народов; перед нами враг, каждый день жизни которого стоит тысяч жизней. Но надо помнить и то, что враг истекает кровью от мощных ударов, которые уже нанесла ему Красная Армия, от мелких ударов, которые ежедневно наносят ему народы порабощенных стран Европы.

Наша страна с ее промышленностью, с разветвленной сетью железных дорог, с ее продуктивным сельским хозяйством, своим географическим и политическим положением жизненно важна для гитлеровской системы. Оружием, изготовленным у нас и перевезенным по нашим железным дорогам, Гитлер восполняет потери, которые нанесла ему Красная Армия; нашим хлебом, маслом и мясом он кормит орды коричневых убийц, запасами, украденными у нас и у наших детей, он подавляет возрастающее беспокойство в Германии.

Мы должны воспрепятствовать всему этому!

Наш народ не смеет и не будет молча смотреть, как его грабят и убивают, как оружием, созданным его руками, хотят уничтожить тех, кто борется за его же освобождение. Каждая попытка Гитлера принудить нас к слепому послушанию должна провалиться, и при сознательной решимости всего народа все его попытки постигнет печальный конец. Позволить взять Гитлеру как можно меньше, выработать для него как можно меньше и в конце концов не дать ему ничего — такова наша обязанность, таков наш жизненный интерес. Организация активного сопротивления — главнейшая задача народно-революционных комитетов.

Что является нашим оружием? Гитлеровские агенты с удовольствием наговорили бы нам, что наше оружие не оказывает никакого действия, что применение его так же безуспешно, как применение игл ежа против танков, что

оно так же ничтожно, как укусы комара. И все-таки они смертельно боятся нашего сопротивления. Пускай мы будем бороться «комариными укусами», как определяют нашу борьбу фашисты. Но если каждый день 70 тысяч чешских железнодорожников «ужалят», подсыпав в подшипники только пару песчинок, то ежедневно будут выведены из строя 70 тысяч вагонов и паровозов. Если бы раз в неделю каждый наш крестьянин продал без карточек для чешского ребенка хотя бы одно яйцо, чешские дети получили бы на миллион яиц больше, и этот миллион не достался бы гитлеровским головорезам. Если каждый из миллиона чешских оружейников ежедневно станет выпускать на один винтик меньше, это составит миллионы винтиков, которых будет недоставать гитлеровской военной машине. Если 30 тысяч чешских врачей продлят хотя бы на один день в неделю бюллетени своих пациентов-рабочих, промышленность потеряет в неделю 300 тысяч рабочих часов. Если 150 тысяч чешских служащих и работников различных учреждений задержат хотя бы на два часа спешные бумаги, это составит 300 тысяч часов, на которые будут задержаны все мероприятия, направленные против нас в интересах врага.

Если каждый чех ежедневно повсюду, где только возможно, ужалит фашистского зверя, то пребывание врага на чешской земле превратится в настоящий ад. Зверь будет знать, что ему не залечить своих ран на нашей земле, что укус миллионов комаров несет верную гибель.

Именно в единении и массовости состоит сила нашего оружия. Силы нашего народа, объединенные и направленные к одной цели, безграничны. И как бы ни бесилась гитлеровская свора, силы эти будут использованы так, как это наиболее выгодно и полезно для народа и наименее выгодно для нее.

Так мы идем и будем идти впредь. Мы пойдем организованно, дружно, уверенные в окончательной победе. Объ-

единенные внутри страны и связанные с прогрессивными силами всего мира, мы вместе со всем человечеством скажем последнее слово: Гитлер будет уничтожен!

Подпольный выпуск «Руде право» № 11, ноябрь 1941 г.

ПОД ЗНАМЕНЕМ КОММУНИЗМА

Январь — месяц Ленина, Либкнехта, Люксембург. Память трех великих людей мы чтим в этом месяце.

Пятнадцатого января 1919 года в Берлине были убиты мужественные борцы против войны и германского империализма — Карл Либкнехт и Роза Люксембург.

Двадцать первого января 1924 года в Горках под Москвой перестало биться благородное и прекрасное сердце нашего учителя и первого воина победоносной социалистической революции — Ленина.

Эти три великих имени мы вспоминаем сегодня — вспоминаем их в бою. Воспоминание о них никогда не было для нас связано с остановкой или поворотом назад, их знамя всегда веяло перед нами. Среди плача сирен и безмерной скорби миллионов над открытым гробом Ленина прозвучало слово жизни, слово, обращенное вперед, в будущее: «Умер Ленин — жив ленинизм!»

Жив!

Умер Ленин, умерли Либкнехт и Люксембург, но живо их дело. Живет первая в мире социалистическая страна — Союз Советских Социалистических Республик. Жива и несокрушима Коммунистическая партия, жива всемирная армия бойцов за свободу человечества. Живо неодолимое, не знающее преград стремление осуществить самые высокие человеческие идеалы, о которых веками мечтали лучшие умы человечества, идеалы, которым отдали свои силы Ленин, Либкнехт, Люксембург.

Нет с нами Ленина, Либкнехта и Люксембург, нет уже тысяч и сотен тысяч других благородных борцов, безвременно погибших, замученных, убитых,— но жива идея, которой они служили, которой руководствовались, жив пример, оставленный тем, кто занял их место в боевом строю, живо все, что они создали, ибо они делали это не для себя, а для человечества. Живут, все множатся и все крепнут многомиллионные ряды новых борцов, под знаменем Ленина — Либкнехта — Люксембург они идут все вперед, все вперед, к окончательной победе коммунизма.

«Мы, коммунисты,— люди особого склада. Мы скроены из особого материала. Мы — те, которые составляют армию великого пролетарского стратега, армию великого Ленина. Нет ничего выше, как честь принадлежать к этой армии. Нет ничего выше, как звание члена партии, основателем и руководителем которой является товарищ Ленин...» — так начинается клятва, которую в дни траура по Ленину дал от имени партии на II съезде Советов товарищ Сталин.

Мы люди особого склада. Да, именно потому, что мы люди.

Мы, коммунисты, любим жизнь. Поэтому мы не колеблемся, когда нужно пожертвовать собственной жизнью для того, чтобы пробить и расчистить дорогу настоящей, свободной, полнокровной и радостной жизни, заслуживающей этого названия. Жить на коленях, в оковах, порабощенными и эксплуатируемыми — это не жизнь, а прозябание, недостойное человека. Может ли настоящий человек, может ли коммунист довольствоваться такой жизнью, может ли он покорно подчиняться рабовладельцам и эксплуататорам? Никогда! Поэтому коммунисты не щадят сил своих, не боятся жертв в борьбе за настоящую, подлинно человеческую жизнь.

Мы, коммунисты, любим людей! Ничто человеческое нам не чуждо, мы ценим самые маленькие человеческие

радости, умеем им радоваться. Именно поэтому мы не колеблемся в любой момент поступиться своими личными интересами для того, чтобы добыть место под солнцем для настоящего, свободного, здорового, радостного человека, не отданного на произвол анархического «порядка» эксплуататоров с его ужасами войн и безработицы. Строй, при котором прибыль, прибыль и еще раз прибыль — главный стимул поведения человека, строй, при котором отношения между людьми подменены отношениями куплипродажи, а деньги ставятся выше, чем человек, такой строй недостоин человека. Может ли тот, кто любит человечество, может ли коммунист бездеятельно созерцать, как людей лишают человеческого достоинства, может ли он поворачиваться спиной к миллионам своих задавленных нуждой и страданиями братьев? Никогда! Вот почему коммунисты не жалеют сил и не боятся жертв в борьбе за полноценного, свободного, действительно человечного человека.

Мы, коммунисты, любим свободу. И поэтому мы, ни минуты не колеблясь, добровольно подчиняемся строжайшей дисциплине своей партии, воинской дисциплине армии товарища Ленина, чтобы завоевать свободу подлинную, широкую, единственно достойную этого названия — свободу для всего человечества. Свобода для избранных, «свобода» разбойничать для одних и «свобода» умирать с голоду для других — это не свобода, это, наоборот, всеобщее рабство. Может ли коммунист довольствоваться такой свободой, может ли он довольствоваться какой-нибудь личной идиллией при такой «свободе»? Никогда! Вот почему коммунисты не щадят своих сил и не боятся жертв в борьбе за подлинную свободу, свободу все большую, свободу для всех.

Мы, коммунисты, любим созидательный труд, любим растущую стройку, в которой рождается грядущее человечество. Поэтому мы ни на минуту не колеблемся раз-

рушить то — и только то! — что преграждает путь прекрасным творческим устремлениям человека. Тысячи, сотни тысяч талантов, которые могли бы приумножить культуру человечества, усовершенствовать его организацию, поднять технику на небывалую высоту, тысячи, сотни тысяч таких талантов пропадают сейчас втуне. Миллионы и десятки миллионов трудолюбивых и ловких рук, которые могли бы создать для людей избыток всего, что им нужно, вынуждены бездействовать во время кризисов, которые все учащаются. Может ли коммунист не видеть, какой громадный ущерб все это наносит обществу? Нет, не может! Поэтому коммунисты не щадят своих сил и не боятся жертв в борьбе за создание такого строя, при котором найдут применение и полностью развернутся все творческие силы общества и каждого человека.

Мы, коммунисты, любим мир. Поэтому мы сражаемся. Сражаемся со всем, что порождает войну, сражаемся за такое устройство общества, где уже никогда не смог бы появиться преступник, который ради выгод кучки людей посылает сотни миллионов на смерть, в бешеное неистовство войны, на уничтожение ценностей, нужных живым людям. Нет и не может быть мира там, где человек вынужден драться с человеком из-за куска хлеба. Вот почему мы, коммунисты, не щадим сил и не боимся жертв в борьбе за подлинный мир, за мир постоянный, за мир, обеспеченный новой организацией человеческого общества.

Мы, коммунисты, любим свой народ. Ведь человечество не может быть свободным, его творческие силы не могут свободно развиваться, прочный мир не может быть обеспечен до тех пор, пока хоть один народ будет угнетен. Подлинная свобода невозможна, если хотя бы один народ угнетает другой. И ни один из своих великих идеалов мы не хотим и не можем осуществить каким-либо

иным путем, кроме того, который присущ нашему народу, ибо иначе эти идеалы не смогли бы осуществиться, не были бы жизненны. Мы любим свой народ, как верные его сыны. Поэтому мы гордимся всем тем, что он дал и дает для расцвета и славы человечества, а тем самым и для собственного расцвета и славы. Поэтому мы выступаем против всего, что позорит наш народ, что паразитирует на нем и ослабляет его. Да, мы любим свой народ, вот почему мы не щадим сил и не боимся жертв в борьбе за полное его освобождение, за то, чтобы он, как равный среди равных, свободно жил среди свободных народов мира.

Все это ставит перед нами огромные задачи.

Выполнять их и выполнить — к этому нас обязывает высокая честь принадлежать к всемирной армии великого пролетарского стратега, армии товарища Ленина. Выполнять их и выполнить — это значит беречь как зеницу ока единство и чистоту рядов этой армии, единство и чистоту рядов Коммунистической партии. Выполнять и выполнить их — это значит все больше и больше мобилизовывать лучшие силы народа и всего человечества, значит привлекать на свою сторону все больше и больше союзников, значит всегда быть с массами и постоянно, неутомимо и терпеливо вести их, неустанно объяснять им, куда идет историческое развитие и к чему их — в их собственных интересах — обязывает это развитие. Это значит — всегда и везде быть примером ясной, высокой сознательности, мужества, преданности, самоотверженности и целеустремленности.

Это относится к тебе, товарищ коммунист, к тебе, боец армии Ленина. Где бы ты ни работал, на каком бы форпосте революции ни сражался за свободу человечества, кем бы ты ни был — одиноким дозорным на передовом посту или узником в застенках тиранов,— всегда, каждый день отчитывайся перед собой в своих действиях

и своих мыслях, ставь перед собой вопрос, достоин ли я чести быть воином армии великого Ленина, способен ли верно выполнять клятву, которую дал за меня товарищ Сталин, достаточно ли я расту, чтобы и в дальнейшем выполнять задачи, поставленные перед нами историей?

Это относится и к тебе, сочувствующий нам друг. Где бы ни было твое место в рядах борющегося народа, к какому бы социальному слою ты ни принадлежал — постоянно думай о том, чтобы твои симпатии облекались в активную форму, чтобы ты все теснее сотрудничал с нашей партией, чтобы ритм твоих шагов все больше совпадал с ритмом ее походного марша, чтобы однажды ты сам смог вступить в ее ряды, заняв место тех, кто был тебе примером и пал в жестоком бою.

Это относится и к вам, кто еще недавно не знал нас, к вам, кто когда-то с недоверием косился на нашу партию, а потом пошел с нами плечом к плечу, в едином фронте освободительной войны против гитлеровских бандитов. Мы знаем, что вы внимательно приглядываетесь к нам, знаем, что наблюдаете за всеми нашими действиями. Да, смотрите хорошо, наблюдайте за каждым нашим шагом, разбирайте и критикуйте каждый наш поступок. Нам нечего скрывать от вас, нечего таить от народа.

На глазах у вас, перед лицом всего народа, в бою за его свободу мы проходим огонь тяжелейшего испытания, и самый заклятый наш враг не отважится сказать, что мы где-нибудь отступили, что мы в чем-нибудь изменили себе. Смотрите хорошо, и вы поймете, почему это так. Поймете то, что уже начинает понимать большинство человечества: что нет иного пути к свободе, миру и счастью всех людей, кроме того, которым идем мы. И вы поймете, что, кто не идет с нами, тот идет против самого себя!

Из всех партий Чехословацкой республики только одна-единственная, как нерасторжимое целое, прошла сквозь огонь, только одна удержалась, только одна осталась партией и сражается в эти тягчайшие для народа времена. Это — Коммунистическая партия! Случайность ли это? Нет, не случайность и не может быть случайностью!

Коммунистическая партия существует не только потому, что она внутренне сильна и жизнеспособна в любой обстановке, она живет прежде всего потому, что она объективно необходима, что ее существование обусловлено всей обстановкой современности, что она исторически необходима.

Если бы наш партийный билет был лишь выгодным документом, открывающим дорожку к теплому местечку, к какой-нибудь синекуре, Коммунистическая партия развалилась бы как карточный домик под напором бурных событий. Если бы Коммунистическая партия воспитывала свои кадры в слепоте, скрывала от них действительность, она не смогла бы противостоять напору врага. Но партийный билет коммуниста — это воинская книжка солдата армии, сражающейся за свободу, и в бою за эту свободу воспитываются кадры коммунистов. Вот почему они никогда не изменяют себе, вот почему они не слабеют, а все крепнут и растут. Они ясно видят, что предельное обострение этой борьбы предвещает близость победы.

Нам, чехословацким коммунистам, жилось нелегко. В первой республике нас преследовали, сажали в тюрьмы, выгоняли с работы, закрывали наши газеты, лишали нас средств существования. А уничтожили нас? Нет! Наоборот, сотни тысяч новых бойцов поняли наконец нашу правоту, присоединились к нам, и мы более сильными вступили в период Второй буржуазной республики.

Первым актом правительства этой Второй республики был роспуск Коммунистической партии, усиленные

гонения на ее членов. Нас преследовали, арестовывали, закрыли все наши газеты и журналы, выдавали нас гестаповцам, всячески старались нас уничтожить. А уничтожили? Нет! Наоборот, сотни тысяч новых бойцов еще глубже поняли, что мы правы, они присоединились к нам, и наша партия еще более окрепшей вступила в открытую борьбу с гитлеровскими оккупантами.

После вторжения гитлеровцев в нашу страну началось самое свирепое, самое зверское преследование всех коммунистов. Нам наносят тяжелые удары, нас бросают в тюрьмы, мучат, убивают, всячески стараются нас уничтожить, истребить физически. А уничтожили нас? Нет! Наоборот, наши силы растут с каждым днем, новые бойцы из народа приходят под наши знамена, усиливают наши ряды для последней, решающей битвы.

Почему это так? Почему даже самым свирепым террором невозможно уничтожить Коммунистическую партию, почему она, наоборот, все крепнет и растет?

Потому, что мы делаем все, что нужно сделать, чтобы человечество шло вперед, к прекрасному будущему. Мы не сами придумали свои задачи, мы лишь глубоко познаем и осмысливаем задачи, которые выдвигает перед человечеством история и которые рано или поздно должны быть разрешены.

Потому, что мы стремимся к тому, чтобы именно эти задачи были выполнены как можно скорее, ибо всякая затяжка обходится человечеству страшно дорого. Сейчас каждый понимает, каких ужасающих жертв стоит миру попытка фашистов повернуть назад колесо истории. Тот, кто пытается сделать это, неизбежно будет раздавлен. Того же, кто помогает ходу истории, невозможно уничтожить.

Потому, что мы опираемся на величайшую силу современной истории — рабочий класс, на его сознание своей исторической роли, на его гигантскую, выкованную

в боях международную организацию, на его победоносное государство — Союз Советских Социалистических Республик.

Потому, что правда за нами, и этот факт осознают все новые и новые миллионы людей по собственному, к сожалению по большей части горькому, опыту.

Каждый из первых пяти конгрессов Коминтерна подчеркивал, что после первой мировой войны опасность войн не исчезла, что только сознательной борьбой можно предотвратить новую массовую бойню на всех фронтах мира. VI конгресс Коминтерна уже вполне ясно и прямо указал, что угроза новой мировой войны реальна и надо, не теряя ни одного дня, мобилизовать массы на борьбу против войны. У нас в Чехословакии тогда много болтали о «мире на сто лет», а нашу правду об угрозе войны преследовали всеми средствами — от насмешек до тюрьмы. Сейчас, однако, всякому ясно, каким вредным для нашего народа, для всей нации было это убаюкивание, это внушение необоснованного спокойствия и ложной уверенности в «обеспеченном» мире.

Мы, коммунисты, были правы, когда, видя угрозу войны, уже давно призывали объединить все силы для того, чтобы предотвратить ее. И нам удалось отдалить войну, удалось выиграть драгоценное время, необходимое для того, чтобы прогрессивные силы мира и их авангард — Советский Союз — могли как следует подготовиться. Но можно было и предотвратить войну, можно было предотвратить грозное мировое бедствие, если бы большая часть человечества вовремя поняла нашу правду, как она понимает ее сейчас.

Седьмой конгресс Коминтерна и вся мирная политика Советского Союза, руководимого Коммунистической партией, показали человечеству, что мир неделим, что весь

земной шар будет втянут в новую войну, если только допустят где-либо какие-либо военные действия фашистских захватчиков. VII конгресс Коминтерна подчеркнул, что нельзя рассчитывать на локализацию войны или ограничение агрессивных замыслов немецкого фашизма и японского империализма только походом на СССР или на какой-либо маленький народ. Конгресс подчеркнул, что своими уступками и содействием поджигателям войны в Европе и на Дальнем Востоке английская буржуазия приближает новую мировую войну, в которую неизбежно будет втянута и Британская империя...

Все это мы говорили не с запозданием, не тогда, когда это уже стало фактом, а заблаговременно, в 1935 году, за четыре года до гитлеровского вторжения в Чехословакию, за год до вторжения немецких и итальянских фашистов в демократическую Испанию. Но в нашей стране тогда шли разговоры о том, что, мол, нечего нам вмешиваться в дела, которые фашизм творит где-то в других странах, что судьба испанского народа — не наше дело, надо, мол, радоваться, что грабительские аппетиты фашистского «соседа» устремлены не на нас; английская политика «невмешательства» — это, мол, самая правильная политика и для нас. Сейчас уже всякому ясно, что эта страусовая «политика» могла привести только к мировой войне; страдания, какие испытал испанский народ, постигли и англичан, и чехов, и все другие народы Европы. Сейчас уже всякому ясно, что мы были правы, последовательно отстаивая политику неделимого мира, политику коллективной безопасности. Можно было спасти мир от ужасов, в которые он ввергнут ныне, если бы большинство человечества вовремя поняло нашу правду, как оно понимает ее сейчас.

Седьмой конгресс Коминтерна подчеркнул, что любая уступка агрессивной политике фашизма облегчает врагам мира их дело, создает угрозу безопасности и независи-

мости малых народов и представляет собой шаг вперед к развязыванию войны, которая охватит все страны. Но в те времена у нас и во всей Европе проводилась катастрофическая политика уступок, политика Чемберлена и Рансимена, политика мюнхенцев. Сейчас уже каждому ясно, что политика Мюнхена прямиком вела к мировой войне, сейчас уже каждый знает, что мы, коммунисты, были правы, когда призывали народ к последовательной и непримиримой борьбе с фашизмом, когда мы клеймили всех трусов и явных и тайных гитлеровских агентов как главных врагов народа, когда мы — как бы нас ни преследовали за это — беспощадно выступали против близорукой политики компромисса с фашизмом. А ведь можно было давно, еще в самом зародыше, подавить фашизм и тем самым спасти жизнь миллионов людей — среди них, быть может, и ваших близких,— если бы большая часть человечества вовремя поняла нашу правду, как она понимает ее сейчас.

Мы никогда не ограничивались предвидением того, что может случиться, но всегда говорили, что нужно делать. Мы знали, что у человечества достаточно сил, чтобы предотвратить войну, чтобы разгромить фашизм раньше, чем он успеет ввергнуть весь мир в пучину убийств и разрушений. Вот почему мы неустанно стремились сплотить все антифашистские силы, вот почему мы постоянно создавали широчайший фронт трудящихся, широчайший фронт народа, вот почему мы без колебаний протягивали руку каждому, кто хотел честно бороться против фашизма и войны. Все вы не можете не помнить этого, не можете не знать, как упорно отстаивали мы этот единый фронт и как были отвергнуты. Нас не останавливали величайшие препятствия на пути, мы не обращали внимания на отказ и грубые оскорбления, которыми нас в невероятном ослеплении осыпали многие так называемые «социалистические» вожди. Мы ни разу не опустили

с горечью рук, ибо интересы народа и нации категорически требовали создания боевого единства. Сейчас, когда на плахах гестапо кровь коммунистов смешивается с кровью членов всех других бывших партий, с кровью людей из всех слоев народа, сейчас, когда стало ясно, что фашизм был нужен лишь нескольким властолюбивым и жадным подлецам, которых легко мог бы свергнуть объединившийся народ, сейчас, когда ясно, что эти подлецы будут свергнуты именно потому, что в огне борьбы в силу необходимой самообороны вызван к жизни гигантский единый антифашистский фронт,— сейчас все видят, что мы были правы. Но каких жертв можно было избежать, если бы большая часть человечества вовремя поняла нашу правду, которую она понимает сейчас.

...Ленин в России и его соратники Либкнехт и Люксембург в Германии боролись в годы первой мировой войны с империалистами своих стран. Ленин победил. Либкнехт и Люксембург погибли, убитые по приказу нескольких министров-карьеристов за то, что якобы угрожали молодой германской демократии. Народы страны Ленина в бескорыстном братском союзе построили государство свободы, культуры, здоровья и благосостояния для всех трудящихся, государство подлинной демократии, на могущество которого сейчас с верой, любовью и упованием обращены взоры всего мира, ибо в нем люди видят поруку своего грядущего освобождения. Народ Либкнехта и Люксембург, в стране которых социалистическая революция потерпела поражение, наоборот, попал под жесточайшее фашистское иго, был обобран и разорен в интересах тех, против кого боролись Либкнехт и Люксембург, физически ослаблен, духовно развращен, снова погнан на бойню ради вздорных планов империалистического мирового господства, превращен во врага всего человечества.

Почему мы вспоминаем об этом? Для того, чтобы бахвалиться своей прозорливостью? Нет! Чтобы упрекать

кого-нибудь в ошибках и провинностях? Нет! Мы вспоминаем об этом для того, чтобы и мы и вы извлекли уроки из этого исторического опыта, для того, чтобы каждый своевременно понял настоящую правду — правду нынешнего дня, чтобы каждому своевременно стало ясно, что нужно делать сейчас, каковы задачи каждого, отвечающие его собственным интересам.

В период кажущегося спокойствия и мира они видели — в этом сейчас убедились все — опасность фашизма и войны и погибли, убитые по приказу нескольких министров-карьеристов страны. Ныне, в дни беспощадной борьбы, когда повсюду полыхают огни войны, мы не менее ясно видим перспективу подлинного спокойствия и настоящего прочного мира, ясно предвидим расцвет и счастье свободных народов Европы и всего земного шара, видим нарождающийся новый мир. Это ни для кого не тайна. Даже официальный орган английской консервативной партии газета «Таймс» пишет уже о том, что «после этой войны мир станет иным, чем был до нее». А массы трудящихся всех стран чувствуют это еще яснее.

Мало, однако, хотеть обновления мира, надо работать, надо бороться за него. Это я говорю тебе, товарищ коммунист, и тебе, сочувствующий нам друг, и вам, соратники в национально-освободительной борьбе, с которыми мы прочно связаны в едином фронте против гитлеровских бандитов. Не позволим никому разбить прочное единство народа! Не позволим никому остановить народ на его славном пути к свободе, миру и справедливости. Никто уже не сможет остановить его! Не напрасно прошли мы суровые испытания последних лет, не зря пролилась кровь мучеников из всех слоев нашего народа.

И для нас жил и работал гениальный пролетарский стратег и вождь самой могучей армии мира — товарищ Ленин.

Под его знаменем мы всегда боролись за свободу человечества. Под его знаменем пойдем и в последний, решительный бой!

Особый выпуск «Руде право»,
январь 1942 г.

НАШЕ ПРИВЕТСТВИЕ КРАСНОЙ АРМИИ

Герои Красной Армии! Мы приветствуем вас из глубокого подполья. Мы приветствуем тех, кто с великолепным мужеством и самоотверженностью борется за свободу своей отчизны и тем самым и за нашу свободу и свободу всех порабощенных народов Европы. Мы всегда верили в вас и вашу силу, из нее черпали свою энергию для сопротивления самым зверским поработителям, каких только знает история. Мы верим, что придет час, когда вы сумеете разбить военную машину мирового фашизма. Час этот настал. Мы понимали, что это должно было означать и для нас, ибо антигитлеровский фронт проходит и по нашей земле.

Поэтому к своему братскому приветствию мы присоединяем обещание, что в эти решающие дни мы сделаем все, чтобы как можно скорее нанести поражение Гитлеру. Мы будем расстраивать его планы, выводить из строя транспорт на нашей территории, саботировать в военной промышленности и всеми силами и средствами бороться против того, чтобы наш общий враг не смог воспользоваться Чехословакией и ее народами для отдаления дня своей катастрофы, к которому вы его приближаете. Связанные с вами в решающей борьбе против Гитлера — мы победим.

Руде право, специальный выпуск 1942 г.
(приблизительно февраль)

РЕПОРТАЖ С ПЕТЛЕЙ НА ШЕЕ

В концентрационном лагере в Равенсбрюке я узнала от товарищей по заключению, что мой муж, Юлиус Фучик, редактор «Руде право» и «Творбы», 25 августа 1943 года был приговорен к смертной казни нацистским судом в Берлине.

На вопросы о его дальнейшей судьбе высокие стены лагеря мне отвечали молчанием.

В мае 1945 года, после поражения гитлеровской Германии, из ее тюрем и концентрационных лагерей вышли на волю заключенные, которых фашисты не успели замучить или убить. В числе дождавшихся свободы была и я.

Я вернулась на освобожденную родину и тотчас же стала наводить справки о муже, подобно сотням тысяч других, которые разыскивали и еще продолжают разыскивать своих мужей, жен, детей, отцов, матерей, томившихся в бесчисленных застенках немецко-фашистских оккупантов.

Я узнала, что через две недели после приговора, 8 сентября 1943 года, Юлиус Фучик был казнен в Берлине.

Я узнала также, что Юлиус Фучик писал, когда сидел в Панкраце. Эту возможность дал ему надзиратель А. Колинский, приносивший в камеру бумагу и карандаш, а затем тайком выносивший исписанные листки из тюрьмы.

Я встретилась с этим надзирателем. Постепенно я собрала тюремные записки Юлиуса Фучика. Перенумерованные страницы, которые были спрятаны в разных местах и у разных людей, я привела в порядок и теперь предлагаю вниманию читателей. Это последняя книга Юлиуса Фучика.

Густа Фучикова

Прага,
сентябрь 1945 г.

Написано в тюрьме гестапо в Панкраце весной 1943 г.

Сидеть, напряженно вытянувшись, уперев руки в колени и уставив неподвижный взгляд в пожелтевшую стену комнаты для подследственных во дворце Печека,— это далеко не самая удобная поза для размышлений. Но можно ли заставить мысль сидеть навытяжку?

Кто-то когда-то — теперь уж, пожалуй, и не узнать, когда и кто,— назвал комнату для подследственных во дворце Печека кинотеатром. Замечательное сравнение! Обширное помещение, шесть рядов длинных скамей, на скамьях — неподвижные люди, перед ними — голая стена, похожая на экран. Все киностудии мира не накрутили столько фильмов, сколько их спроецировали на эту стену глаза ожидавших нового допроса, новых мучений, смерти. Целые биографии и мельчайшие эпизоды, фильмы о матери, о жене, о детях, разоренном очаге, о погибшей жизни, фильмы о мужественном товарище и о предательстве, о том, кому ты передал последнюю листовку, о крови, которая прольется снова, о крепком рукопожатии, которое обязывает,— фильмы, полные ужаса и решимости, нена-

висти и любви, сомнения и надежды. Оставив жизнь позади, каждый здесь ежедневно умирает у себя на глазах, но не каждый рождается вновь.

Сотни раз видел я здесь фильм о себе, тысячи его деталей, попробую рассказать о нем. Если же палач затянет петлю раньше, чем я закончу рассказ, останутся миллионы людей, которые допишут счастливый конец.

Глава I

Двадцать четыре часа

Без пяти десять. Чудесный теплый весенний вечер 24 апреля 1942 года.

Я тороплюсь, насколько это возможно для почтенного, прихрамывающего господина, которого я изображаю,— тороплюсь, чтобы поспеть к Ели́некам до того, как запрут подъезд на ночь. Там ждет меня мой «адъютант» Ми́рек. Я знаю, что на этот раз он не сообщит мне ничего важного, мне тоже нечего ему сказать, но не прийти на условленное свидание — значит вызвать переполох, а главное, мне не хочется доставлять напрасное беспокойство двум добрым душам, хозяевам квартиры.

Мне радушно предлагают чашку чаю. Мирек давно пришел, а с ним и супруги Фрид. Опять неосторожность.

— Товарищи, рад вас видеть, но не так, не всех сразу. Это прямая дорога в тюрьму и на смерть. Или соблюдайте правила конспирации, или бросайте работу, иначе вы подвергаете опасности себя и других. Поняли?

— Поняли.

— Что вы мне принесли?

— Майский номер «Руде право».

— Отлично. У тебя что, Мирек?

— Да ничего нового. Работа идет хорошо...

— Ладно. Все. Увидимся после Первого мая. Я дам знать. И до свидания!

— Еще чашечку чаю?

— Нет, нет, пани Елинкова, нас здесь слишком много.

— Ну одну чашечку, прошу вас!

Из чашки с горячим чаем поднимается пар.

Кто-то звонит.

Сейчас, ночью? Кто бы это мог быть?

Гости не из терпеливых. Колотят в дверь:

— Откройте! Полиция!

— К окнам, скорее! Спасайтесь! У меня револьвер, я прикрою ваше бегство.

Поздно! Под окнами гестаповцы, они целятся из револьверов в комнаты. Через сорванную с петель входную дверь гестаповцы врываются в кухню, потом в комнату. Один, два, три... девять человек. Они не видят меня, я стою в углу за распахнутой дверью, у них за спиной. Могу отсюда стрелять беспрепятственно. Но девять револьверов наведено на двух женщин и трех безоружных мужчин. Если я выстрелю, погибнут прежде всего они. Если застрелиться самому, они все равно станут жертвой поднявшейся стрельбы. Если я не буду стрелять, они посидят полгода или год до восстания, которое их освободит. Только Миреку и мне не спастись, нас будут мучить... От меня ничего не добьются, а от Мирека? Человек, который сражался в Испании, два года пробыл в концентрационном лагере во Франции и во время войны нелегально пробрался оттуда в Прагу,— нет, такой не подведет. У меня две секунды на размышление. Или, может быть, три?

Мой выстрел ничем не поможет, я лишь избавлюсь от пыток, но зато напрасно пожертвую жизнью четырех товарищей. Так? Да. Решено.

Я выхожу из укрытия.

— А-а, еще один!

Удар по лицу. Таким ударом можно уложить на месте.

— Hände auf! [1]

Второй удар. Третий.

Так я себе это и представлял.

Образцово прибранная квартира превращается в груду перевернутой мебели и осколков.

Снова бьют кулаками.

— Марш!

Вталкивают в машину. На меня все время направлены револьверы. Дорогой начинается допрос:

— Ты кто такой?

— Учитель Гóрак.

— Врешь!

Я пожимаю плечами.

— Сиди смирно или застрелю!

— Стреляйте!

Вместо выстрела — удар кулаком.

Проезжаем мимо трамвая. Мне кажется, что вагон разукрашен белыми гирляндами. Свадебный трамвай сейчас, ночью? Должно быть, у меня начинается бред.

Дворец Пѐчека. Я думал, что живым туда никогда не войду. А тут почти бегом на четвертый этаж. Ага, знаменитый отдел II-A-1 по борьбе с коммунизмом. Пожалуй, это даже любопытно.

Долговязый, тощий гестаповец, руководящий налетом, прячет револьвер в карман и ведет меня в свой кабинет. Угощает сигаретой.

— Ты кто?

— Учитель Горак.

— Врешь!

---

[1] Руки вверх! (нем.)

Часы на его руке показывают одиннадцать.

— Обыскать!

Начинается обыск. С меня срывают одежду.

— У него есть удостоверение личности.

— На чье имя?

— Учителя Горака.

— Проверить!

Телефонный звонок.

— Ну конечно, не прописан! Удостоверение фальшивое. Кто тебе выдал его?

— Полицейское управление.

Удар палкой. Другой. Третий... Вести счет? Едва ли тебе, дружище, когда-нибудь понадобится эта статистика.

Фамилия? Говори! Адрес? Говори. С кем встречался? Говори! Явки? Говори! Говори! Говори! Сотрем в порошок!

Сколько примерно ударов может выдержать здоровый человек?

По радио сигнал полуночи. Кафе закрываются, последние посетители расходятся по домам, влюбленные медлят у ворот и никак не могут расстаться. Долговязый, тощий гестаповец, весело улыбаясь, входит в помещение.

— Все в порядке... господин редактор?

Кто им сказал? Елинеки? Фриды? Но ведь они даже не знают моей фамилии.

— Видишь, нам все известно. Говори! Будь благоразумен.

Оригинальный словарь. Быть благоразумным — значит предать.

Я неблагоразумен.

— Связать его! И покажите ему!

Час. Тащатся последние трамваи, улицы опустели, радио желает спокойной ночи своим самым усердным слушателям.

— Кто еще, кроме тебя, в Центральном Комитете? Где ваши радиопередатчики? Типографии? Говори! Говори! Говори!

Теперь я могу более хладнокровно считать удары. Болят только искусанные губы, больше ничего я уже не ощущаю.

— Разуть его!

В ступнях боль еще не притупилась. Это я чувствую.

Пять, шесть, семь... Кажется, что палка проникает до самого мозга.

Два часа. Прага спит, разве только где-нибудь во сне заплачет ребенок и муж приласкает жену.

— Говори! Говори!

Провожу языком по деснам, пытаюсь сосчитать, сколько зубов выбито. Никак не удается. Двенадцать, пятнадцать, семнадцать? Нет, это меня «допрашивают» столько гестаповцев. Некоторые, очевидно, уже устали. А смерть все еще медлит.

Три часа. С окраин в город пробирается утро. Зеленщики тянутся на рынки, дворники выходят подметать улицы. Видно, мне суждено прожить еще один день.

Приводят мою жену.

— Вы его знаете?

Глотаю кровь, чтобы она не видела... Собственно, это бесполезно, потому что кровь всюду, течет по лицу, каплет даже с кончиков пальцев.

— Вы его знаете?

— Нет, не знаю!

Сказала и даже взглядом не выдала ужаса. Милая! Сдержала слово — ни при каких обстоятельствах не узнавать меня, хотя теперь уже в этом мало смысла. Кто же все-таки выдал меня?

Ее увели. Я простился с ней самым веселым взглядом, на какой только был способен. Вероятно, он был вовсе не весел. Не знаю.

Четыре часа. Светает? Или еще нет? Затемненные окна не дают ответа. А смерть все еще не приходит. Ускорить ее? Но *как?*

Я кого-то ударил и свалился на пол. На меня набрасываются. Пинают ногами. Топчут мое тело. Да, так теперь все кончится быстро. Черный гестаповец хватает меня за бороду и самодовольно усмехается, показывая клок вырванных волос. Это действительно смешно. И боли я уже не чувствую никакой.

Пять часов, шесть, семь, десять, полдень. Рабочие идут на работу и с работы, дети идут в школу и из школы, в магазинах торгуют, дома готовят обед, вероятно, мама сейчас вспомнила обо мне, товарищи, наверно, уже знают о моем аресте и принимают меры предосторожности... на случай, если я заговорю... Нет, не бойтесь, не выдам, поверьте! И конец ведь уже близок. Всё как во сне, в тяжелом, лихорадочном сне. Сыплются удары, потом на меня льется вода, потом снова удары и снова: «Говори, говори, говори!» А я все еще никак не могу умереть. Отец, мать, зачем вы родили меня таким сильным?

День кончается. Пять часов. Все уже устали. Бьют теперь изредка, с длинными паузами, больше по инерции. И вдруг издалека, из какой-то бесконечной дали, звучит тихий, ласкающий голос:

— Er hat schon genug! [1]

И вот я сижу. Мне кажется, что стол передо мной раскачивается, кто-то дает мне пить, кто-то предлагает сигарету, которую я не в силах удержать, кто-то пробует натянуть мне на ноги башмаки и говорит, что они не налезают, потом меня наполовину ведут, наполовину несут по лестнице вниз, к автомобилю. Мы едем, кто-то опять наводит на меня револьвер, мне смешно, мы опять проезжаем мимо трамвая, мимо свадебного трамвая, увитого гирлян-

[1] Уже готов! (нем.)

дами белых цветов, но, вероятно, все это только сон, только лихорадочный бред, агония, или, может быть, сама смерть. Ведь умирать все-таки тяжело, а я уже не чувствую никакой тяжести, вообще ничего; такая легкость, как у одуванчика; еще один вздох — и конец.

Конец? Нет, еще не конец, все еще нет. Я снова стою, да, да, стою один, без посторонней помощи, прямо передо мной грязная желтая стена, обрызганная — чем? — кажется, кровью... Да, это кровь. Я поднимаю руку, пробую размазать кровь пальцем... получается... ну да, кровь, свежая, моя.

Кто-то бьет меня сзади по голове и приказывает поднять руки и приседать; на третьем приседании я падаю...

Долговязый эсэсовец стоит надо мной и старается поднять меня пинками; напрасный труд; кто-то опять обливает меня водой, я опять сижу, какая-то женщина подает мне лекарство и спрашивает, что у меня болит, и тут мне кажется, что вся боль у меня в сердце.

— У тебя нет сердца,— говорит долговязый эсэсовец.

— Ну пока еще есть! — отвечаю я и чувствую внезапную гордость оттого, что у меня еще достаточно сил, чтобы заступиться за свое сердце.

И снова все исчезает: и стена, и женщина с лекарством, и долговязый эсэсовец...

Теперь передо мной открытая дверь в камеру. Толстый эсэсовец волочит меня внутрь, стаскивает с меня лохмотья рубашки, кладет на соломенный тюфяк, ощупывает мое опухшее тело и приказывает приложить компрессы.

— Посмотри-ка,— говорит он другому и качает головой,— ну и мастера отделывать!

И снова издалека, из какой-то бесконечной дали, я слышу тихий, ласкающий голос, несущий мне облегчение:

— До утра не доживет.

Без пяти минут десять. Чудесный теплый весенний вечер 25 апреля 1942 года.

Глава II

Агония

...Когда в глазах померкнет свет
И дух покинет плоть...

Два человека, сложив руки, как на молитве, тяжелой, медленной поступью ходят под белыми сводами склепа и протяжными нестройными голосами поют грустную церковную песнь:

...Когда в глазах померкнет свет
И дух покинет плоть,
Туда, где мрака ночи нет,
Нас призовет господь...

Кто-то умер. Кто? Я стараюсь повернуть голову... Увижу, наверное, гроб с покойником и две свечи у изголовья.

...Туда, где мрака ночи нет,
Нас призовет господь...

Мне удалось поднять глаза. Но я никого не вижу. Нет никого, только они и я. Кому же они поют отходную?

Туда, где светится всегда
Господняя звезда.

Это панихида. Самая настоящая панихида. Кого же они хоронят? Кто здесь? Только они и я. Ах да, я! Может быть, это мои похороны? Да. Послушайте, люди, это недоразумение! Ведь я все-таки не мертвый, я живой! Видите, я смотрю на вас, разговариваю с вами! Бросьте! Не хороните меня!

Сказав последнее «прости»
Всем тем, кто дорог нам...

Не слышат. Глухие, что ли? Разве я говорю так тихо? Или, может быть, и вправду мертв и до них не доходит загробный голос? А мое тело лежит пластом и я гляжу на собственные похороны? Забавно!

Мы с упованием свой взгляд
Подъемлем к небесам.

Я вспоминаю, что произошло. Кто-то с трудом поднимал и одевал меня, потом меня несли на носилках, стук тяжелых кованых сапог гулко отдавался в коридоре... Потом... Это все. Больше я ничего не знаю. Ничего не помню.

Туда, где мрака ночи нет...

Но это вздор. Я жив. Я смутно чувствую боль и жажду. Разве мертвым хочется пить? Я напрягаю все силы, пытаясь шевельнуть рукой, и чей-то чужой, неестественный голос произносит:

— Пить!

Наконец-то. Оба человека перестают ходить по кругу. Они наклоняются надо мной, один из них поднимает мне голову и подносит к губам ковшик с водой.

— Парень, ты бы поел чего-нибудь. Вот уже двое суток все только пьешь да пьешь.

Что он говорит? Двое суток? Какой же сегодня день?

— Понедельник.

Понедельник! А меня арестовали в пятницу... Какая тяжелая голова! И как освежает вода! Спать! Дайте мне спать... Капля замутила ясную водную гладь. Это родник на лужайке в горах... Я знаю, это тот, что близ сторожки под Рокла́ном... Мелкий непрерывный дождь шумит в хвойном лесу... Как сладко спать!..

Когда я снова просыпаюсь, уже вечер вторника. Надо мной стоит собака. Овчарка. Она пристально смотрит на меня красивыми умными глазами и спрашивает:

— Где ты жил?

Нет, это не собака. Чей же это голос? А-а, еще кто-то стоит надо мной. Я вижу пару сапог... и другую пару, и форменные брюки, но взглянуть выше мне не удается, голова кружится. Эх, все это неважно, дайте мне спать.

Среда.

Два человека, которые пели псалмы, сейчас сидят у стола и едят из глиняных мисок. Теперь я различаю их. Один помоложе, другой совсем пожилой. На монахов они, кажется, не похожи. И склеп уже не склеп, а тюремная камера, как сотни других: дощатый пол, тяжелая темная дверь...

В замке гремит ключ, оба вскакивают и становятся навытяжку; два эсэсовца входят и велят одеть меня. Никогда не думал я, сколько боли может причинить каждый рукав или каждая штанина... Меня кладут на носилки и несут вниз по лестнице. Стук тяжелых кованых сапог гулко отдается в коридоре... Кажется, этим путем меня уже несли однажды и принесли без сознания. Куда ведет этот путь? В какую преисподнюю?

В полутемную, мрачную канцелярию по приему арестованных панкрацкой тюрьмы.

Носилки ставят на пол, и деланно-добродушно голос переводит свирепое немецкое рявканье:

— Ты знаешь ее?

Я подпираю подбородок рукой. Рядом с носилками стоит молодая круглолицая девушка. Стоит, гордо выпрямившись, с высоко поднятой головой; держится не вызывающе, но с достоинством. Только глаза ее слегка опущены, ровно настолько, чтобы видеть меня и поздороваться взглядом.

— Нет, не знаю.

Помнится, я видел ее мельком в ту сумасшедшую ночь во дворце Печека. Теперь мы видимся во второй раз. Жаль, что третьей встречи уже не будет и мне не удастся пожать ей руку за то, что она держала себя с таким достоинством. Это была жена Арношта Ло́ренца. Ее казнили в первые же дни осадного положения в 1942 году.

— Ну эту ты наверняка знаешь.

Аничка Ира́скова! Боже мой, Аничка, вы-то как сюда

попали? Нет, нет, я не произносил вашего имени, вы не знаете меня и я с вами не знаком. Понимаете, не знаком!

— И ее не знаю.

— Подумайте хорошенько!

— Не знаю.

— Юлиус, это ни к чему,— говорит Аничка, и лишь неприметное движение пальцев, комкающих носовой платок, выдает ее волнение.— Это ни к чему. Меня уже опознали.

— Кто?

— Молчать! — обрывают ее и торопливо отталкивают, когда она нагибается и протягивает мне руку.

Аничка!

Остальных вопросов я уже не слышу.

Как-то со стороны, совсем не ощущая боли, словно я только зритель, чувствую, как два эсэсовца несут меня обратно в камеру и, грубо встряхивая носилки, со смехом осведомляются, не предпочту ли я качаться в петле.

Четверг.

Я уже начинаю воспринимать окружающее. Одного из моих товарищей по камере зовут Ка́рел. Старшего он называет «папаша». Он что-то рассказывает о себе, но у меня все путается в голове... Какая-то шахта, дети за партами... звон колокола... Уж не пожар ли?

Говорят, ко мне каждый день ходят врач и эсэсовский фельдшер. Я, дескать, не так уж плох, скоро буду опять молодцом. Это настойчиво твердит мне «папаша», а Карел так усердно поддакивает, что, несмотря на свое состояние, я понимаю: это святая ложь. Славные ребята! Жаль, что я не могу им поверить.

Вторая половина дня.

Дверь камеры открывается, и бесшумно, словно на цыпочках, вбегает пес, останавливается у моего изголовья и снова пристально смотрит на меня.

Рядом снова две пары сапог. Теперь я уже знаю — одна пара принадлежит хозяину пса, начальнику тюрьмы Панкрац, другая — начальнику отдела по борьбе с коммунистами, гестаповцу, который меня допрашивал тогда ночью. А вот еще штатские брюки. Мой взгляд скользит вверх. Да, я знаю и этого долговязого, тощего комиссара, который руководил оперативной группой, арестовавшей меня.

Он садится на стул и начинает допрос:

— Ты свою игру проиграл, подумай хотя бы о себе. Говори.

Он предлагает мне сигарету. Не хочу. Мне не удержать ее в пальцах.

— Как долго ты жил у Ба́ксов?

У Баксов! И это им известно! Кто же им сказал?

— Видишь, нам все известно. Говори.

— Если вам все известно, зачем же мне говорить? Я жил не напрасно и не опозорю свои последние дни.

Допрос длится час. Допрашивающий не кричит, он терпеливо повторяет один и тот же вопрос, потом, не дождавшись ответа, задает второй, третий... десятый.

— Неужели ты не понимаешь? Все кончено. Вы проиграли. Вы все.

— Проиграл только я.

— Ты еще веришь в победу коммуны?

— Конечно.

— Он еще верит? — спрашивает по-немецки начальник отдела.

А долговязый гестаповец переводит:

— ...он еще верит в победу России.

— Безусловно. Иного конца быть не может.

Я утомлен. Я напрягал все силы, чтобы быть начеку, но сейчас сознание быстро покидает меня, как кровь, текущая из глубокой раны. Напоследок я еще вижу, как мне протягивают руку,— должно быть, тюремщики заметили

печать смерти на моем лице. В самом деле, в некоторых странах у палачей даже было в обычае целовать осужденного перед казнью.

Вечер.

Два человека со сложенными руками ходят по кругу и протяжными, нестройными голосами тянут грустную песнь:

Когда в глазах померкнет свет
И дух покинет плоть...

Эй, люди, люди, бросьте же! Может, эта песня и неплоха, но сегодня... сегодня канун Первого мая, самого прекрасного, самого радостного праздника. Я пытаюсь запеть что-нибудь веселое, но, видно, моя песня звучит еще мрачнее, потому что Карел отворачивается, а «папаша» вытирает глаза. Пускай. Я не сдаюсь и продолжаю петь. Постепенно они присоединяются ко мне. Удовлетворенный, я засыпаю.

Раннее утро Первого мая.

Часы на тюремной башне бьют три. Впервые я ясно слышу бой часов. Впервые после ареста я в полном сознании. Я чувствую, как через открытое окно проникает свежий воздух, как он обдувает мой тюфяк на полу, как стебли соломы колют мне грудь и живот. Каждая клетка моего тела болит на тысячу разных ладов. Мне трудно дышать. Внезапно, как будто свет из распахнувшегося окна, меня озаряет мысль: это конец, я умираю.

Долгонько же ты не приходила, смерть! И все же, признаться, я надеялся, что мы встретимся с тобой через много лет, что я еще поживу свободной жизнью, буду много работать, много любить, много петь и бродить по свету. Ведь я только сейчас достиг зрелости, у меня было еще много, много сил. Их больше нет. Конец.

Я любил жизнь и за ее красоту вступил в бой. Я любил вас, люди, и был счастлив, когда вы отвечали мне тем же,

и страдал, когда вы меня не понимали. Кого я обидел — простите, кого порадовал — не печальтесь. Пусть мое имя ни в ком не вызывает печали. Это мой завет вам, отец, мать и сестры, тебе, моя Густина, вам, товарищи, всем, кто любил меня так же горячо, как и я их. Если слезы помогут вам смыть с глаз пелену тоски, поплачьте. Но не жалейте. Жил я для радости, умираю за нее, и было бы несправедливо поставить на моей могиле ангела скорби.

Первое мая! В этот час мы уже строились в ряды на окраинах городов и развертывали знамена. В этот час на улицах Москвы уже шагают на майский парад первые шеренги войск. И сейчас миллионы людей ведут последний бой за свободу человечества. Тысячи гибнут в этом бою. Я — один из них. Быть одним из воинов последней битвы — это прекрасно!

Но агония совсем не прекрасна. Я задыхаюсь. Мне не хватает воздуха. Я слышу хрип и клокотание у себя в горле. Чего доброго, еще разбужу товарищей. Промочить бы горло глотком воды! Но вся вода в ковше выпита. В шести шагах от меня, в унитазе, в углу камеры вода есть. Но хватит ли у меня сил добраться туда?

Я ползу на животе тихо-тихо, словно истинное геройство заключается в том, чтобы, умирая, никого не разбудить. Дополз. Пью, захлебываясь, воду со дна унитаза.

Не знаю, сколько это продолжалось, сколько времени я полз обратно. Сознание снова оставляет меня. Я ищу у себя пульс. Не нахожу его. Сердце поднялось к горлу и стремительно падает вниз. Я падаю тоже. Падаю медленно. И при этом слышу голос Карела:

— Папаша, папаша! Бедняга кончается!

Утром пришел врач (об этом я узнал много позже). Он осмотрел меня и покачал головой. Потом вернулся к себе в лазарет, разорвал рапортичку о смерти, которую заполнил еще накануне, и сказал с уважением специалиста:

— Лошадиный организм!

Глава III

Камера № 267

Семь шагов от двери до окна, семь шагов от окна до двери.

Это я знаю.

Сколько раз я отмерил это расстояние на дощатом полу тюремной камеры! И, может быть, именно в этой самой камере я сидел когда-то за то, что слишком ясно видел, как губительна для народа политика чешской буржуазии! И вот сейчас мой народ распинают на кресте, в коридоре за дверью ходят фашистские надзиратели, а где-то за пределами тюрьмы слепые парки от политики снова прядут нить измены. Сколько столетий нужно человечеству, чтобы прозреть!

Через сколько тысяч тюремных камер прошло оно по пути к прогрессу? И через сколько еще пройдет?

О нерудовский младенец Христос! Долгий путь человечества к спасенью все еще не пройден, нет, конца еще не видно, но теперь уже не спи, не спи!

Семь шагов туда, семь обратно. У одной стены — откидная койка, на другой — тускло-коричневая полочка с глиняной посудой. Да, все это мне знакомо. Теперь, правда, тут кое-что механизировано: проведено центральное отопление, вместо параши стоит унитаз. А главное — механизированы люди! Как автоматы. Нажмите кнопку, то есть загремите ключом в замке или откройте «глазок», и узники вскочат, чем бы они ни были заняты, станут друг за другом и вытянутся в струнку; распахивается дверь, и староста камеры выпаливает единым духом:

— Achtung! Celecvozibnzechcikbelegtmittreimanalesinordnung[1].

---

[1] Смирно! В камере двести шестьдесят седьмой заключенных трое, все в порядке! *(нем.)*

Итак, № 267. Это наша камера. Но наш механизм с изъяном: вскакивают только двое. Я пока лежу на тюфяке под окном, лежу ничком неделю, две недели, месяц и возвращаюсь к жизни: уже поворачиваю голову, уже поднимаю руку, уже приподнимаюсь на локтях и даже пытаюсь перевернуться на спину. Разумеется, легче описать, чем пережить это.

Изменилась и камера. Вместо тройки на дверях висит двойка; нас теперь только двое. Исчез Карел, младший из тех двоих, что с грустной песней хоронили меня. Осталась лишь память о его добром сердце. Собственно, я помню, и то очень смутно, только последние два дня его пребывания с нами. Он, в который уже раз, терпеливо рассказывает мне свою историю, а я то и дело засыпаю, не дослушав до конца.

Звали его Карел Ма́лец, по профессии он машинист, работал у клети на руднике, где-то около Гу́длиц, и выносил оттуда взрывчатку для подпольщиков. Сидит он уже около двух лет, а теперь его повезут на суд, вероятно, в Берлин. Арестованных по этому делу много, целая группа. Кто знает, что с ними будет... У Карела жена и двое детей, он их любит, крепко любит... «но это был мой долг, сам понимаешь, иначе было нельзя».

Он подолгу сидит около меня и старается заставить меня поесть. Не могу. В субботу — неужели я здесь уже восьмой день? — он решается на крайнюю меру: докладывает тюремному фельдшеру, что я за все время ничего не съел. Фельдшер, вечно озабоченный человек в эсэсовской форме, без ведома которого врач-чех не имеет права прописать даже аспирин, сам приносит миску больничной похлебки и стоит около меня, пока я не съедаю все. Карел очень доволен своим успешным вмешательством и на другой день сам вливает в меня миску воскресного супа.

Но со вторым блюдом ничего не выходит: изуродованными деснами нельзя жевать даже разваренный карто-

фель воскресного гуляша, а распухшее горло отказывается пропустить сколько-нибудь твердый кусок.

— Даже гуляш, даже гуляш — и тот не ест! — жалуется Карел и грустно покачивает головой.

Потом с аппетитом набрасывается на мою порцию, честно поделив ее с «папашей».

Кто не побывал в 1942 году в Панкраце, тот не знает и не может знать, что такое гуляш! Регулярно, даже в самые трудные времена, когда у всех заключенных бурчало в желудке от голода, когда в бане мылись ходячие скелеты, когда каждый — хотя бы глазами — покушался на порцию товарища, когда и противная каша из сушеных овощей, приправленная жиденьким томатным соком, казалась желанным деликатесом, в эти трудные времена регулярно, два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям, раздатчики вытряхивали в наши миски порцию картофеля и поливали ее ложкой мясного соуса с несколькими волокнами мяса. Это было сказочно вкусно! Но не только в этом дело: гуляш был ощутимым напоминанием о мирной человеческой жизни, был чем-то нормальным в жестокой противоестественности гестаповской тюрьмы. О гуляше говорили нежно и с упоением — о, кто поймет, как дорога ложка хорошего соуса, приправленного ужасом медленного угасания!

Прошло два месяца, и я хорошо понял удивление Карела. Даже гуляша я не хотел! Могли ли быть для него еще более убедительные признаки моей близкой смерти?

Той же ночью, в два часа, Карела разбудили. За пять минут ему велено было приготовиться к отправке с транспортом, словно предстояло отлучиться куда-то рядом, словно перед ним не лежал путь чуть ли не на край света — в другую тюрьму, в концлагерь, к месту казни... кто знает куда!

Карел еще успел опуститься около меня на колени, обнять и поцеловать в голову.

Из коридора раздался резкий окрик погонщика в мундире,— в тюрьме нет места чувствам.

Карел исчез за дверью, щелкнул замок...

Мы остались вдвоем.

Увидимся ли мы когда-нибудь, друг? И когда разлучимся мы, оставшиеся? Кто из нас двоих покинет эту камеру первым? Куда он пойдет? Кто позовет его? Надзиратель в эсэсовском мундире? Или сама смерть, которая не носит мундира?..

Сейчас, когда я пишу, во мне остались лишь отголоски чувств, волновавших нас при этом первом расставании. С тех пор прошел уже год, и мысли, с которыми мы провожали товарища, возвращались не раз, порою очень навязчиво. Двойка на дверях камеры заменялась тройкой, тройка снова уступала место двойке, потом опять появлялось «3», «2», «3», «2», приводили новых узников и вновь уводили, и только те двое, что впервые остались вдвоем в камере № 267, все еще не расстаются друг с другом: «папаша» и я.

«Папаша» — это шестидесятилетний учитель Йо́зеф Пёшек. Глава школьного учительского совета. Его арестовали на восемьдесят пять дней раньше меня за «заговор против Германской империи»,— он разрабатывал проект свободной чешской школы.

«Папаша» — это...

Но как написать о нем? Трудное это дело! Два человека, одна камера и год жизни. За этот год отпали кавычки у слова «папаша», за этот год два арестанта разного возраста стали действительно отцом и сыном, за этот год мы усвоили привычки друг друга, излюбленные словечки и даже интонации. Различи-ка сейчас, что мое и что его, «папашино», с чем он пришел в камеру и с чем я...

Ночами он бодрствовал надо мной и белыми холодными компрессами отгонял приближавшуюся смерть. Он самоотверженно удалял гной из моих ран и ни разу не подал виду, что слышит гнилостный запах, исходивший от тюфяка. Он стирал и чинил жалкие лохмотья, оставшиеся от моей рубашки, которая стала жертвой первого допроса, а когда она окончательно развалилась, натянул на меня свою. Рискуя получить взыскание, он принес мне маргаритку и стебелек травы, сорвав их на тюремном дворе во время получасовой утренней прогулки. Когда меня уводили на новые допросы, он провожал меня ласковым взглядом, а когда я возвращался, прикладывал новые компрессы к моим новым ранам.

Он ждал моего возвращения с ночных допросов и не ложился спать, пока не укладывал меня, заботливо укрыв одеялом.

С этого началась наша дружба. Она не изменилась и потом, когда я смог держаться на ногах и платить сыновний долг.

Но так, единым духом, всего не опишешь. В камере № 267 в том году было оживленно, и все, что случалось, посвоему переживал и папаша.

Обо всем этом надо рассказать, и повествование мое еще не окончено (что даже звучит некоторой надеждой).

В камере № 267 было оживленно.

Чуть ли не каждый час отворялась дверь и приходили надзиратели. Это был полагающийся по правилам усиленный надзор за крупным «коммунистическим преступником», но, кроме того, я просто возбуждал любопытство. В тюрьме часто умирали люди, которые не должны были умереть. Но редко случалось, чтобы не умер тот, в чьей неизбежной смерти были уверены все...

В нашу камеру приходили даже надзиратели с других этажей и заводили разговор или молча приподнимали одеяло и с видом знатоков осматривали мои раны, а потом,

в зависимости от характера, либо отпускали циничные шутки, либо принимали почти дружеский тон.

Один из них — мы прозвали его Мельником — приходит чаще других и, широко улыбаясь, осведомляется, не нужно ли чего-нибудь «красному дьяволу». Нет, спасибо, мне ничего не нужно. Через несколько дней Мельник решает, что все-таки «красному дьяволу» кое-что нужно, а именно — побриться. И он приводит парикмахера. Это первый заключенный не из нашей камеры, с которым я здесь знакомлюсь: товарищ Бо́чек. Но добросердечный Мельник оказал мне медвежью услугу; папаша поддерживает мне голову, а товарищ Бочек, стоя на коленях около моего тюфяка, пытается тупой безопасной бритвой прорубить просеку в моих мощных зарослях. Руки у него дрожат и на глазах выступают слезы: он уверен, что бреет умирающего. Я стараюсь успокоить его:

— Не робей, приятель! Уж коли я выдержал допрос во дворце Печека, авось выдержу и твое бритье.

Но сил у меня все-таки мало, и нам обоим часто приходится делать передышку.

Через три дня я знакомлюсь еще с двумя заключенными. Гестаповскому начальству дворца Печека не терпится: они посылают за мной, а так как фельдшер всякий раз пишет на вызове «Transportunfanig» (не способен к передвижению), они распоряжаются доставить меня любым способом. И вот два арестанта в одежде коридорных (или «хаусарбайтеров») ставят носилки у нашей двери. Папаша с трудом одевает меня, они кладут меня на носилки и несут. Один из них — это товарищ Скорже́па, будущий заботливый «хаусарбайтер» (служитель из числа заключенных), другой...[1] Когда мы спускаемся по лестнице и я сползаю на накренившихся носилках, один из несущих наклоняется ко мне и многозначительно говорит:

---

[1] Имя в рукописи не указано.

— Держись!

Потом добавляет совсем тихо:

— Держись и не сдавайся!

На этот раз мы не задерживаемся в канцелярии. По длинному коридору меня несут дальше к выходу. В коридоре полно людей — сегодня четверг, день, когда родным разрешается приходить за бельем арестованных. Все оборачиваются на безрадостное шествие с носилками, во всех взглядах жалость и сострадание. Это мне не нравится. Я кладу руку над головой и сжимаю ее в кулак. Может быть, люди в коридоре увидят и поймут, что я их приветствую. Это, разумеется, наивная попытка. Но на большее я еще не способен, не хватает сил.

На тюремном дворе носилки поставили на грузовик, двое эсэсовцев сели с шофером, двое других, держа руку на расстегнутой кобуре, стали у моего изголовья, и мы поехали.

Дорога далеко не образцовая: одна выбоина, другая... Не проехали мы и двухсот метров, как я потерял сознание.

Забавная это была поездка по пражским улицам: пятитонка, предназначенная для тридцати арестованных, расходует бензин на единственного узника, и двое эсэсовцев впереди, двое сзади, с револьверами в руках, хищно поглядывая на полумертвое тело, стерегут его, чтобы оно не сбежало.

На другой день комедия повторилась. На этот раз я выдержал до самого дворца Печека. Допрос был недолгим. Комиссар Фридрих несколько неосторожно прикоснулся ко мне, и меня опять увозят в беспамятстве.

Настали дни, когда уже не было сомнения в том, что я жив: боль — родная сестра жизни — весьма ощутительно напоминала мне об этом.

Панкрац уже знал, что по какому-то недосмотру я остался жив, и посылал мне привет. Он приходил перестукиванием через толстые стены, я видел его в глазах коридорных, разносивших еду.

Только моя жена не знала обо мне ничего. В одиночке, всего одним этажом ниже и на три-четыре камеры дальше, она жила в тревоге и надежде до того дня, когда соседка шепнула ей на утренней прогулке, что, избитый на допросе, я умер в камере. Густа шла по двору, все кружилось у нее перед глазами, она не чувствовала, как «утешала» ее надзирательница, тыча кулаком в лицо и загоняя в шеренгу, чтобы поддержать тюремную дисциплину. Что видела она, глядя без слез на белые стены камеры своими большими добрыми глазами?

А на другой день новая весть — я не забит до смерти, но не вынес пыток и повесился в камере.

В это время я валялся на тощем тюфяке и каждый вечер и каждое утро упорно поворачивался на бок, чтобы пропеть Густе песни, которые она так любила. Как она могла их не слышать, ведь я вкладывал в них столько чувства!

Теперь она уже знает обо мне, теперь она уже слышит мои песни, хотя мы сейчас дальше друг от друга, чем тогда. Теперь уже и тюремные надзиратели знают и свыклись с тем, что в камере № 267 поют.

Надзиратели уже не стучат в дверь, требуя тишины.

Камера № 267 поет. Всю свою жизнь я пел песни и не знаю, с какой стати расставаться мне с песней сейчас, перед самым концом, когда жизнь ощущается особенно остро.

А папаша Пешек? Ну, это особый случай: он тоже очень любит петь. У него ни слуха, ни голоса, никакой музыкальной памяти, но он любит песню такой хорошей и верной любовью и находит в ней столько радости, что я даже не замечаю, как он перескакивает с одной тональности на другую и упорно берет «соль» там, где прямо просится «ля».

И мы поем. Поем, когда нам взгрустнется, поем, когда выдается веселый день, песней провожаем товарища, с которым, наверное, никогда не увидимся, песней приветст-

вуем добрые вести о боях на востоке, поем для утешения и поем от радости, как люди поют испокон веков и будут петь, пока останутся людьми.

Без песни нет жизни, как нет ее без солнца. А нам песня нужна вдвойне, ибо солнце к нам не показывается — камера № 267 выходит на север. Только летом на восточную стену камеры ненадолго ложится солнечный луч вместе с тенью решетки.

Папаша стоит, опершись на койку, и смотрит на мимолетные солнечные блики... и это самый грустный взгляд, какой здесь только можно увидеть.

Солнце! Так щедро светит этот круглый волшебник, столько чудес творит на глазах у людей! Но так мало людей живет в солнечном свете...

Солнце будет, да, будет светить, и люди будут жить в его лучах.

Как чудесно сознавать это! И все же хочется знать еще кое-что неизмеримо менее важное: будет ли оно светить и для нас?

Наша камера выходит на север. Лишь изредка, летом, в ясный день, видим мы заходящее солнце. Эх, папаша, хотелось бы все-таки когда-нибудь увидеть восход солнца!

Глава IV

«Четырехсотка»

Воскресение из мертвых — явление довольно своеобразное. Настолько своеобразное, что и объяснить трудно. Мир привлекателен, когда в погожий день ты только что встал после доброго сна. Но если ты встал со смертного одра, день кажется прекрасным как никогда, и ты чувствуешь, что выспался лучше, чем когда бы то ни было. Ты думаешь, что хорошо знаешь сцену жизни. Но после воскресения из мертвых тебе кажется, что осветитель включил все

«юпитеры» и внезапно перед тобой появилась сцена, вся залитая светом. Ты думал, что у тебя хорошее зрение. Но сейчас ты видишь мир так, словно тебе приставили к глазу телескоп, а к нему еще и микроскоп. Воскресение из мертвых подобно весне: оно открывает нежданные прелести и в самом обыденном.

Так бывает, даже когда ты знаешь, что все это ненадолго. Даже когда открывающийся тебе мир так «привлекателен» и «богат», как камера в Панкраце.

Настает день, когда тебя выводят из камеры. Настает день, когда на допрос ты отправляешься не на носилках, а, хотя тебе это кажется невозможным, идешь сам. Держась за стены коридора, за перила лестницы, ты почти ползешь на четвереньках. Внизу товарищи по заключению усаживают тебя в закрытый арестантский автомобиль. Ты оказался в темной передвижной камере, рядом новые лица — десять, двенадцать человек. Они улыбаются тебе, ты им, кто-то что-то шепчет тебе, ты жмешь кому-то руку, не зная кому...

Машина с грохотом въезжает в ворота дворца Печека, товарищи выносят тебя, мы входим в просторное помещение с голыми стенами: шесть рядов скамеек. На скамейках, выпрямившись и сложив руки на коленях, недвижно сидят люди и глядят на пустую стену перед собой. Вот, Юлиус, частица твоего нового мира, которая прозвана «кинотеатром».

МАЙСКОЕ ИНТЕРМЕЦЦО 1943 ГОДА

Сегодня Первое мая 1943 года. И дежурит тот, при ком можно писать. Счастье! Какое счастье быть в этот день снова хотя бы на минуту коммунистическим журналистом и писать о майском смотре боевых сил нового мира!

Не жди рассказа о развевающихся знаменах. Ничего подобного не было. Не могу рассказать и о захватывающих

событиях, о которых ты бы с удовольствием послушал. Сегодня все было много проще. Не было шумного многотысячного потока людей, который в прежние годы бурлил на улицах Праги, не было того, что я видел в Москве,— необозримого моря голов на Красной площади. Здесь нет ни миллионов, ни сотен. Здесь всего лишь несколько коммунистов — мужчин и женщин. Но значение нашего смотра от этого не меньше. Да, не меньше, ибо это смотр сил, которые сейчас проходят под ураганным огнем и превращаются не в пепел, а в сталь. Это смотр в окопах во время битвы. А в окопах нет парадности, там носят полевую форму.

Все это ты чувствуешь по таким мелочам... Не знаю, поймешь ли ты меня, товарищ, когда прочтешь мои слова, если ты не пережил всего сам. Постарайся понять. Поверь, в этом была сила.

Утренний привет соседней камеры: сегодня оттуда выстукивают два такта из Бетховена торжественнее, настойчивее, чем обычно, и стена передает их тоже в ином, необычном тоне.

Мы стараемся одеться получше. И так во всех камерах.

К завтраку мы уже в полном параде. Перед открытой дверью камеры дефилируют коридорные с хлебом, черным кофе и водой. Товарищ Скоржепа подает три хлебца вместо двух. Это его поздравление с Первым мая, конкретное поздравление заботливого человека. Передавая хлеб, он незаметно жмет мне руку. Разговаривать нельзя, следят даже за выражением твоих глаз, но разве нам не понятен немой разговор наших пальцев?

Во двор, под окна нашей камеры, выбегают на утреннюю получасовую прогулку женщины. Я влезаю на стол и через решетку смотрю вниз. Может быть, они заметят меня. Да, заметили! Поднимают сжатые в кулак руки и приветствуют меня. Я отвечаю тем же. Во дворе сегодня радостно и оживленно, совсем иначе, чем в другие дни.

Надзирательница ничего не замечает или, может быть, старается не замечать. Это тоже имеет отношение к майскому смотру.

Сейчас наша очередь гулять. Я показываю упражнение: сегодня Первое мая, ребята, сегодня мы начнем по-другому, пусть дивятся конвойные. Первое движение: раз-два, раз-два — удары молотом. Второе: косьба. Молот и коса. Чуточку воображения — и товарищи поймут: серп и молот. Я поглядываю кругом. На лицах улыбки, все с энтузиазмом следуют моему примеру. Поняли! Правильно, ребята, это наша маевка, а пантомима — наша первомайская клятва: пойдем на смерть, но не изменим.

Мы снова в камере. Девять часов. Сейчас часы на Кремлевской башне бьют десять и на Красной площади начинается парад. Папаша, мы идем вместе с ними. Там сейчас поют «Интернационал», он раздается во всем мире, пусть зазвучит он и в нашей камере. Мы поем. Одна революционная песня следует за другой, мы не хотим быть одинокими, да мы и не одиноки, мы вместе с теми, кто сейчас свободно поет на воле, с теми, кто ведет бой, как и мы...

Товарищи в тюрьмах,
В застенках холодных,
Вы с нами, вы с нами,
Хоть нет вас в колоннах...

Да, мы с вами.

Так мы, в камере № 267, решили завершить песнями наш первомайский смотр 1943 года. Но это еще не конец!

Посмотри, вон коридорная из женского корпуса расхаживает по двору и насвистывает марш Красной Армии, «Партизанскую» и другие советские песни, чтобы подбодрить товарищей в камерах. А мужчина в форме чешского полицейского, который принес мне бумагу и карандаш и сейчас сторожит в коридоре, чтобы меня не захватил врасплох незваный гость? А тот, другой инициатор этих запи-

сок, который уносит и заботливо прячет эти листки, чтобы когда-нибудь, когда придет время, они снова появились на свет? За один такой клочок бумаги оба могут заплатить головой. И они идут на этот риск, чтобы перекинуть мост между скованным сегодня и свободным завтра. Они сражаются. Смело и твердо они стоят на своих постах и, применяясь к обстановке, сражаются тем оружием, какое у них есть в руках. Это совсем простые и незаметные люди, без всякого пафоса, так что ты и не замечаешь, что они вступили в бой не на жизнь, а на смерть, в котором они, сражаясь на нашей стороне, могут победить или пасть.

Десять, двадцать раз ты видел, товарищ, как войска революции маршируют на первомайских парадах, и это было великолепно. Но только в бою можно оценить подлинную силу этой армии, ее непобедимость. Смерть проще, чем ты думал, и у героев нет лучезарного ореола. А бой еще более жесток, чем ты предполагал, и, чтобы выстоять и добиться победы, нужны безмерные силы. Эти силы ты ежедневно видишь в действии, однако не всегда полностью осознаешь их. Ведь все кажется таким естественным.

Сегодня ты снова их осознал. На первомайском параде 1943 года.

День Первого мая 1943 года нарушил последовательность моего рассказа. И это хорошо. В торжественные дни воспоминания бывают немного иными, и радость, которая сегодня преобладает надо всем, могла бы приукрасить эти воспоминания.

А в «кинотеатре» дворца Печека совсем нет ничего радостного. Это преддверие застенка, откуда слышатся стоны и крики узников, и ты не знаешь, что ждет тебя там. Ты видишь, как туда уходят здоровые, сильные, бодрые люди и после двух-трехчасового допроса возвращаются искалеченными, подавленными. Ты слышишь, как твердый голос откликается на вызов, а через некоторое время голос, надломленный страданием и болью, рапортует о воз-

вращении. Но бывает еще хуже: ты видишь и таких, которые уходят с прямым и ясным взглядом, а вернувшись, избегают смотреть тебе в глаза. Где-то там, наверху, в кабинете следователя, была, быть может, одна-единственная минута слабости, один момент колебания, вспышка страха или стремление сохранить свое «я» — и в результате сегодня или завтра сюда приведут новых людей, которые должны будут с начала до конца пройти через все ужасы, новых людей, которых былой товарищ выдал врагу...

Смотреть на людей со сломленной совестью еще страшнее, чем на избитых. А когда твои чувства обострила смерть, прошедшая мимо тебя, когда ты глядишь глазами воскресшего из мертвых, тогда тебе и без слов ясно, кто заколебался, кто, может быть, и предал, у кого где-то в глубине души на миг зародилась мысль, что было бы не так уж страшно немного облегчить свою участь, выдав кого-нибудь из самых незаметных соратников.

Слабые души! Какая же это жизнь, если она оплачена жизнью товарищей!

Обо всем этом я, вероятно, не думал в первый раз, когда очутился в «кино». Но потом эти мысли часто приходили мне в голову. И наверняка они появились еще в то утро, в обстановке несколько иной, там, где люди познавались больше всего: в «Четырехсотке».

В «кино» я сидел недолго — час, полтора. Потом за моей спиной произнесли мое имя, и два человека в штатском, говорившие по-чешски, подняли меня в лифте на четвертый этаж и ввели в просторную комнату, на дверях которой была цифра «400».

...Некоторое время в этой комнате не было никого, кроме меня и двух моих провожатых. Сидя под их надзором на стуле в глубине комнаты, я осматривался со странным чувством: «Кажется, знакомое место. Был я, что ли, здесь когда-нибудь? Нет, не был. И все же я знаю эту комнату, я ее видел во сне, в каком-то страшном, горячеч-

ном сне. Тогда она выглядела иначе, вызывала отвращение, но это та самая комната. Сейчас она приветлива, полна солнца и светлых красок. Через широкие окна с тонкой решеткой видны Ты́нский храм, зеленая Ле́тна и Градча́ны.

Во сне эта комната была мрачной, без окон, ее освещал грязновато-желтый свет, в котором люди двигались, как тени... Да, тогда здесь были люди. Сейчас комната пуста, и шесть тесно составленных скамеек чем-то напоминают веселую лужайку с одуванчиками и лютиками. А во сне на всех скамейках сидели люди с бледными и окровавленными лицами. Вон там, у двери, стоял человек в синей поношенной спецовке, в глазах его была боль. Его мучила жажда, он попросил пить и медленно, как падающий занавес, опустился на пол.

Да, все это было, теперь я знаю, что это не сон. Жестокой, кошмарной была сама действительность.

Это было в ночь моего ареста и первого допроса. Меня приводили сюда раза три, а может быть, десять и уводили, когда мои мучители хотели отдохнуть или брали в работу другого. Я помню, что прохладный кафельный пол приятно освежал мои израненные босые ноги.

На скамейках тогда сидели рабочие завода Юнкерса — вечерний улов гестапо. Человек в синей разодранной спецовке, стоявший у двери, был товарищ Ба́ртонь, из заводской ячейки, косвенный виновник моего ареста. Я говорю это с той целью, чтобы в моем провале не винили никого. Причиной его не была чья-либо трусость или предательство одного из товарищей, а только неосторожность и неудача. Товарищ Бартонь искал для своей ячейки связи с руководством. Его друг, товарищ Елинек, отнесся несколько легкомысленно к правилам конспирации, пообещав связать его с кем надо, хотя должен был раньше поговорить со мной, что дало бы возможность обойтись без его посредничества. Это была ошибка. Другая, более тя-

желая ошибка заключалась в том, что в доверие к Бартоню вкрался провокатор по фамилии Дво́ржак. От Бартоня он услышал о Елинеках. И семейством Елинеков заинтересовалось гестапо. Не из-за их основной подпольной работы, которую они успешно выполняли в течение двух лет, а из-за пустяковой услуги товарищу, услуги, которая была ничтожным отступлением от правил конспирации. А то, что во дворце Печека решили арестовать супругов Елинеков именно в тот вечер, когда у них был я, и что к ним явился большой отряд гестаповцев,— это была уже чистая случайность. По плану предполагалось арестовать Елинеков только на следующий день. В тот вечер за ними поехали, так сказать, заодно, «на ура», после успешного ареста ячейки на заводе Юнкерса. Мое присутствие у Елинеков было для гестаповцев не меньшей неожиданностью, чем для нас их налет. Они даже не знали, кто попался им в руки, и вряд ли узнали бы, если бы вместе со мной не...

Но все это я сообразил не сразу, а гораздо позже, при следующих посещениях «Четырехсотки». Тогда я уже был не один. Люди сидели на скамейках и стояли у стен. И часы бежали, принося всякие неожиданности.

Неожиданности были странные, которых я не понимал, и дурные, которые я понимал слишком хорошо.

Впрочем, первая неожиданность не относилась ни к той, ни к другой категории. Это был приятный пустяк, о котором не стоит говорить.

Вторая неожиданность: в комнату входят гуськом четыре человека, по-чешски здороваются с гестаповцами в штатском... и со мной, садятся за столы, раскладывают бумаги, закуривают, держат себя свободно, совершенно свободно, словно они здесь на службе. Но ведь я знаю из них по крайней мере трех... Не может быть, чтобы они служили в гестапо... Или все-таки? И они? Ведь это же Р., столько лет он был секретарем партийной и профсоюзной органи-

заций, немножко бирюк, но верный человек. Нет, это невозможно! А это Анна Ви́кова, все еще стройная и красивая, хотя совсем седая,— твердая и непоколебимая подпольщица... Нет, невозможно! А вон тот — это же Ва́шек, каменщик с шахты в Северной Чехии, а потом секретарь тамошнего обкома! Мне ли его не знать! Какие бои мы вместе с ним пережили на севере! И этому человеку сломили хребет? Нет, невозможно! Но что им тут нужно? Что они здесь делают?

Я еще не успел найти ответ на этот вопрос, как возникли новые. Вводят Мирека, супругов Елинеков и супругов Фрид. Этих я знаю, их арестовали вместе со мной. Но почему здесь также искусствовед Павел Кропа́чек, который помогал Миреку в работе среди интеллигенции? Кто знал о нем, кроме меня и Мирека? И почему тот высокий парень со следами побоев на лице дает мне понять, что мы незнакомы? Ведь я его действительно не знаю. Кто бы это мог быть? Штых? Доктор Штых? Зденек? Боже, значит, провалилась и группа врачей! Кто знал о ней, кроме меня и Мирека? И почему меня на допросах в камере спрашивали о чешской интеллигенции? Почему им вообще вздумалось связывать мое имя с работой среди интеллигенции? Кто знал об этом, кроме меня и Мирека?

Найти ответ нетрудно, но он жесток: Мирек предал. Мирек заговорил. Еще минуту я надеялся, что он, может быть, сказал не все, но потом привели наверх еще одну группу, и я увидел Владислава Ванчуру, профессора Фельбера с сыном, почти неузнаваемого Бедржиха Вацлавека, Божену Пульпанову, Индржиха Элбла, скульптора Дворжака, всех, кто входил или должен был войти в Национально-революционный комитет чешской интеллигенции,— все оказались здесь. О работе среди интеллигенции Мирек сказал все.

Нелегки были мои первые дни во дворце Печека, но это был самый тяжелый удар. Я ждал смерти, но не преда-

тельства. И как бы снисходительно я ни судил Мирека, какие бы ни подбирал смягчающие обстоятельства, как ни старался вспомнить все то, чего он еще не выдал, я не мог найти иного слова, кроме «предательство». Ни шаткость убеждений, ни слабость, ни бессилие смертельно замученного человека, лихорадочно ищущего избавления,— ничто не могло служить ему оправданием. Теперь я понял, откуда гестаповцы в первую же ночь узнали мою фамилию. Теперь я понял, как сюда попала Аничка Ираскова,— у нее мы несколько раз встречались с Миреком. Теперь было ясно, почему здесь Кропачек и доктор Штых.

Начиная с этого дня, меня почти ежедневно водили в «Четырехсотку», и всякий раз я узнавал новые подробности — печальные и устрашающие. Мирек! Был смелый человек, в Испании не кланялся пулям, не согнулся в суровых испытаниях концентрационного лагеря во Франции. А сейчас он бледнеет при виде плетки в руках гестаповца и в страхе перед зуботычинами предает друзей. Какой поверхностной была его отвага, если она стерлась от нескольких ударов! Такой же поверхностной, как его убеждения. Он был силен в массе, среди единомышленников. С ними он был силен, так как думал о них. Теперь, изолированный, окруженный насевшими на него врагами, он растерял всю свою силу. Растерял все потому, что начал думать только о себе. Спасая свою шкуру, он пожертвовал товарищами. Поддался трусости и из трусости предал.

У него нашли записи, и он не сказал себе: лучше умереть, чем расшифровать их. Он расшифровал! Выдал имена. Выдал явки. Привел агентов гестапо на нелегальную квартиру к Штыху. Послал их на квартиру Дворжака, где были Вацлавек и Кропачек. Выдал Аничку. Выдал и Лиду, смелую, стойкую девушку, которая любила его. Достаточно было нескольких ударов, чтобы он выдал половину того, что знал. А потом, решив, что меня нет в живых и некому будет его уличить, он рассказал и остальное.

Мне от этого хуже не стало. Я был в руках гестапо — что могло быть хуже? Наоборот: его показания явились исходным материалом, который лег в основу всего следствия и как бы дал начало цепи, дальнейшие звенья которой держал в руках я, а гестапо они были очень нужны. Только поэтому меня и бóльшую часть нашей группы не казнили в первые же дни осадного положения. Выполни Мирек свой долг, эта группа вообще не попала бы в руки гестапо. Обоих нас давно уже не было бы в живых, но другие уцелели бы и продолжали работу.

Трус теряет больше, чем собственную жизнь. Так было и с Миреком. Дезертир славной армии, он обрек себя на презрение даже самого гнусного из врагов. И, оставаясь в живых, он не жил, ибо коллектив отверг его. Позднее он пытался как-то загладить свою вину, но коллектив не принял его. А отверженность в тюрьме много страшнее, чем где бы то ни было.

...Узник и одиночество — эти понятия принято отождествлять. Но это великое заблуждение. Узник не одинок, тюрьма — это большой коллектив, и даже самая строгая изоляция не может никого оторвать от коллектива, если человек не изолирует себя сам.

В тюрьме братство порабощенных подвергается особенно тяжкому гнету, но этот гнет сплачивает и закаляет людей, обостряет их восприимчивость. Для этого братства стены — не преграда: ведь и стены живут и говорят условными стуками. Тюремное братство объединяет камеры всего этажа, связанного общими страданиями, общей стражей, общими коридорными и общими получасовыми прогулками на свежем воздухе, во время которых бывает достаточно одного слова или жеста, чтобы передать важное сообщение и спасти чью-то жизнь. Поездки на допрос, сидение в «кино» и возвращение в Панкрац объединяют все тюремное братство. Это братство немногих слов и больших услуг. Простое рукопожатие или тайком переданная

сигарета раздвигают прутья решетки, за которую ты был посажен, выводят человека из одиночества, которым его хотели сломить. У камер есть руки: ты чувствуешь, как они тебя поддерживают, чтобы ты не упал, когда ты, измученный, возвращаешься с допроса. Из этих рук ты получаешь пищу, когда враги стараются уморить тебя голодом. У камер есть глаза: они смотрят на тебя, когда ты идешь на казнь, и ты знаешь, что должен шагать твердо, ибо твои братья видят тебя и ты не смеешь неверным шагом ослабить их волю, заронить сомнение в их сердце. Это братство истекает кровью, но оно неодолимо. Если бы не его помощь, не снести бы тебе и одной десятой своего бремени. Ни тебе, ни кому другому.

В моем повествовании — не знаю, смогу ли я продолжать его (ведь неизвестно, что сулит любой день и час),— часто повторяется слово, которое служит названием этой главы: «Четырехсотка».

Сначала «Четырехсотка» была для меня только комнатой, где я провел первые часы в безрадостных размышлениях. Но это была не просто комната — это был коллектив. И коллектив бодрый и боевой.

«Четырехсотка» родилась в 1940 году, когда значительно «расширилось делопроизводство» отдела по борьбе с коммунистами. Здесь устроили филиал «кинотеатра», где, ожидая допроса, сидели подследственные; это был филиал специально для коммунистов, чтобы не приходилось таскать арестованных по всякому поводу с первого этажа на четвертый. Арестованные должны были постоянно находиться у следователей под рукой. Это облегчало их «работу». Таково было назначение «Четырехсотки».

Но посади вместе двух заключенных, да еще коммунистов, и через пять минут возникнет коллектив, который перепутает все карты гестаповцев.

В 1942 году «Четырехсотку» уже не называли иначе как «коммунистическим центром». Многое видала эта

комната, не одна тысяча коммунистов, женщин и мужчин, сменилась на этих скамейках, одно лишь оставалось неизменным: дух коллектива, преданность борьбе и вера в победу.

«Четырехсотка» — это был окоп, выдвинутый далеко за передний край, со всех сторон окруженный противником, обстреливаемый сосредоточенным огнем, однако ни на миг не помышляющий о сдаче. Это был окоп под красным знаменем, и здесь проявлялась солидарность всего народа, борющегося за свое освобождение.

Внизу, в «кинотеатре», прохаживались эсэсовцы и покрикивали на арестованных за каждое движение глаз. Здесь, в «Четырехсотке», за нами надзирали чешские инспекторы и агенты из полицейского управления, попавшие на службу в гестапо в качестве переводчиков — иногда добровольно, иногда по приказу начальства. Каждый из них делал свое дело: одни выполняли обязанности сотрудника гестапо, другие — долг чеха. Некоторые держались средней линии.

Здесь нас не заставляли сидеть вытянувшись, сложив руки на коленях и устремив неподвижный взгляд вперед. Здесь можно было сидеть более непринужденно, оглянуться, сделать знак рукой... А иной раз можно было отважиться и на большее — в зависимости от того, кто из надзирателей дежурил.

«Четырехсотка» была местом глубочайшего познания существа, именуемого человеком. Близость смерти обнажала каждого: и тех, кто носил на левой руке красную повязку заключенного коммуниста или подозреваемого в сотрудничестве с коммунистами, и тех, чьей обязанностью было сторожить их или допрашивать в одной из соседних комнат. На допросах слова могли быть защитой или оружием. Но в «Четырехсотке» укрыться за слова было невозможно. Здесь были важны не твои слова, а твое нутро. А от него оставалось только самое основное. Все второсте-

пенное, наносное, все, что сглаживало, ослабляло, приукрашивало основные черты твоего характера, отпадало, уносилось предсмертным вихрем. Оставалась только самая суть, самое простое: верный остается верным, предатель предает, обыватель отчаивается, герой борется. В каждом человеке есть сила и слабость, мужество и страх, твердость и колебание, чистота и грязь. Здесь оставалось только одно из двух. Или — или. Тот, кто пытался незаметно балансировать, бросался в глаза так, как если бы вздумал с кастаньетами и в шляпе с пером плясать на похоронах.

Были такие и среди заключенных, были такие и среди чешских инспекторов и агентов. В кабинете следователя иной кадил нацистскому господу богу, а в «Четырехсотке» — большевистскому «дьяволу». На глазах у немецкого следователя он выбивал заключенному зубы, чтобы заставить его выдать явки, а в «Четырехсотке» дружески предлагал ему кусок хлеба. При обыске он начисто обкрадывал твою квартиру, а в «Четырехсотке» подсовывал тебе украденную у тебя же сигарету — я, мол, тебе сочувствую.

Была и другая разновидность того же типа: эти по своей инициативе никого не истязали, но и не помогали никому. Они беспокоились только о собственной шкуре. Это делало их отличным политическим барометром. Они сухи и строго официальны с заключенными? Можете быть уверены: немцы наступают на Сталинград. Они приветливы и заговаривают с нами? Положение улучшается, немцев, очевидно, побили под Сталинградом. Начинаются толки о том, что они коренные чехи и что их силой заставили служить в гестапо? Превосходно! Наверняка Красная Армия продолжает наступление — уже за Ростовом! Такой уж это народ: когда тонешь, они стоят, засунув руки в карманы, а когда тебе удается без их помощи выбраться на берег, они бегут к тебе с протянутой рукой.

Люди этого сорта чувствовали коллектив «Четырехсотки» и старались сблизиться с ним, ибо сознавали его силу. Но никогда они не принадлежали к нему.

Были и такие, которые не имели никакого представления о коллективе. Их можно было бы назвать убийцами, но убийцы — все-таки люди. Это были говорившие по-чешски звери с дубинками и железными прутьями в руках. Чехов-заключенных они истязали так, что даже многие гестаповцы-немцы не выдерживали этого зрелища. У таких мучителей не могло быть даже лицемерной ссылки на интересы своей нации или германского государства, они мучили и убивали просто из садизма. Они выбивали зубы, били так, что лопались барабанные перепонки, выдавливали глазные яблоки, били ногами в пах, пробивали черепа, забивали до смерти с неслыханной жестокостью, не имевшей других источников, кроме звериной натуры. Ежедневно я видел этих палачей, вынужден был говорить с ними, терпеть их присутствие, от которого все вокруг наполнялось кровью и стонами. Нам помогала лишь твердая вера, что они не уйдут от возмездия. Не уйдут, даже если бы им удалось умертвить всех свидетелей своих злодеяний!

А рядом с ними, за тем же столом, и как будто в тех же чинах, сидели те, которых справедливо было бы назвать Людьми с большой буквы. Люди, которые превращали организацию заключения в организацию заключенных, которые помогали создавать коллектив «Четырехсотки» и сами принадлежали к нему всем сердцем, бесстрашно служили ему. Величие их души тем больше, что они не были коммунистами. Наоборот, прежде в качестве чехословацких полицейских они воевали с коммунистами, но потом, когда увидели коммунистов в борьбе с оккупантами, поняли силу и значение коммунистов для всего чешского народа. А поняв, стали верно служить общему делу и помогать каждому, кто и в тюрьме остался верен этому делу.

Многие подпольщики на свободе поколебались бы, если бы ясно представили себе, какие ужасы ждут их в застенках гестапо. У наших тайных друзей в тюрьме все эти ужасы были постоянно перед глазами, они видели их каждый день, каждый час. Каждый день, каждый час они могли сами стать заключенными, и им пришлось бы еще хуже, чем другим. И все же они не колебались. Они помогли спасти тысячи жизней и облегчить участь тех, кого спасти не удалось. Назовем их по праву героями. Без их помощи «Четырехсотка» никогда не могла бы стать тем, чем она стала для многих тысяч коммунистов: светлым пятном в доме мрака, укреплением в тылу у врага, очагом борьбы за свободу в самой берлоге оккупантов.

Глава V

Люди и людишки. 1

Об одном прошу тех, кто переживет это время: не забудьте! Не забудьте ни добрых, ни злых. Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал за себя и за вас.

Придет день, когда настоящее станет прошедшим, когда будут говорить о великом времени и безымянных героях, творивших историю. Я хотел бы, чтобы все знали: не было безымянных героев. Были люди, у каждого свое имя, свой облик, свои чаяния и надежды, и муки самого незаметного из них были не меньше, чем муки того, чье имя войдет в историю. Пусть же эти люди будут всегда близки вам, как друзья, как родные, как вы сами!

Пали целые поколения героев. Полюбите хотя бы одного из них, как сыновья и дочери, гордитесь им, как великим человеком, который жил будущим. Каждый, кто был верен будущему и умер за то, чтобы оно было прекрасно, подобен изваянию, высеченному из камня. Тот же, кто из праха прошлого хотел соорудить плотину и остано-

вить половодье революции, тот — лишь фигурка из гнилого дерева, пусть даже на мундире у него сейчас золотые галуны! Но и этих людишек надо разглядеть во всем их ничтожестве и подлости, во всей их жестокости и смехотворности, ибо и они — материал для будущих суждений.

То, что я смогу еще рассказать,— это только сырой материал, свидетельские показания, не больше. Фрагменты, которые мне удалось подметить на малом участке без перспективы. Но в них есть черты подлинной правды, контуры больших и малых людей и людишек.

ЕЛИНЕКИ

Иозеф и Мария. Он трамвайщик, она служанка. Стоило посмотреть на их квартиру! Простая, непритязательная современная мебель, библиотечка, статуэтки, картины на стенах и чистота прямо невероятная. Казалось, что вся жизнь хозяйки — в этой квартирке, что она и понятия не имеет об окружающем мире. А между тем она уже давно была членом Коммунистической партии и по-своему мечтала о справедливости. Оба вели работу скромно и незаметно, оба были преданы делу и не отступили перед трудностями в тяжелые времена оккупации.

Через три года гестаповцы ворвались в их квартиру. Иозеф и Мария стояли рядом, подняв руки...

19 МАЯ 1943 ГОДА

Сегодня ночью мою Густу увозят в Польшу, «на работу». На немецкую каторгу, на смерть от тифа. Мне остается жить несколько недель. Может быть, два-три месяца.

Мое дело, говорят, уже передано в суд. Может быть, я пробуду еще месяц в предварительном заключении в Панкраце, а потом — недалеко и до конца. Репортажа мне уже не дописать. Попытаюсь все же продолжать его, если

будет возможность. Сегодня не могу. Сегодня голова и сердце полны Густиной. Она всегда была благородна и глубоко искренна, всегда преданна — верный друг моей суровой и беспокойной жизни.

Каждый вечер я пою ее любимую песню: о синем степном ковыле, что шумит, о славных партизанских боях, о казачке, которая билась за свободу бок о бок с мужчинами, и о том, как в одном из боев «ей подняться с земли не пришлось».

Вот она, мой дружок боевой![1] Как много силы в этой маленькой женщине с четкими чертами лица и большими детскими глазами, в которых столько нежности! Жизнь в борьбе и частые разлуки сохраняли в нас чувство первых дней: не однажды, а сотни раз мы переживали пылкие минуты первых объятий. И всегда одним биением бились наши сердца и одним дыханием дышали мы в часы радости и тревоги, волнения и печали.

Годами мы работали вместе, по-товарищески помогая друг другу. Она была моим первым читателем и критиком, и мне было трудно писать, если я не чувствовал на себе ее ласкового взгляда. Все годы мы вели борьбу плечом к плечу — а борьба не прекращалась ни на час,— и все годы рука об руку мы бродили по любимым местам. Много мы испытали лишений, познали и много больших радостей, мы были богаты богатством бедняков — тем, что внутри нас.

Густина? Вот какова Густина.

Это было в середине июня прошлого года, в дни осадного положения. Она увидела меня через шесть недель после нашего ареста, после мучительных дней в одиночке, полных дум о моей смерти. Ее вызвали, чтобы она «повлияла» на меня.

— Уговорите его,— говорил ей на очной ставке началь-

[1] Эти слова написаны Фучиком по-русски.

ник отдела.— Уговорите его, пусть образумится. Не хочет думать о себе, пусть подумает хоть о вас. Даю вам час на размышление. Если он будет упорствовать, расстреляем вас обоих сегодня вечером.

Густина ласково поглядела на меня и сказала просто:

— Господин следователь, меня это не страшит. У меня только просьба: если убьете его, убейте и меня.

Такова Густина — любовь и твердость.

Жизнь у нас могут отнять, Густина, но нашу честь и любовь у нас не отнимет никто.

Эх, друзья, можете ли вы представить, как бы мы жили, если бы нам довелось снова встретиться после всех этих страданий? Снова встретиться в вольной жизни, озаренной свободой и творчеством! Жить, когда свершится все, о чем мы мечтали, к чему стремились, за что сейчас идем умирать!

Но и мертвые мы будем жить в частице вашего великого счастья — ведь мы вложили в него нашу жизнь. В этом наша радость, хоть и грустно расставание.

Не позволили нам ни проститься, ни обнять друг друга, ни обменяться рукопожатием. Но тюремный коллектив, который связывает Панкрац даже с Карловой площадью, передает каждому из нас вести о наших судьбах.

Ты знаешь и я знаю, Густина, что мы никогда уже не увидимся, и все же я слышу издалека твой голос: «До свидания, мой милый!»

До свидания, моя Густина!

МОЕ ЗАВЕЩАНИЕ

У меня не было ничего, кроме библиотеки. Ее уничтожили гестаповцы.

Я написал много литературно-критических и политических статей, репортажей, литературных этюдов и театральных рецензий. Многие из них жили день и умерли с

ним. Оставьте их в покое. Некоторые же не потеряли значения и сегодня. Я надеялся, что Густина издаст их. На это мало надежды. Поэтому прошу моего верного друга Ладю Штолла из моих материалов составить пять книг:

1. Политические статьи и полемика.

2. Избранные очерки о Родине.

3. Избранные очерки о Советском Союзе.

4 и 5. Литературные и театральные статьи и этюды.

Большинство из них было напечатано в «Творбе» и в «Руде право», некоторые — в «Кмене», «Прамене», «Пролеткульте», «Добе», «Социалисте», «Авангарде» и др.

У издателя Гиргала (я люблю его за истинную смелость, с которой он во время оккупации издал мою «Божену Немцову») есть в рукописи моя монография о Юлии Зейере. Часть монографии о Сабине и заметки о Яне Неруде спрятаны где-то в доме, в котором жили Елинеки, Высушилы и Суханеки. Большинства из этих товарищей уже нет в живых.

Я начал писать роман о нашем поколении. Две главы хранятся у моих родителей, остальные, очевидно, пропали. Несколько рукописных рассказов я заметил в бумагах гестапо.

Будущему историку литературы я завещаю любовь к Яну Неруде. Это наш величайший поэт. Он смотрел далеко в будущее, видел даже то время, которое придет после нас. Не было еще ни одного исследования, где Яна Неруду поняли и оценили бы по заслугам. Надо показать Неруду-пролетария. На него налепили ярлык любителя малостранской идиллии и не видят, что для этой «идиллической» старосветской Малой Страны он был «непутевым парнем», что родился он на рубеже Смихова и Малой Страны, в рабочем районе, и что на малостранское кладбище за своими «Кладбищенскими цветами» ходил он мимо Рингхоферовки. Без этого не понять пути Неруды от «Кладбищенских цветов» до фельетона «1 мая 1890 г.»!

Некоторые критики, даже критики с таким ясным умом, как Шальда, считают помехой для поэтического творчества Неруды его журналистскую деятельность. Нелепость! Именно потому, что Неруда был журналистом, он смог написать такие великолепные вещи, как «Баллады и романсы» или «Песни страстной пятницы» и большую часть «Простых мотивов». Журналистика изнуряет, может быть, заставляет разбрасываться, но она же сближает автора с читателем и помогает автору в его поэтическом творчестве. В особенности это можно сказать о таком добросовестном журналисте, как Неруда. Неруда без газеты, которая живет день, мог бы написать не одну книгу стихов, но не написал бы ни одной, которая пережила бы столетия так, как переживут их все его творения.

Может быть, кто-нибудь закончит мою монографию о Сабине? Он этого заслуживает.

Всей своей работой, предназначенной не только для них, я хотел бы обеспечить солнечную осень моим родителям за их любовь и благородство.

Да не будет эта осень омрачена тем, что я не с ними! «Рабочий умирает, но труд его живет». В тепле и внимании, которыми их окружат, я буду всегда с ними. Моих сестер Либу и Веру прошу своими песнями помочь отцу и матери забыть об утрате в нашей семье. Они вдоволь наплакались на свидании с нами во дворце Печека. Но и радость живет в них, за это я их люблю, за это мы любим друг друга. Они — сеятели радости и пусть навсегда останутся ими.

Товарищам, которые переживут эту последнюю битву, и тем, кто придет после нас, крепко жму руку. За себя и за Густину. Мы выполнили свой долг.

И снова повторяю: жили мы для радости, за радость шли в бой, за нее умираем. Пусть поэтому печаль никогда не будет связана с нашим именем.

19 мая 1943 года, Ю. Ф.

22 МАЯ 1943 ГОДА

Окончено и подписано. Следствие по моему делу вчера завершено. Все идет быстрее, чем я предполагал. Видимо, в данном случае они торопятся. Вместе со мной обвиняются Лида Пла́ха и Мирек. Не помогло ему и его предательство.

Следователь так холоден, что от него знобит.

В гестапо еще чувствовалась какая-то жизнь, страшная, но все-таки жизнь. Там была хоть страсть — страсть борцов на одной стороне и страсть преследователей, хищников или просто грабителей — на другой. Кое у кого на вражеской стороне было даже нечто вроде убеждений. Здесь, у следователя,— лишь канцелярия. Большие бляхи со свастикой на лацканах мундира декларируют убеждения, которых нет. Эти бляхи — лишь вывеска, за ней прячется жалкий чинуша, которому надо как-нибудь просуществовать эти годы. С обвиняемым он ни добр, ни зол, не засмеется и не нахмурится. Он при исполнении служебных обязанностей. В жилах у него не кровь, а нечто вроде жидкой похлебки.

«Дело» составили и подписали, все подвели под параграфы. Чуть ли не шесть раз государственная измена, заговор против Германской империи, подготовка вооруженного восстания и еще неведомо что. Каждого пункта в отдельности хватило бы с избытком.

Тринадцать месяцев боролся я за жизнь товарищей и за свою. И смелостью и хитростью. Мои враги вписали в свою программу «нордическую хитрость». Думаю, что и я кое-что понимаю в хитрости. Я проигрываю только потому, что у них кроме хитрости еще и топор в руках.

Итак, конец единоборству. Теперь осталось только ждать. Пока составят обвинительный акт, пройдет две-три недели, потом меня повезут в Германию, суд, приговор, а затем сто дней ожидания казни. Такова перспектива.

Итак, у меня в запасе четыре, может быть, пять месяцев. За это время может измениться многое. Может измениться все. Может... Сидя здесь, предсказать трудно. Но ускорение развязки за стенами тюрьмы ускорит и наш конец. Так что шансы уравниваются.

Надежда состязается с войной, смерть состязается со смертью. Что придет раньше — смерть фашизма или моя смерть? Не передо мной одним встает этот вопрос. Его задают десятки тысяч узников, миллионы солдат, десятки миллионов людей в Европе и во всем мире. У одного надежды больше, у другого меньше. Но это только кажется. Разлагающийся капитализм заполнил мир ужасами, и эти ужасы угрожают каждому смертельной бедой. Сотни тысяч людей — и каких людей! — погибнут прежде, чем оставшиеся в живых смогут сказать себе: мы пережили фашизм.

Решают уже месяцы, скоро будут решать дни. И как раз они и будут самыми трудными. Не раз я думал, как обидно быть последней жертвой войны, солдатом, в сердце которого в последний миг попадает последняя пуля. Но кто-то должен быть последним! И если бы я знал, что после меня не будет больше жертв, я охотно пошел бы на смерть.

...За недолгий срок, который я еще пробуду в тюрьме Панкрац, мне уже не удастся сделать этот репортаж таким, каким бы мне хотелось.

Надо быть лаконичнее. Надо больше свидетельствовать о людях, чем о событиях. Это, я думаю, самое важное. Я начал свои портреты с четы Елинеков, простых людей, в которых в обычное время никто бы не увидел героев.

При аресте они стояли рядом, подняв руки: он бледный, она с чахоточным румянцем на щеках. В глазах ее мелькнул испуг, когда она увидела, как гестаповцы за пять минут перевернули вверх дном ее образцовую

квартирку. Она медленно повернула голову к мужу и спросила:

— Пе́пик [1], что же теперь будет?

Он всегда был немногоречив, с трудом находил слова, необходимость говорить выводила его из равновесия. Теперь он ответил спокойно, без напряжения:

— Пойдем на смерть, Маня.

Она не вскрикнула, не пошатнулась, только легким движением опустила и подала ему руку под дулами направленных на них револьверов. За это ему и ей достались первые удары по лицу. Мария отерла лицо, посмотрела несколько удивленно на непрошеных гостей и сказала не без юмора:

— Такие красивые парни,— голос ее окреп,— такие красивые парни... и такие звери.

Она не ошиблась. Через несколько часов ее выводили из кабинета, где происходил «допрос», избитую почти до бесчувствия. Но не добились от нее ничего. Ни в этот раз, ни потом.

Не знаю, что происходило с Елинеками в те дни, когда я замертво лежал в камере. Знаю только, что за все это время они не сказали гестаповцам ни слова. Они ждали указаний от меня.

Сколько раз Пепика связывали по рукам и ногам и били, били, били...

Но он не говорил до тех пор, пока не удавалось сказать ему или хотя бы дать понять взглядом, что можно говорить и как это нужно сделать, чтобы запутать следствие.

Мария была очень чувствительна и не прочь поплакать. Такой я знал ее до ареста. Но за время заключения я не видел слезинки на ее глазах. Она любила свою квартирку. Но когда товарищи с воли, чтобы сделать ей

---

[1] Пе́пик — уменьшительное от Иозеф.

приятное, сообщили, что знают, кто украл ее мебель, и держат вора на примете, Мария ответила:

— Черт с ней, с мебелью! Не стоит тратить на это время. Есть дела поважнее, теперь вы должны работать и за нас. Сперва надо навести порядок в главном, а там, если я доживу, дома наведу порядок сама.

Настал день, когда их обоих увезли в разные стороны. Тщетно я пытался узнать об их судьбе. Из гестапо люди исчезают бесследно, исчезают и рассеиваются по тысячам разных кладбищ. Но какие всходы даст этот страшный посев!

Последним заветом Марии было:

«Передайте на волю, чтобы меня не жалели и не дали себя запугать. Я делала, что велел мне мой рабочий долг, и умру, не изменив ему».

Она была «всего лишь служанка». У нее не было классического образования, и она не знала, что когда-то уже было сказано: «Путник, поведай ты гражданам Лакедемона, что, их заветам верны, мертвые здесь мы лежим».

СУПРУГИ ВЫСУШИЛЫ

Они жили в том же доме, где Елинеки. В квартире рядом. И звали их тоже Иозеф и Мария. Они были немного старше своих соседей.

Иозеф был мелким служащим.

В первую мировую войну его, ну́сельского[1] долговязого семнадцатилетнего парня, взяли в солдаты. Через несколько недель он вернулся с фронта с раздробленным коленом и навсегда остался калекой.

Он познакомился с Марией в лазарете в Брно, где она была сиделкой. Мария была старше его на восемь лет. С первым мужем жизнь у нее сложилась несчастливо, она

[1] Нусле — район Праги.

разошлась с ним и после войны вышла замуж за Пепика. В ее отношении к нему навсегда осталось что-то покровительственное, материнское. Оба они были не из пролетарских семей, и их семья тоже не была пролетарской. Их путь к партии был несколько сложнее, труднее, но они нашли этот путь. Как во многих подобных случаях, он лежал через Советский Союз. Еще до оккупации они знали, к чему стремятся, и укрывали в своей квартире немецких антифашистов.

В самое тяжелое время, после нападения Германии на Советский Союз и в период первого осадного положения в 1941 году, у них собирались члены Центрального Комитета. У них ночевали Гонза Зика и Гонза Черный, а чаще всего я. Здесь писались статьи для «Руде право», здесь было принято много решений, здесь я впервые встретился с «Карелом» — Черным.

Иозеф и Мария были щепетильно точны во всяком деле, внимательны и никогда не терялись при неожиданностях, а их в нелегальной работе всегда уйма. Они умели соблюдать конспирацию. Да и кому могло прийти в голову, что долговязый Высушил, мелкий служащий с железной дороги, и его «пани» могли быть замешаны в чем-то запретном!

И все-таки его арестовали вскоре после меня. Я сильно встревожился, когда увидел его в тюрьме. Очень многое оказалось бы под угрозой, если бы он заговорил. Но он молчал. Его арестовали за несколько листовок, которые он дал прочесть товарищу, и, кроме как об этих листовках, от него гестаповцы ничего не узнали.

Через несколько месяцев, когда открылось, что Гонза Черный жил у свояченицы Высушила, гестаповцы два дня «допрашивали» Пепика, пытаясь найти следы «последнего из могикан» нашего Центрального Комитета. На третий день Пепик появился в «Четырехсотке» и осторожно примостился на скамейке — на живом мясе чертовски

трудно сидеть. Встревоженный, я посмотрел на него вопросительно и ободряюще. Он откликнулся с лаконичностью жителя пражской окраины:

— Коль башка прикажет, ни язык, ни задница не скажет.

Я хорошо знал эту пару, знал, как они любили друг друга, как они скучали, когда приходилось расставаться на день-другой. Теперь проходили месяцы... Как тяжело должно было жить одинокой женщине в уютной квартирке, женщине в том возрасте, когда одиночество хуже смерти! Сколько бессонных ночей провела она наедине, размышляя, как бы помочь мужу, как бы вернуть свою крохотную идиллию — они немного смешно называли друг друга «мамочкой» и «папочкой». И она нашла единственно правильный путь: продолжать его дело, работать за себя и за него.

В новогоднюю ночь 1943 года она поставила на стол два прибора. На том месте, где обычно сидел он, стояла его фотография. Пробило полночь, и Мария чокнулась с его рюмкой, выпила за его здоровье, за то, чтобы он вернулся, за то, чтобы он дожил до свободы.

Через месяц арестовали и ее. Многие заключенные в «Четырехсотке» встревожились, узнав об этом, так как на воле Мария была одной из связных.

Но она не сказала ни слова.

Ее не били. Она была слишком хилой и умерла бы под палкой. Для нее изобрели пытку похуже — терзали ее воображение.

За несколько дней до ее ареста Пепика угнали в Польшу на принудительные работы. И на допросах ей говорили:

— Жизнь там, знаете ли, тяжелая. Даже для здоровых. А ваш муж калека. Он не выдержит: помрет где-нибудь, так и не увидите его. А разве сможете вы, в ваши-то годы, найти другого? Будьте же благоразумны, расскажите, что знаете, и мы тотчас вернем вам вашего мужа.

«Помрет где-нибудь... Мой бедный Пепик! И бог весть какой смертью... Сестру мою убили, мужа убивают, останусь одна, совсем одна. Это в мои-то годы! Одна-одинешенька до самой смерти... А ведь могла бы его спасти, вернули бы мне его... Но какой ценой? Нет, это была бы уже не я, это уже не был бы мой «папочка».

Не выдала ничего, исчезла где-то в одном из безымянных транспортов гестапо. Скоро пришла весть, что Пепик умер в Польше.

ЛИДА

Впервые я пришел к Баксам вечером. Дома были только Иожка и маленькое создание с озорными глазами, которое называли Лидой. Это был еще почти ребенок. Она с любопытством уставилась на мою бороду, явно довольная, что в квартире появилось новое развлечение, которым можно заняться на некоторое время.

Мы быстро подружились. Выяснилось, что этой девочке скоро девятнадцать лет, что она сводная сестра Иожки, фамилия ее Плаха [1] — очень мало подходящее к ней — и что больше всего на свете она увлекается любительскими спектаклями.

Я стал поверенным ее тайн, из чего уразумел, что я уже мужчина в летах. Она доверяла мне свои юные мечты и печали и в спорах с сестрой или зятем прибегала ко мне, как к третейскому судье. Она была порывиста, как подросток, и избалованна, как младший ребенок в семье.

Лида была моим провожатым, когда после полугода конспиративного сидения взаперти я первый раз вышел из дома прогуляться. Пожилой прихрамывающий господин привлекает меньше внимания, если идет не один, а с дочерью. Заглядываться будут скорее на нее, чем на него. Лида пошла со мной и на вторую прогулку, потом на

[1] Плаха — по-чешски «пугливая».

первую нелегальную встречу, потом на первую явку. И так — как говорится теперь в обвинительном акте — само собой получилось, что она стала связной.

Лида делала все с охотой, не особенно интересуясь тем, что это значит и для чего это нужно. Это было нечто новое, интересное, такое, что не каждый может делать, что похоже на приключение. И этого ей было достаточно.

Пока она не принимала участия ни в чем серьезном, я тоже не хотел ни во что посвящать ее. В случае ареста неосведомленность была бы ей лучшей защитой, чем сознание «вины».

Но Лида все больше втягивалась в работу. Ей уже можно было дать поручение посерьезнее, чем забежать к Елинекам и передать им какое-нибудь мелкое задание. Ей уже пора было узнать, для чего мы работаем. И я начал объяснять. Это были уроки, самые настоящие регулярные уроки. Лида училась прилежно и с охотой. На вид она оставалась все той же девочкой, веселой, легкомысленной и немного озорной, но на самом деле она была уже иная. Она думала и росла.

На подпольной работе Лида познакомилась с Миреком. У него за плечами был уже некоторый опыт подполья, о котором он умел интересно рассказывать. Это импонировало Лиде. Она не разглядела подлинного нутра Мирека, но ведь не разглядел его и я. Важно было, однако, что он стал ей ближе других именно своей видимой убежденностью, своим участием в подпольной работе. Он стал ей ближе других знакомых молодых людей.

Преданность делу росла и крепла в Лиде. В начале 1942 года она нерешительно, запинаясь, заговорила о вступлении в партию. Никогда я не видел ее такой смущенной. Ни к чему до сих пор она не относилась с такой серьезностью. Я все еще колебался. Все еще подготавливал и испытывал ее. В феврале 1942 года она была принята в партию непосредственно Центральным Комитетом. Поздней мороз-

ной ночью мы возвращались домой. Обычно разговорчивая, Лида молчала. В поле, недалеко от дома, она вдруг остановилась, тихо, совсем тихо, так, что был слышен шорох падающих снежинок, сказала:

— Я знаю, что это был самый важный день в моей жизни. Больше я не принадлежу себе. Обещаю, что не подведу, что бы ни случилось.

Случилось многое. И Лида не подвела.

Она поддерживала связь между членами Центрального Комитета. Ей поручались опаснейшие задания: восстанавливать нарушенные связи и предупреждать людей, находившихся под угрозой. Когда явке грозил неизбежный провал, Лида шла туда и проскальзывала, как угорь. Делала она это, как и раньше: уверенно, с веселой беззаботностью, под которой, однако, скрывалось сознание ответственности.

Ее арестовали через месяц после нас. Признания Мирека привлекли к ней внимание гестаповцев, и вскоре без труда выяснилось, что она помогла сестре и зятю скрыться и перейти в подполье. Тряхнув головой, Лида начала с темпераментом разыгрывать роль легкомысленной девчонки, которая и представления не имела о каких-либо запретных делах и связанных с ними последствиях.

Она знала многое и не выдала ничего. А главное, она не перестала работать и в тюрьме. Изменилась обстановка, изменились методы работы, изменились задания, но осталась обязанность члена партии — никогда не опускать рук. Все задания она выполняла самоотверженно, быстро и точно. Если нужно было выпутаться из трудного положения и спасти кого-нибудь на воле, Лида с невинным видом брала на себя чужую «вину». В Панкраце она стала коридорной, и десятки совершенно незнакомых людей обязаны ей тем, что избежали ареста. Только через год случайно перехваченная тюремщиками записка положила конец ее «карьере».

Теперь Лида поедет с нами на суд в Германию. Она единственная из всей нашей большой группы, у кого есть надежда дожить до дней свободы. Она молода. Если нас уже не будет в живых, постарайтесь, чтобы она не оказалась потерянной для партии. Ей нужно многому учиться. Учите ее, берегите ее от застоя. Направляйте ее. Не давайте ей зазнаваться или успокаиваться на достигнутом. Она хорошо проявила себя в самое тяжелое время. Пройдя испытание огнем, она показала, что сделана из прочного металла.

«МОЙ» ГЕСТАПОВЕЦ

Это уже не человек, это человечишка, однако небезынтересный и несколько крупнее других.

Когда лет десять назад, сидя в кафе «Флора» на Виноградах, вы собирались постучать монетой о стол или крикнуть: «Обер-кельнер! Получите!» — около вас вырастал высокий худощавый человек в черном. Беззвучно, словно водяной жук, проплыв между столиками, он подавал счет. У него были быстрые и бесшумные движения хищника и быстрые рысьи глаза, которые замечали все. Ему не надо было говорить, чего ты хочешь, он сам указывал кельнерам: «Третий стол — один кофе с молоком», «Налево у окна — пирожное и «Лидове новины». Посетители считали его отличным официантом, а официанты — хорошим сослуживцем.

Тогда я еще не знал его. Мы познакомились значительно позднее, у Елинеков, когда он держал в руке уже не карандаш, а револьвер и, показывая на меня, говорил:

— Этот меня интересует больше всех.

Сказать по правде, мы оба проявляли интерес друг к другу.

Природа наделила его умом, и от остальных гестаповцев он выгодно отличался тем, что разбирался в людях. В уголовной полиции он мог бы, несомненно, сделать карь-

еру. Мелкие жулики и убийцы, деклассированные одиночки, наверное, не колеблясь, открывались бы ему: у них одна забота — спасти свою шкуру.

Но политической полиции редко приходится иметь дело со шкурниками. В гестапо хитрость полицейского сталкивается не только с хитростью узника. Ей противостоит сила несравненно большая: убежденность заключенного, мудрость коллектива, к которому он принадлежит. А против этого немногое сделаешь одной хитростью или побоями.

Твердых убеждений у моего «комиссара» не было, как не было их и у всех прочих гестаповцев. А если кое у кого и бывали убеждения, то в сочетании с глупостью, а не с умом, без теоретической подготовки и знания людей. И если в целом пражское гестапо все же действовало с успехом, то только потому, что наша борьба тянулась слишком долго и была очень стеснена пространством.

Это были самые тяжелые условия, в каких когда-либо работало подполье. Русские большевики говорили, что тот, кто выдержит два года в подполье,— хороший подпольщик. Но когда им грозил провал в Москве, они могли скрыться в Петроград, а из Петрограда в Одессу: они могли затеряться в городах с миллионным населением, где их никто не знал. А у нас была лишь Прага, Прага и еще раз Прага, где тебя знает полгорода и где враг может сосредоточить целую свору провокаторов. И все же мы держались годы, и есть товарищи, которые почти пять лет живут в подполье, и гестапо до сих пор не смогло добраться до них. Это потому, что мы многому научились. И еще потому, что враг, хотя он силен и жесток, не знает иных методов, кроме уничтожения.

В отделе II-А-1 три человека считаются особенно беспощадными врагами коммунистов и носят черно-бело-красные ленточки «За заслуги в борьбе с внутренним врагом». Это Фридрих, Зандер и «мой» гестаповец, Иозеф Бём. О гитлеровском национал-социализме они говорят

мало и знают о нем не больше. Они борются не за политическую идею, а за самих себя. Каждый на свой лад.

Зандер — тщедушный человечек с разлившейся желчью. Он лучше других умеет пользоваться полицейскими приемами, но еще лучше разбирается в финансовых операциях. Однажды его перевели из Праги в Берлин, но через несколько месяцев он выпросил себе перевод обратно. Перевод в столицу Третьей империи был для него понижением и принес ему крупные убытки. У колониального чиновника в дебрях Африки... или в Праге больше власти, чем в метрополии, и больше возможности пополнить свой банковский счет. Зандер усерден и часто, чтобы показать свое рвение, допрашивает даже в обеденное время. Это ему нужно, чтобы прикрыть еще большее рвение к наживе. Горе тому, кто попадется в его руки, но еще большее горе тому, у кого дома есть сберегательная книжка или ценные бумаги. Он должен умереть в кратчайший срок, ибо сберегательные книжки и ценные бумаги — это страсть Зандера. Он считается самым способным из гестаповцев... по этой части. (В отличие от него, его чешский помощник и переводчик Смóла являет собой тип грабителя-джентльмена: отняв деньги, он не посягает на жизнь.)

Фридрих — долговязый, поджарый, смуглолицый субъект со злыми глазами и злой усмешкой. В Чехословакию он приехал еще в 1937 году как агент гестапо и участвовал в убийствах немецких антифашистов-эмигрантов. Его страсть — мертвецы. Невиновных для Фридриха не существует. Всякий, кто переступил порог его кабинета, виновен. Фридрих любит сообщать женам, что их мужья умерли в концлагере или были казнены. Иногда он вынимает из ящика семь маленьких урн и показывает их допрашиваемому:

— Этих семерых я ликвидировал собственноручно. Ты будешь восьмым.

(Сейчас урн уже восемь.)

Фридрих любит перелистывать старые «дела» и удовлетворенно произносит, встречая имена казненных: «Ликвидирован! Ликвидирован!»

Особенно охотно он пытает женщин.

Его страсть — роскошь. Это дополнительный стимул его полицейского усердия. Если у вас мануфактурный магазин или хорошо обставленная квартира, это значительно ускорит вашу смерть.

Хватит о Фридрихе.

Его помощник, чех Нергр, ниже его ростом на полголовы. Другой разницы между ними нет.

У Бёма нет особого пристрастия ни к деньгам, ни к мертвецам, хотя последних на его счету не меньше, чем у Зандера или Фридриха. По натуре он авантюрист и хочет сделать карьеру. Для гестапо он работает уже давно: был официантом в кафе «Наполеон», где происходили секретные встречи Бера́на, и то, чего не докладывал Гитлеру сам Беран, доносил Бём. Но разве это можно сравнить с охотой на людей, с возможностью распоряжаться их жизнью и смертью, решать судьбы целых семей? Он не обязательно жаждал свирепой расправы над заключенными, но, если нельзя выдвинуться иначе, шел на любые жестокости. Ибо что значит красота и жизнь человеческая для того, кто ищет геростратовой славы?

Бём создал широчайшую сеть провокаторов... Он охотник с огромной сворой гончих псов. И он охотится. Часто из простой любви к охоте. Допросы — это уже скучное ремесло. Главное удовольствие для него — арестовывать и наблюдать людей, ожидающих его решения. Однажды он арестовал в Праге более двухсот вожатых и кондукторов трамваев, автобусов и троллейбусов и гнал их по рельсам, остановив транспорт, задержав уличное движение. Все это доставляло ему величайшее удовольствие. Потом он освободил сто пятьдесят человек, довольный тем, что в ста пятидесяти семьях его назовут «добрым».

Бём обычно вел массовые, но незначительные дела. Я попал ему в руки случайно и был исключением.

— Ты — мое крупнейшее дело,— откровенно говорил он мне и очень гордился тем, что мое дело вообще считалось одним из самых крупных.

Возможно, это обстоятельство и продлило мою жизнь.

Мы неутомимо лгали друг другу, однако это не было ложью без оглядки. Я всегда знал, когда он лжет, а он — только иногда. После того как ложь становилась явной для обоих, мы, по молчаливому уговору, переходили к другому вопросу. Я думаю, ему не столько важно было установить истину, сколько «хорошо сделать» свое «крупнейшее дело».

Палку и кандалы он не считал единственными средствами воздействия. Вообще он охотнее убеждал или грозил, в зависимости от того, как он оценивал «своего» человека. Меня он никогда не истязал, кроме разве первой ночи, но при случае передавал для этой цели кому-нибудь другому.

Он был безусловно занятнее и сложнее других гестаповцев. У него была богаче фантазия, и он умел ею пользоваться. Иногда он вывозил меня, как приманку, якобы на свидание в Браник, и мы сидели в ресторанчике, в саду, наблюдали струившийся мимо нас людской поток.

— Вот ты арестован,— философствовал Бём,— а посмотри, изменилось ли что-нибудь вокруг? Люди ходят, как и раньше, смеются, хлопочут, и все идет своим чередом, как будто тебя и не было. Среди этих прохожих есть и твои читатели. Не думаешь ли ты, что у них из-за тебя прибавилась хоть одна морщинка?

Однажды после многочасового допроса он посадил меня вечером в машину и повез через всю Прагу к Градчанам, над Нерудовой улицей.

— Я знаю, ты любишь Прагу. Посмотри. Неужели тебе не хочется вернуться сюда? Как она хороша! И останется такой же, когда тебя уже не будет...

Он был умелым искусителем. Летним вечером, тронутая дыханием близкой осени, Прага была в голубоватой дымке, как зреющий виноград, пьянила, как вино: хотелось смотреть на нее до скончания веков...

— И станет еще прекраснее, когда здесь не будет вас,— прервал его я.

Он усмехнулся, не злобно, а как-то хмуро, и сказал:

— Ты циник.

Потом он не раз вспоминал этот вечерний разговор:

— Когда не будет нас... Значит, ты все еще не веришь в нашу победу?

Он задавал этот вопрос потому, что не верил сам. И он внимательно слушал однажды то, что я говорил о силе и непобедимости Советского Союза. Это был, кстати сказать, один из моих последних допросов.

— Убивая чешских коммунистов, вы с каждым из них убиваете частицу надежды немецкого народа на будущее,— не раз говорил я Бёму.— Только коммунизм может спасти его.

Он махнул рукой.

— Нас уже не спасешь, если мы потерпим поражение.— Он вытащил пистолет.— Вот смотри, последние три пули я берегу для себя.

...Но это уже характеризует не только его. Это характеризует эпоху, которая клонится к закату.

ИНТЕРМЕЦЦО О ПОДТЯЖКАХ

У двери противоположной камеры висят подтяжки. Обыкновенные мужские подтяжки. Предмет, который я никогда не любил. Теперь я с радостью поглядываю на них всякий раз, когда открывается наша дверь. В этих подтяжках — крупица надежды.

Когда попадаешь в тюрьму, где тебя, возможно, вскоре забьют до смерти, первым делом у тебя отбирают галстук,

пояс и подтяжки, чтобы ты не повесился (хотя можно отлично повеситься с помощью простыни). Эти опасные орудия смерти хранятся в тюремной канцелярии до тех пор, пока какая-нибудь Немезида из гестапо не решит, что надо послать тебя на принудительные работы, в концлагерь или на казнь. Тогда тебя приводят в канцелярию и с важным видом выдают галстук и подтяжки. Но в камеру эти вещи брать нельзя. Ты должен повесить их в коридоре около дверей или на перилах напротив. Там они висят до твоей отправки как наглядный знак того, что один из обитателей камеры готовится в невольное путешествие.

Подтяжки у противоположной двери появились в тот самый день, когда я узнал, какая судьба ожидает Густину. Товарища из камеры напротив отправляют на принудительные работы с той же партией, что и Густину. Транспорт еще не отбыл. Он неожиданно задержался, говорят, потому, что место назначения разбомбили дотла. (Ничего себе перспектива!) Когда отправится транспорт, никому не известно. Может быть, сегодня вечером, может быть, завтра, может быть, через неделю или две. Подтяжки напротив еще висят. И я знаю: пока они здесь, Густина в Праге. Поэтому я поглядываю на подтяжки радостно и с любовью, как на друзей Густины, которые ей помогают... Она выиграла уже день, два, три... Кто знает, что это может дать? Не спасет ли ее лишний день промедления?

Все мы здесь живем этим. Сегодня, месяц назад, год назад мы думали и думаем только о завтрашнем дне, в нем наша надежда. Твоя судьба решена, послезавтра ты будешь казнен... Но эх, мало ли что может случиться завтра! Только бы дожить до завтра, завтра все может перемениться, все кругом так неустойчиво, и... кто знает, что может случиться завтра?

«Завтра» сменяются одно за другим, тысячи людей гибнут, для тысяч нет уже больше «завтра», но уцелевшие живут одной надеждой — завтра, кто знает, что будет завтра?

Такое настроение порождает самые невероятные слухи, каждую неделю появляется новое оптимистическое предсказание конца войны, все, улыбаясь, охотно подхватывают радужную версию, она передается из уст в уста, и в тюрьме распространяется новая сенсация, которой так хочется верить. Борешься с этим, развенчиваешь беспочвенные надежды — они не укрепляют, а только расслабляют людей: ведь оптимизм может и должен питаться не выдумкой, а правдой, ясным предвидением несомненной победы; но и в тебе живет надежда, что один какой-то день может стать решающим, именно тот, который тебе удастся выиграть, что он перенесет тебя через грань смерти, нависшей над тобой, к жизни, из которой так не хочется уходить.

Так мало дней в человеческой жизни, а тут еще хочется, чтобы они бежали быстрее, быстрее, быстрее... Время, быстротекущее и неуловимое, неудержимо приближающее нас к старости, становится нашим другом. Как это странно...

Завтрашний день стал вчерашним. Послезавтрашний — сегодняшним и тоже ушел в прошлое.

Подтяжки у двери все еще висят.

Глава VI

Осадное положение 1942 года

27 МАЯ 1943 ГОДА

Это было ровно год назад.

С допроса меня отвели вниз, в «кино». Таков был ежедневный маршрут «Четырехсотки»: в полдень вниз — на обед, который привозят из Панкраца, а после обеда — обратно на четвертый этаж. Но в тот день мы больше наверх не попали.

Сидим за обедом. На скамьях тесно, заключенные усиленно работают челюстями и ложками. С виду все почти по-человечески. Но если бы вдруг в эту минуту те, кто будет мертв завтра, превратились в скелеты, звяканье ложек о глиняную посуду потонуло бы в хрусте костей и сухом лязге челюстей. Однако пока никто ничего не предчувствует. Все едят с аппетитом, надеясь поддержать свою жизнь еще на недели, месяцы, годы.

Казалось, что стоит безоблачная погода. И вдруг внезапный порыв ветра. И снова тишина. Только по лицам надзирателей можно догадаться, что происходит что-то. А через несколько минут и более ясный признак: нас вызывают и выстраивают для отправки в Панкрац. В обед! Случай небывалый. Представьте, что у вас распухла голова от вопросов, на которые нельзя ответить, и вас на целых полдня оставляют в покое,— это ли не милость божия? Так и показалось нам сначала. Но лишь показалось.

В коридоре встречаем генерала Элиаша. Вид у него встревоженный. Заметив меня, он, несмотря на снующих вокруг надзирателей, успевает шепнуть:

— Осадное положение.

В распоряжении заключенного для передачи самых важных новостей только доли секунды. Элиашу уже не удается ответить на мой вопросительный взгляд.

Надзиратели в Панкраце удивлены нашим преждевременным возвращением. Тот, что ведет меня в камеру, внушает мне больше доверия, чем другие. Я еще не знаю, что он собой представляет, но делюсь с ним новостью. Он отрицательно качает головой. Ему ничего не известно. Вероятно, я ослышался. Да, возможно. Это меня успокаивает.

Но вечером он приходит и заглядывает в камеру:

— Вы были правы. Покушение на Гейдриха. Тяжело ранен. В Праге осадное положение.

На следующее утро перед отправкой на допрос нас выстраивают в нижнем коридоре. С нами товарищ Виктор

Сынек, последний из оставшихся в живых членов Центрального Комитета Коммунистической партии, весь состав которого был арестован в феврале 1941 года. Долговязый ключник эсэсовец размахивает перед его носом белым листком бумаги, на котором жирным шрифтом отпечатано: «Entlassungsbefehl» [1].

Эсэсовец скалит зубы.

— Вот видишь, еврей, дождался-таки. Пропуск на тот свет! Чик, и готово! — Он проводит пальцем по шее, показывая, как отлетит голова Виктора.

Во время осадного положения в 1941 году первым был казнен Отто Сынек. Виктор, его брат,— первая жертва осадного положения 1942 года. Его везут в Маутхаузен. На расстрел, как они деликатно выражаются.

Поездка из Панкраца во дворец Печека и обратно становится крестным путем для заключенных. Эсэсовская охрана «мстит за Гейдриха». Не успевает машина проехать и километр, как у доброго десятка заключенных лица разбиты в кровь рукоятками револьверов.

Остальным заключенным со мной ехать выгодно: моя длинная борода отвлекает внимание эсэсовцев, и они всячески изощряются, потешаясь над ней. Держаться за мою бороду, как за ремень в подпрыгивающем автобусе,— одно из самых любимых развлечений. Для меня это неплохая подготовка к допросам, которые соответствуют новой ситуации и неизменно заканчиваются напутствием:

— Не образумишься до завтра — расстреляем.

В этом нет уже ничего страшного. Что ни вечер, слышишь, как внизу, в коридоре, выкрикивают фамилии заключенных. Пятьдесят, сто, двести человек в кандалах, которых через минуту погрузят на машины, как скот, предназначенный на убой, и отвезут за город, в Кобылисы, на массовый расстрел. В чем вина этих людей? Прежде всего

[1] Пропуск (нем.).

в том, что они ни в чем не виноваты. Их арестовали, ни к чему серьезному они не причастны, и их показания не нужны ни по одному делу, и, значит, они вполне пригодны для расправы. Сатирические стишки, которые один товарищ прочитал девяти другим, привели в тюрьму всех десятерых за два месяца до покушения. Теперь их казнят... За то, что они одобряют покушение. Полгода назад арестовали женщину по подозрению в распространении листовок. Она ни в чем не созналась. И вот теперь хватают ее сестер и братьев, мужей сестер и жен братьев и казнят всех, потому что истребление целыми семьями — лозунг осадного положения. Мелкий почтовый чиновник, арестованный по ошибке, стоит внизу у стены и ждет, что его сейчас выпустят на волю. Он слышит свое имя и откликается на вызов. Его присоединяют к колонне приговоренных к смерти, увозят за город и расстреливают. На следующий день выясняется, что должны были казнить его однофамильца. Тогда расстреливают и однофамильца — и все в порядке.

Стоит ли тратить время и точно выяснять личность человека, у которого отнимают жизнь! К чему это, если задача состоит в том, чтобы уничтожить целый народ!

Поздно вечером возвращаюсь с допроса. Внизу у стены стоит Владислав Ванчура, у ног его маленький узелок с вещами. Я хорошо понимаю, что это значит. Понимает и он. Мы пожимаем друг другу руки. Поднявшись наверх, я вижу его еще раз из коридора, как он стоит, слегка наклонив голову, и глядит куда-то вдаль...

Несколько дней спустя у той же стены — Ми́лош Красный, арестованный еще в октябре прошлого года, доблестный боец революции, не сломленный ни пытками, ни одиночным заключением. Он спокойно говорит что-то стоящему позади конвойному, слегка повернув к нему голову. Увидев меня, Милош улыбается, кивает мне на прощание и продолжает:

— Это вам нисколько не поможет. Нас погибнет еще немало, но разбиты будете все-таки вы...

И еще раз как-то в полдень. Мы стоим внизу во дворце Печека и ждем обеда. Приводят Элиаша. Под мышкой у него газета, он с улыбкой указывает на нее; он только что прочел, что был связан с участниками покушения.

— Брехня! — говорит он кратко и принимается за еду.

Он шутит над этим и вечером, когда возвращается с остальными в Панкрац. А час спустя его уводят из камеры и везут в Кобылисы.

Груды трупов растут. Считают уже не десятками и не сотнями, а тысячами. Запах непрерывно льющейся крови щекочет ноздри двуногих зверей. Они «работают» с утра до поздней ночи, «работают» и по воскресеньям. Теперь все они ходят в эсэсовской форме, это их праздник, торжество уничтожения. Они посылают на смерть рабочих, учителей, крестьян, писателей, чиновников; они истребляют мужчин, женщин, детей; убивают целыми семьями, уничтожают и сжигают целые деревни. Свинцовая смерть, как чума, расхаживает по всей стране и не щадит никого.

А человек среди этого ужаса?

Живет.

Невероятно. Но он живет, ест, спит, любит, работает, думает о множестве вещей, которые совсем не вяжутся со смертью. Вероятно, в глубине души он ощущает гнетущую тяжесть, но он несет ее не сгибаясь, не падая духом.

Во время осадного положения «мой» гестаповец повез меня в Браник. Июньский вечер благоухал липами и отцветающими акациями. Было воскресенье. Шоссе, ведущее к конечной остановке трамвая, не вмещало торопливого потока людей, возвращавшихся в город с прогулки. Они шумели, веселые, блаженно утомленные солнцем, водой, объятиями возлюбленных. Одной только смерти, которая ежеминутно подстерегает их, выбирая всё новые и новые жертвы, я не увидел на их лицах. Они копошились, словно

кролики, легкомысленные и милые. Словно кролики! Схвати и вытащи одного из них — остальные забьются в уголок, а через минуту, смотришь, уже снова начали свою возню, снова хлопочут и радуются, полные жизни.

Из тюрьмы, отгороженной от мира высокой стеной, я попал так неожиданно в шумный людской поток, что вначале мне стало горько при виде этого беззаботного счастья.

Но я был неправ, совершенно неправ.

Жизнь, которую я увидел, в конце концов, была такая же, как и у нас в тюрьме: жизнь под тяжким гнетом, неистребимая жизнь, которую стараются задушить и уничтожить в одном месте, а она пробивается сотнями побегов в другом, жизнь, которая сильнее смерти. Так что же в этом горького?

Впрочем, разве мы, обитатели камер, живущие непосредственно среди этого ужаса, сделаны из другого теста?

Иногда случалось, что по пути на допрос охрана в полицейском автомобиле вела себя более или менее мирно. Через окошечко я смотрел на улицы, витрины магазинов, на киоски с цветами, на толпы прохожих, на женщин. Как-то я загадал, что если по дороге я увижу девять пар хорошеньких ножек, то вернусь с допроса живым. И вот я стал считать, рассматривать, сравнивать: я внимательно изучал линии ног, одобрял и неодобрял их с неподдельным увлечением, как, вероятно, не оценивают ножки, если от этого не зависит жизнь.

Обычно я возвращался в камеру поздно. Папашу Пешека уже начинал мучить вопрос: вернусь ли я вообще? Он обнимал меня; я коротко рассказывал последние новости, сообщал, кто еще расстрелян вчера в Кобылисах, а потом мы с аппетитом съедали ужин из противных сушеных овощей, затягивали веселую песню или с ожесточением играли в кости, в эту глупейшую игру, забыв обо всем на свете. И как раз в те самые вечерние часы, когда в любой

момент дверь нашей камеры могла открыться и посланник смерти мог скомандовать одному из нас:

«Вниз! С вещами! Живо!»

Но нас так тогда и не вызвали. Мы пережили это страшное время. Теперь, вспоминая о нем, мы удивляемся самим себе. Как поразительно устроен человек, если он выносит самое невыносимое!

Эти минуты не могли, конечно, не оставить в нас глубокого следа. Вероятно, все хранится в какой-нибудь извилине мозга, как свернутая кинолента, которая начала бы с бешеной быстротой разматываться в один из дней настоящей жизни, если бы мы дожили до этого дня. Но, может быть, мы увидели бы на экране вместо огромного кладбища только зеленый сад, где посеяны драгоценные семена.

Драгоценные семена, которые дадут всходы!

Глава VII

Люди и людишки. 2
(Панкрац)

Тюрьма ведет две жизни. Одна проходит в запертых камерах, тщательно изолирована от внешнего мира и тем не менее всюду, где есть политические заключенные, связана с ним самым тесным образом. Другая течет вне камер, в длинных коридорах, в тоскливом полумраке; это замкнутый в себе мир, затянутый в мундир, изолированный больше, чем тот, что заперт в камерах,— мир множества людишек и немногих людей. О нем я и хочу рассказать.

У этого мира своя физиология. И своя история. Если бы их не было, я не мог бы узнать его глубже. Я знал бы только декорацию, обращенную к нам, только поверхность этого мира, цельного и прочного на вид, чугунною тя-

жестью легшего на обитателей камер. Так это было год, даже еще полгода назад. Сейчас поверхность изборождена трещинами, а сквозь трещины проглядывают лица — жалкие, приветливые, озабоченные, смешные — словом, самые разнообразные, но всегда выражающие сущность человека. Режим гнета наложил отпечаток и на обитателей этого мрачного мира, и на его фоне светлыми пятнами выделяется все, что есть там человеческого. Иные едва заметны, другие при ближайшем знакомстве выделяются яснее; и среди них имеются разные типы. Можно найти здесь, конечно, и несколько настоящих людей. Чтоб помогать другим, они не ждали, пока сами попадут в беду.

Тюрьма — учреждение не из веселых. Но мир вне камер мрачнее, чем в камерах. В камерах живет дружба, и еще какая! Такая дружба возникает на фронте, когда людям угрожает постоянная опасность, когда сегодня твою жизнь спасает товарищ, а завтра ты спасаешь его. При существующем режиме среди надзирателей-немцев дружбы почти нет. Она исключается. Они живут в атмосфере предательства, слежки, доносов, каждый остерегается своих сослуживцев, которых официально называет «камарадами»; лучшие из них, кто не может и не хочет обойтись без друзей, ищут их... в камерах.

Мы долго не знали надзирателей по именам. Но это не имело значения. Между собой мы называли их кличками, которые дали им мы или наши предшественники и которые переходят по наследству. У одних столько же прозвищ, сколько камер в тюрьме; это заурядный тип, «ни рыба ни мясо» — здесь он дал добавку к обеду, там дал пощечину; и то и другое — факты случайные, тем не менее они надолго остаются в памяти камеры и создают одностороннее представление и одностороннюю кличку. Но некоторые получают одинаковое прозвище во всех камерах. У этих характер четко выражен. То или это. В хорошую или дурную сторону.

Всмотрись в эти типы! Всмотрись в эти фигурки! Ведь как-никак они набраны не с бору по сосенке. Это часть политической армии нацизма. Особые избранники. Столпы режима. Опора общественного порядка...

«САМАРИТЯНИН»

Высокий толстяк говорит тенорком. «СС-резервист» Рейсс, школьный сторож из Кёльна. Как все служители немецких школ, прошел курс первой помощи и иногда заменяет тюремного фельдшера. Он был первым из надзирателей, с которым я здесь познакомился. Это он втащил меня в камеру, положил на матрац, осмотрел раны, приложил первые компрессы. Пожалуй, он действительно помог сохранить мне жизнь. Что в этом сказалось: человечность или курсы первой помощи? Не знаю. Но, в общем, в нем все-таки проявлялся отъявленный нацист, когда он выбивал зубы заключенным евреям и заставлял их глотать полную, с верхом, ложку соли или песку как универсальное средство от всех болезней.

«МЕЛЬНИК»

Добродушный, болтливый парень, по имени Фабиан, возчик с Будеёвицкой пивоварни. Он входил в камеру с широкой улыбкой на лице, приносил заключенным еду, никогда не дрался. Не верилось даже, что он часами простаивает за дверью, подслушивая разговоры заключенных, и доносит по начальству о самых ничтожных пустяках!

КОКЛАР

Тоже рабочий и тоже с Будеёвицкой пивоварни. Здесь много немецких рабочих из Судет. «Дело не в том, в чем в данный момент *видит* свою цель отдельный

пролетарий или даже весь пролетариат,— писал однажды Маркс.— Дело в том, что *такое* пролетариат и что он, сообразно этому своему бытию, исторически вынужден будет сделать». Эти судетские действительно ничего не знают о задачах своего класса. Отторгнутые от него, противопоставленные ему, они идейно повисли в воздухе и, вероятно, будут висеть и в буквальном смысле слова.

Он пришел к нацизму, рассчитывая на более легкую жизнь. Дело оказалось сложнее, чем он себе представлял. С той поры он утратил способность смеяться. Он поставил ставку на нацизм. Оказалось, что он ставил на дохлую лошадь. С той поры он утратил и самообладание. По ночам, расхаживая в мягких туфлях по тюремным коридорам, он машинально оставлял на пыльных абажурах следы своих грустных размышлений.

«Все пошло в нужник!» — поэтически писал он пальцем и подумывал о самоубийстве.

Днем от него достается и заключенным, и сослуживцам, он орет визгливым, срывающимся голосом, надеясь заглушить страх.

РЕССЛЕР

Тощий, долговязый говорит грубым басом, один из немногих способных искренне рассмеяться. Он рабочий-текстильщик из Яблонца. Приходит в камеру и спорит. Целыми часами.

— Как я до этого дошел? Я десять лет не работал по-человечески. А с двадцатью кронами в неделю на всю семью — сам понимаешь — какая жизнь? А тут приходят они и говорят: мы дадим тебе работу, иди к нам. Я пошел. Работу дали. Мне и всем другим. Сыты. Есть крыша над головой. Можно жить. Социализм? Ну, положим, что не социализм. Я, конечно, представлял себе все по-другому. Но так все-таки лучше, чем было... Что? Война? Я не хотел

войны. Я не хотел, чтоб другие умирали. Я сам хотел жить... Я им помогаю, хочу я того или нет! Что же мне остается делать? Разве я здесь кого-нибудь обижаю? Уйду я — придут другие, может быть, хуже меня. Этим я никому не помогу! Что ж, кончится война, вернусь на фабрику... По-твоему, кто выиграет войну? Не мы? Значит, вы? А что тогда будет с нами?.. Конец? Жаль! Я представлял себе все иначе.— И он уходит из камеры, волоча свои длинные ноги.

Через полчаса он возвращается с вопросом: как же в самом деле выглядит все в Советском Союзе?

«ОНО»

Однажды утром мы ждали внизу, в главном коридоре Панкраца, отправки на допрос во дворец Печека. Нас ставили всегда лицом к стене, чтобы мы не видели, что делается сзади. Вдруг раздался незнакомый мне голос:

— Ничего не хочу видеть, ничего не хочу слышать! Вы меня не знаете, вы меня еще узнаете!

Я засмеялся. При здешней муштровке слова жалкого тупицы подпоручика Дуба из «Швейка» действительно пришлись как нельзя более кстати. Но до сих пор никто не решался произнести эту шутку во всеуслышание. Весьма ощутимый толчок более опытного соседа предупредил меня, дав понять, что смеяться нельзя, что это, по-видимому, сказано всерьез. Это была не острота. Отнюдь нет.

Эти слова произнесло крошечное существо в эсэсовской форме, не имеющее, очевидно, о Швейке никакого понятия. Оно цитировало подпоручика Дуба потому, что было родственно ему по духу. Оно отзывалось на фамилию «Витан» и когда-то служило на сверхсрочной службе фельдфебелем в чехословацкой армии. Существо сказало

правду. Мы его действительно основательно узнали и говорили о нем не иначе как в среднем роде: «оно». Говоря по совести, наша фантазия истощилась в поисках меткой клички для этой смеси убожества, тупости, чванства и жестокости, составляющих краеугольные камни панкрацкого режима.

«Поросенку до хвоста»,— говорит о таких мелких и чванливых карьеристах чешская пословица: она бьет их по самому чувствительному месту. Сколько нужно душевного ничтожества, чтобы терзаться из-за своего малого роста! А Витан терзается и мстит за него всем, кто выше его физически или духовно, то есть решительно всем. Он никого не бьет. Для этого он слишком труслив. Зато он шпионит. Сколько заключенных поплатилось здоровьем из-за доносов Витана, сколько поплатилось жизнью,— ведь далеко не безразлично, с какой характеристикой тебя отправят из Панкраца в концентрационный лагерь... и отправят ли вообще.

Он очень смешон. Когда он один в коридоре, то выступает торжественно и важно и мнит себя весьма представительной особой. Но стоит ему кого-нибудь встретить, как он чувствует потребность прибавить себе росту.

Спрашивая вас о чем-нибудь, он непременно садится на перила и в такой неудобной позе способен просидеть целый час только потому, что так он выше вас на целую голову. Надзирая за бритьем арестантов, он становится на ступеньку или ходит по скамье и изрекает свое неизменное:

— Ничего не хочу видеть, ничего не хочу слышать! Вы меня не знаете...

Утром, во время прогулки, он расхаживает по газону, который возвышает его хотя бы на десять сантиметров. В камеры он входит, пыжась, как особа королевской крови, и сейчас же влезает на табурет, чтобы производить поверку с верхнего яруса.

Он очень смешон, но, как всякий облеченный властью болван, от которого зависит человеческая жизнь, к тому же очень опасен.

При всем своем тупоумии он обладает талантом делать из мухи слона. Не зная ничего, кроме обязанностей сторожевого пса, он во всяком незначительном отступлении от предписанного порядка видит нечто необычайно важное, отвечающее значительности его миссии. Он выдумывает проступки и преступления против установленной дисциплины, чтобы спокойно заснуть, сознавая, что и он коечто да значит.

А кто станет здесь проверять, сколько истины в его доносах?

СМЕТОНЦ

Мощное туловище, тупое лицо, бессмысленный взгляд — ожившая карикатура Гросса на нацистских молодчиков. Он был доильщиком коров у границ Литвы, но, как ни странно, эти прекрасные животные не оказали на него никакого облагораживающего влияния. У начальства он слывет воплощением «немецких добродетелей»: он решителен, тверд, неподкупен (один из немногих не вымогает еды у коридорных), но...

Какой-то немецкий ученый, уж не знаю, кто именно, некогда исследовал интеллект животных путем подсчета «слов», которые они способны понимать. При этом он, кажется, установил, что самым низким интеллектом обладает домашняя кошка, которая может понимать только сто двадцать восемь слов. Ах, какой гений кошка по сравнению со Сметонцем, от которого панкрацкая тюрьма слышала всего четыре слова:

— Pass bloss auf Mensch! [1]

[1] Я тебе покажу! (нем.)

Ему приходилось два-три раза в неделю сдавать дежурство, всякий раз он отчаянно пыхтел, и все-таки непременно дело кончалось скандалом. Однажды я видел, как начальник тюрьмы распекал его за то, что закрыты окна. Гора мяса с минуту смущенно переминалась на коротких ногах, тупо опущенная голова опустилась еще ниже, губы судорожно искривились, тщетно силясь повторить то, что слышали уши... и вдруг гора взревела как сирена; во всех коридорах поднялся переполох, никто ничего не мог понять, окна так и не открыли, а у двух заключенных, случайно подвернувшихся под руку Сметонцу, потекла кровь из носа. Выход был найден.

Такой, как всегда. Бить, бить при всяком случае, а если нужно, то и убить,— это он понимал. Только это. Как-то раз он зашел в общую камеру и ударил одного из заключенных; заключенный, больной человек, упал на пол в судорогах; все остальные должны были приседать в такт его подергиваниям, пока больной не затих, обессилев.

А Сметонц, уперев руки в бока, с идиотской улыбкой удовлетворенно наблюдал и радовался: как удачно он разрешил сложную ситуацию.

Примитивное существо, запомнившее из всего, чему его учили, только одно: можно бить!

И все же и в таком существе что-то надломилось. Произошло это приблизительно с месяц назад. В тюремной канцелярии сидели вдвоем Сметонц и К.; К. рассказывал о политическом положении. Долго, очень долго пришлось говорить, пока Сметонц начал хоть немного разбираться в вопросе. Он встал, отворил дверь канцелярии, внимательно осмотрел коридор; всюду тишина, ночь, тюрьма спит. Притворил и тщательно запер за собой дверь, потом медленно опустился на стул:

— Ты та-ак думаешь?

И он долго сидел, подперев голову руками. Непосильная тяжесть навалилась на слабую душонку, заключенную в могучем теле. Он долго не менял положения. Потом поднял голову и сказал уныло:

— Должно быть, та-ак. Нам не выиграть...

Уже месяц, как Панкрац не слышит воинственных окриков Сметонца. И новые заключенные не знают, как тяжела его рука.

НАЧАЛЬНИК ТЮРЬМЫ

Невысокий, всегда элегантный — в штатском или в форме унтерштурмфюрера,— благопристоен, самодоволен, любит собак, охоту и женщин. Это — одна сторона, которая нас не касается.

Другая сторона (и таким его знает Панкрац) — грубый, жестокий, невежественный, типичный нацистский выскочка, готовый принести в жертву кого угодно, лишь бы уцелеть самому. Зовут его Соппа (если имя вообще имеет какое-то значение), родом он из Польши. Говорят, что он учился кузнечному делу, но это почтенное ремесло не оставило в нем следа. На службе у гитлеровцев он уже давно и за свои услуги в качестве предвыборного агитатора получил теперешний пост. Он цепляется за него всеми силами и, проявляя полную бесчувственность, не щадит никого: ни заключенных, ни тюремщиков, ни детей, ни стариков. Панкрацкие нацисты не дружат между собой, но таких, как Соппа, у которого ни с кем нет и тени дружеских отношений, здесь не найдется ни одного. Единственный человек, которого он, видимо, ценит и с которым чаще других разговаривает,— это тюремный фельдшер, полицейский фельдфебель Вайснер. Но, кажется, Вайснер не платит ему взаимностью.

Сопп думает только о себе. Ради личных выгод он добился высокого поста, ради личных выгод он останется верен нацизму до последней минуты. Пожалуй, он один не

думает о каком-либо спасительном выходе. Он понимает, что выхода нет. Падение нацизма означает и его падение, конец его благополучию, конец его великолепной квартире и его элегантному виду (между прочим, он ничуть не гнушается одеждой казненных чехов).

Это конец. Да, конец.

ТЮРЕМНЫЙ ФЕЛЬДШЕР

Полицейский фельдфебель Вайснер — марионетка, своеобразный человечек для панкрацкой среды. Иногда может показаться, что он не на своем месте, а иной раз невозможно представить себе Панкрац без него. Если Вайснера нет в амбулатории, он семенит по коридорам нетвердыми шагами, разговаривает сам с собой и непрерывно оглядывается по сторонам. Он бродит по тюрьме, как случайный посетитель, желающий вынести отсюда как можно больше впечатлений. Но он умеет так же быстро и неслышно вставить ключ в замочную скважину и открыть дверь в камеру, как самый заправский тюремщик. У него есть суховатый юмор, который позволяет ему говорить вещи, полные скрытого смысла, и притом так, что на слове его не поймаешь. Он умеет подойти к людям, но к себе не подпускает никого. Он не доносит, не жалуется, хотя многое замечает. Войдет в камеру, полную дыма. Шумно потянет в себя носом:

— Гм! Куренье в камерах,— и причмокнет,— строго воспрещается.

Но начальству ничего не доложит. У него всегда несчастное, искаженное гримасой лицо, как будто его мучит какое-то горе. Он явно не хочет иметь ничего общего с нацистским режимом, которому служит, и жертвам которого ежедневно оказывает медицинскую помощь. Он не верит в этот режим и в его долговечность, не верил никогда и раньше. Поэтому он не перевез в Прагу свою

семью из Вроцлава, хотя мало кто из имперских чиновников упустил бы случай пожить всем домом за счет оккупированной страны. В то же время у него нет ничего общего и с народом, который ведет борьбу против «нового порядка»; он чужд и ему.

Он лечил меня старательно и добросовестно. Так он поступает почти всегда и может воспротивиться отправке на допрос заключенного, слишком обессилевшего от пыток. Возможно, это делается для успокоения совести. Но иногда он не оказывает помощи там, где она совершенно необходима. Вероятно, от страха.

Это тип обывателя, одинокого, раздираемого страхом перед настоящим и перед будущим. Он ищет выхода. Это только жалкий мышонок в мышеловке, из которой нет надежды выбраться.

«ЛОДЫРЬ»

Это не просто человечишка. Но и не совсем еще человек. Нечто среднее. Он не понимает, что мог бы стать настоящим человеком.

Собственно говоря, таких здесь двое. Это простые, отзывчивые люди; вначале потрясенные ужасами, среди которых они очутились, они как бы онемели, потом им страстно захотелось выбраться отсюда. Но они не самостоятельны и поэтому скорее инстинктивно, чем сознательно, ищут поддержки и руководства тех, кто вывел бы их на правильный путь; они помогают тебе, потому что ждут от тебя помощи. Было бы справедливо оказать им эту помощь сейчас — и в будущем.

Эти двое — единственные из всех немцев, служащих в Панкраце,— побывали также на фронте.

Ханауэр — портной из Зноймо, недавно вернулся с Восточного фронта, нарочно отморозив себе обе ноги. «Война человеку ни к чему,— несколько по-швейковски философствует он,— нечего мне там делать».

Хёфер — веселый сапожник с фабрики Бати, проделал кампанию во Франции и бросил военную службу, хотя ему обещали и повышение.

— Эх, Scheisse![1] — сказал он себе и отмахнулся рукой, как, вероятно, ежедневно с тех пор отмахивается от всех неприятностей, которых у него немало.

У обоих одинаковая судьба и одинаковые настроения, но Хёфер смелее, самостоятельнее и целеустремленнее. Почти во всех камерах его зовут «Флинк».

Во время его дежурства в камерах наступает отдых. Делай что вздумается. Если он бранится, то щурит глаз, давая понять, что брань к нам не относится, просто ему надо убедить в своей строгости сидящее внизу начальство. Впрочем, он напрасно старается: он уже никого не проведет, и не проходит недели, чтоб он не получал взысканий.

— Эх, Scheisse! — машет он рукой и продолжает свое.

И вообще он скорей легкомысленный молодой башмачник, чем тюремщик. Можешь поймать его на том, что он весело, с азартом играет в камере в орлянку с заключенными. Иногда он выводит заключенных в коридор и устраивает в камере «обыск». Обыск затягивается. Если ты из любопытства заглянешь в дверь, то увидишь, что он сидит за столом, подперев голову руками. Он спит, спит крепко и спокойно; так ему легче всего спасаться от начальства, потому что заключенные стерегут в коридоре и предупредят о грозящей опасности. А во время дежурства спать поневоле захочется, если свободные от службы часы он посвящает девушке, которую любит больше всего.

Поражение или победа нацизма?

— Эх, Scheisse! Да разве такой балаган устоит?

Он не причисляет себя к нацистам. Хотя бы поэтому он заслуживает внимания. Больше того: он не хочет быть с ними. И он не с ними. Надо передать записочку в другое

---

[1] Дерьмо! (нем.)

отделение? «Флинк» это устроит. Надо сообщить что-нибудь на волю? «Флинк» это сделает. Необходимо с кем-нибудь переговорить с глазу на глаз, поддержать колеблющегося и спасти таким образом от провала новых людей? «Флинк» отведет тебя к нему в камеру и посторожит с озорным видом, радуясь удачной проделке. Его часто приходится учить осторожности. Он не понимает окружающей его опасности. Не осознает всего значения того, что делает. Это помогает ему делать многое. И в то же время мешает его росту.

Он еще не человек. Но все-таки переход к человеку.

«КОЛИН»

Дело происходило однажды вечером, во время осадного положения. Надзиратель в форме эсэсовца, впустивший меня в камеру, обыскал мои карманы только для виду.

Потихоньку спросил:

— Как ваши дела?

— Не знаю. Сказали, что завтра расстреляют.

— Вас это испугало?

— Я к этому готов.

Привычным жестом он быстро ощупал полы моего пиджака.

— Возможно, что так и сделают. Может быть, не завтра, позже, может, и вообще ничего не будет... Но в такие времена лучше быть готовым...

И опять замолчал.

— Может быть... Вы не хотите что-нибудь передать на волю? Или что-нибудь написать? Пригодится. Не сейчас, разумеется, а в будущем: как вы сюда попали, не предал ли вас кто-нибудь, как кто держался... Чтобы с вами не погибло то, что вы знаете...

Хочу ли я написать? Он угадал мое самое пламенное желание.

Через минуту он принес бумагу и карандаш. Я тщательно их припрятал, чтобы не нашли ни при каком обыске.

А после этого не притронулся к ним.

Это было слишком хорошо — я не мог довериться. Слишком хорошо: здесь, в мертвом доме, через несколько недель после ареста в мундире врага, от которого нечего ждать, кроме ругани и побоев, вдруг встретить человека — друга, протягивающего тебе руку, чтобы ты не сгинул бесследно, чтобы помочь тебе передать в будущее то, что ты видел, на миг воскресить прошлое для тех, кто останется жить после тебя. И именно теперь! В коридорах выкрикивали фамилии осужденных на смерть; пьяные от крови эсэсовцы свирепо ругались; горло сжималось от ужаса у тех, кто не мог кричать. Именно теперь, в такое время, подобная встреча была невероятной, она не могла быть правдой, это, наверное, была только ловушка. Какой силой воли должен был обладать человек, чтобы в такой момент по собственному побуждению подать тебе руку! И каким мужеством!

Прошло около месяца. Осадное положение было снято, страшные минуты превратились в воспоминания. Был опять вечер, опять я возвращался с допроса, и опять тот же надзиратель стоял перед камерой.

— Кажется, выкарабкались. Надо полагать,— и он посмотрел на меня испытующе,— все было в порядке?

Я понял вопрос. Он глубоко оскорбил меня. Но и убедил больше, чем что-либо другое, в честности этого человека. Так мог спрашивать только тот, кто имеет внутреннее право на это. С тех пор я стал доверять ему, это был наш человек.

На первый взгляд — странная фигура. Он ходил по коридорам одинокий, спокойный, замкнутый, осторожный, зоркий. Никто не слышал, как он ругается. Никто не видел, чтобы он кого-нибудь бил.

— Послушайте, дайте мне затрещину при Сметонце,— просили его товарищи из соседней камеры,— пусть он хоть раз увидит вас за работой.

Он отрицательно покачал головой:

— Не нужно.

Я никогда не слышал, чтобы он говорил по-немецки. По всему было видно, что он не такой, как все. Хотя трудно было сказать почему. Надзиратели сами чувствовали это, но понять, в чем дело, не умели.

Он поспевает всюду, где нужно. Вносит успокоение там, где поднимается паника, подбадривает там, где вешают голову, налаживает связь, если оборванная нить грозит опасностью людям на воле. Он не разменивается на мелочи. Он работает систематически, с большим размахом.

Такой он не только сейчас. Таким он был с самого начала. Он пошел на службу к нацистам, имея перед собой ясную цель.

Адольф Колинский, надзиратель из Моравии, чех из старой чешской семьи, выдал себя за немца, чтобы попасть в надзиратели чешской тюрьмы в Краловом Градце, а потом в Панкраце. Немало, должно быть, возмущались его друзья и знакомые. Но четыре года спустя во время рапорта начальник тюрьмы, немец, размахивая перед его носом кулаками, с некоторым опозданием грозил:

— Я вышибу из вас чешский дух!

Он, впрочем, ошибался. Одновременно с чешским духом ему пришлось бы вышибить из него и человека. Человека, который сознательно и добровольно взялся за свое трудное дело, чтобы бороться и помогать в борьбе, и которого непрерывная опасность лишь закалила.

«НАШ»

Если бы 11 февраля 1943 года утром к завтраку нам принесли какао вместо обычной черной жижи неизвестно-

го происхождения, мы удивились бы меньше, чем мелькнувшему у двери нашей камеры мундиру чешского полицейского.

Он только промелькнул. Шагнули черные брюки в сапогах, рука в темно-синем рукаве поднялась к замку и захлопнула дверь,— видение исчезло. Оно было настолько мимолетно, что уже через четверть часа мы были готовы этому не верить.

Чешский полицейский в Панкраце! Какие далеко идущие выводы можно было из этого сделать!

И мы сделали их через два часа. Дверь снова открылась, внутрь камеры просунулась чешская полицейская фуражка, и при виде нашего удивления на лице ее обладателя обозначился растянутый до ушей рот.

— Freistunde! [1]

Теперь мы уже не могли сомневаться. Среди серо-зеленых эсэсовских мундиров в коридорах появилось несколько темных пятен, которые резко бросились нам в глаза: чешские полицейские.

Что это нам предвещает? Как они себя будут вести? Как бы они себя ни вели, самый факт их появления говорил яснее всяких слов. Насколько же непрочен режим, если в свой самый чувствительный орган — аппарат уничтожения, являющийся для них единственной опорой, гитлеровцам приходится допускать народ, который они хотят уничтожить! Какой страшный недостаток в людях должны они испытывать, если вынуждены ослаблять даже свою последнюю опору, чтобы найти несколько второстепенных исполнителей. Сколько же времени они собираются еще продержаться? Разумеется, они будут специально подбирать людей, возможно, что эти люди окажутся еще хуже гитлеровских надзирателей, которые привыкли истязать и разложились от неверия в победу, но самый факт появления чехов — это безошибочный признак конца.

---

[1] Отдых! (нем.)

Так мы рассуждали.

Но положение было куда серьезнее, чем мы предполагали в первые минуты. Дело в том, что нацистский режим уже не мог выбирать, да и выбирать ему было не из кого.

Одиннадцатого февраля мы впервые увидели чешские мундиры.

На следующий день мы начали знакомиться и с людьми.

Один из них пришел, окинул нас взглядом, потоптался в раздумье у порога, потом — словно козленок, подпрыгнувший в припадке бурной энергии на всех четырех ножках сразу,— внезапно вскочил в камеру и сказал:

— Ну, как поживаем, господа?

Мы, смеясь, ответили ему. Он тоже засмеялся, потом смущенно добавил:

— Вы не обижайтесь на нас. Поверьте, уж лучше бы нам шлепать и дальше по мостовым, чем вас тут сторожить... Да что поделаешь... А может... может быть, это и к лучшему...

Он обрадовался, когда услышал, что́ мы об этом думаем и как наша камера относится к ним. Словом, мы стали друзьями с первой же минуты. Это был Витек, простой, добродушный парень. Именно он и промелькнул одиннадцатого утром у дверей нашей камеры.

Второй, Тума,— тип настоящего старого чешского тюремщика. Грубоватый, крикливый, но, в сущности, добрый малый, таких когда-то называли в тюрьмах республики «дядька». Он не понимал своеобразия своего положения; наоборот, он сразу стал вести себя как дома и, сопровождая все свои слова солеными шуточками, не столько поддерживал порядок, сколько нарушал его: тут сунет в камеру хлеб, там — сигареты, здесь примется балагурить (конечно, не касаясь политики). Делал он это, нисколько не стесняясь; таково было его представление об обязанностях надзирателя, и он этого не скрывал. После первого

выговора он стал осторожнее, но не переменился. По-прежнему остался «дядькой». Я не решился бы попросить его о чем-нибудь серьезном. Но при нем легко дышится.

Третий ходил по коридору насупившись, молчаливо, ни на кого не глядя. На осторожные попытки познакомиться поближе он не реагировал.

— От этого большого толка не будет,— сказал папаша, понаблюдав за ним с неделю.— Самый неподходящий из всех.

— Или самый хитрый,— предположил я больше из духа противоречия, потому что споры по поводу мелочей оживляют жизнь в камере.

Недели через две мне показалось, что молчальник как-то особенно подмигнул одним глазом. Я повторил в ответ это неосторожное движение, имеющее в тюрьме тысячи значений. И опять без результата. Вероятно, я ошибся.

А через месяц все стало ясно. Это было неожиданно, как выход бабочки из куколки. Невзрачная, неподвижная куколка лопнула, и появилось живое существо. То была не бабочка, это был человек.

— Ставишь памятники,— говорит папаша по поводу некоторых моих характеристик.

Да, я не хочу, чтобы были забыты товарищи, которые погибли, честно и мужественно сражаясь на воле или в тюрьме. И не хочу также, чтобы позабыли тех из оставшихся в живых, кто столь же честно и мужественно помогал нам в самые тяжелые часы. Я хочу, чтобы из тьмы панкрацких коридоров вышли на свет такие фигуры, как Колинский или этот чешский надзиратель. Не ради прославления их, но как пример другим. Обязанность быть человеком не кончится вместе с теперешней войной, и для выполнения этой обязанности потребуется героическое сердце, пока все люди не станут людьми.

В сущности, обыкновенная история, которая произошла с полицейским Ярославом Горой. Но это история настоящего человека.

Радницко. Захолустный уголок Чехословакии. Красивый, грустный и бедный край. Отец — рабочий стекольного завода. Тяжелая жизнь. Изнурительная работа, когда она есть, и нужда, когда наступает безработица, прочно прижившаяся в этих местах. Такая жизнь или поставит на колени, или поднимет человека, породив в сердце жажду лучшего мира, веру в него и готовность за него бороться. Отец выбрал второе. Он стал коммунистом.

Юный Ярда участвует с колонной велосипедистов в майской демонстрации, и красная ленточка переплетает спицы колес его велосипеда. Он не забывает о ней. Сам того не зная, он хранит ее в душе, работая учеником, токарем в мастерской, потом на заводе Шкоды.

Кризис, безработица, армия, поиски работы, полицейская служба. Не знаю, что в это время происходило в его душе, хранившей красную ленточку. Может быть, она была свернута, сложена, может быть, полузабыта, но не потеряна. В один прекрасный день его назначили на службу в Панкрац. Он пришел сюда не добровольно, как Колинский, с заранее поставленной целью. Но он понял свою задачу, как только в первый раз заглянул в камеру. Ленточка развернулась.

Он разведывает поле боя. Оценивает свои силы. Лицо его хмурится, он упорно размышляет, с чего и как лучше начать. Он не профессиональный политик. Он простой сын народа. Но в памяти опыт его отца. У него здоровое нутро, в нем все более возрастает решимость. И он решается. Из невзрачной куколки выходит человек.

У этого человека прекрасная, чистая душа: он чуток, скромен и вместе с тем смел. Он способен пойти на все, что от него потребуется. Требуется и малое и большое. И он делает и малое и большое. Работает без позы, не то-

ропясь, обдуманно, не трусит. Он даже не представляет себе, что может быть иначе. В нем говорит категорический императив. Так должно быть — так что же об этом разговаривать?

И это, собственно, все. Это вся история человека, в заслугу которому уже сейчас можно поставить спасение нескольких человеческих жизней. Люди живы и работают на воле потому, что один человек в Панкраце выполнил свой долг. Он не знает их, они не знают его, как не знают Колинского. Мне хотелось бы, чтобы о них обоих узнали, хотя бы с опозданием. Они быстро нашли здесь друг друга. И это увеличило их возможности.

Запомни их как пример. Как образец людей, у которых голова на месте. И самое главное — сердце.

ДЯДЮШКА СКОРЖЕПА

Если вы случайно увидите всех троих вместе, перед вами будет живое воплощение побратимства: надзиратель Колинский — серо-зеленый эсэсовский мундир, Гора — темный мундир чешской полиции, дядюшка Скоржепа — светлая, хотя и невеселая форма тюремного коридорного. Увидеть их всех вместе можно очень, очень редко. Именно потому, что они единомышленники.

По тюремной инструкции, к уборке в коридорах и к раздаче пищи разрешается допускать «лишь особо благонадежных и дисциплинированных заключенных, которые должны быть тщательно изолированы от остальных». Это буква закона. Мертворожденный параграф. Таких коридорных нет и никогда не было. И в особенности в застенках гестапо. Наоборот, коридорные здесь — это разведка коллектива заключенных, высылаемая из камер, чтобы быть ближе к вольному миру, чтобы коллектив мог жить и общаться между собой. Сколько коридорных поплатилось здесь жизнью из-за неудачно выполненного поручения

или перехваченной записки! Но закон коллектива заключенных неумолимо требует, чтобы те, кто займет их место, продолжали эту опасную работу. Возьмешься ли ты за нее смело или будешь трусить — все равно тебе от нее не отвертеться. Трусость может только напортить, а то и все погубить, как во всякой подпольной работе.

А подпольная работа здесь опасна вдвойне: она ведется под самым носом у тех, кто стремится раздавить подполье, на глазах у надзирателей, в тех местах, которые определяются ими, в секунды, которые зависят от них, в условиях, которые создают они. Здесь недостаточно того, чему вы научились на воле. А спрашивается с тебя не меньше.

Есть мастера подпольной работы на воле. И такие же мастера есть среди коридорных. Дядюшка Скоржепа — истинный мастер своего дела.

Он скромен, непритязателен, на первый взгляд неловок, но изворотлив, как уж. Надзиратели не нахвалятся им: «День-деньской за работой, надежнее человека не найти, думает только о своих обязанностях, его не совратить на какие-нибудь запретные дела; коридорные, берите с него пример!»

Да, берите с него пример, коридорные! Он действительно образцовый коридорный в том смысле, как это понимаем мы, заключенные. Это самый надежный и самый ловкий разведчик тюремного коллектива.

Он знает обитателей всех камер и тотчас же узнает все, что нужно, о каждом новичке: почему тот оказался здесь, кто его соучастники, как он держится и как держатся они. Он изучает «случаи» и старается разобраться в них. Все это важно знать, чтобы дать совет или исправно выполнить поручение.

Он знает врагов. Он тщательно прощупывает каждого надзирателя, выясняет его привычки, его слабые и сильные стороны, знает, чем каждый особенно опасен, как его

лучше использовать, усыпить внимание, провести. Многие характеристики, которые я здесь даю, почерпнуты мной из рассказов дядюшки Скоржепы. Он знает всех надзирателей и может подробно обрисовать каждого из них. Это очень важно, если он хочет беспрепятственно ходить по коридорам и уверенно вести работу.

И прежде всего он помнит свой долг. Это коммунист, который знает, что нет такого места, где бы он посмел не быть членом партии, сложить руки и прекратить свою деятельность. Я даже сказал бы, что именно здесь, в условиях величайшей опасности и жесточайшего террора, он нашел свое настоящее место. Здесь он вырос.

Он гибок. Каждый день и каждый час рождаются новые ситуации, требующие для своего разрешения иных приемов. Он находит их немедленно. В его распоряжении секунды. Он стучит в дверь камеры, выслушивает заранее подготовленное поручение и передает его кратко и точно на другом конце коридора, раньше чем новая смена дежурных успеет подняться на второй этаж. Он осторожен и находчив. Сотни записок прошли через его руки, и ни одной не перехватили, даже подозрений на его счет не возникло.

Он знает, у кого что болит, где требуется поддержка, где необходимы точные сведения о положении на воле, где его подлинно отеческий взгляд придаст силы человеку, в котором растет отчаяние, где лишний ломоть хлеба или ложка супа помогут перенести тягчайший переход к «тюремному голоду». Он все это знает благодаря своей чуткости и громадному опыту, знает и действует.

Это сильный, бесстрашный боец. Настоящий человек. Таков дядюшка Скоржепа.

Мне хотелось бы, чтобы тот, кто прочтет когда-нибудь эти строки, увидел в нарисованном портрете не только дядюшку Скоржепу, но и замечательный тип «хаусарбайтера», то есть «служителя из заключенных», сумевшего пре-

вратить работу, на которую его поставили угнетатели, в работу для угнетенных. Дядюшка Скоржепа — единственный в своем роде, но были и другие «служители», непохожие друг на друга, но не менее замечательные. Были и в Панкраце и во дворце Печека. Я хотел набросать их портреты, но, к сожалению, у меня осталось лишь несколько часов — слишком мало даже для «песни, в которой быстро поется о том, что в жизни свершается медленно».

Вот хотя бы несколько примеров, несколько имен из тех, кто справедливо заслуживает, чтобы их не забыли.

Доктор Милош Недвед — прекрасный, благородный товарищ, который за свою ежедневную помощь заключенным поплатился жизнью в Освенциме.

Арношт Лоренц, у которого казнили жену за то, что он отказался выдать товарищей, и который через год сам пошел на казнь, чтобы спасти других «хаусарбайтеров» из «Четырехсотки» и весь ее коллектив.

Никогда не унывающий, вечно шутливый Вашек; молчаливая, самоотверженная Анка Викова, казненная в дни осадного положения; энергичный...[1]; всегда веселый, ловкий, изобретательный «библиотекарь» Шпрингл; застенчивый юноша Билек...

Только примеры, только примеры. Люди покрупнее и помельче. Но всегда люди, а не людишки.

Глава VIII

Страница истории

9 ИЮНЯ 1943 ГОДА

За дверью перед моей камерой висит пояс. Мой пояс. Значит, меня отправляют. Ночью меня повезут в «империю» судить... и так далее. От ломтя моей жизни время

[1] В рукописи имя не проставлено.

жадно откусывает последние куски. Четыреста одиннадцать дней в Панкраце промелькнули непостижимо быстро. Сколько еще дней осталось? Где я их проведу? И как?

Едва ли у меня еще будет возможность писать. Пишу свое последнее показание. Страницу истории, последним живым свидетелем которой я, по-видимому, являюсь.

В феврале 1941 года весь состав Центрального Комитета Коммунистической партии Чехословакии вместе с заместителями, намеченными на случай провала, был арестован. Как могло случиться, что на партию обрушился такой страшный удар, пока еще точно не установлено. Об этом, должно быть, в свое время расскажут пражские гестаповцы, когда предстанут перед судом. Я напрасно пытался, как и «хаусарбайтер» из дворца Печека, добраться до сути дела. Не обошлось, конечно, без провокации, но сыграла свою роль также и неосторожность. Два года успешной работы в подполье несколько усыпили бдительность товарищей. Подпольная организация росла вширь, в работу все время вовлекались новые люди, в том числе и те, которых партия должна была бы использовать по другому назначению. Аппарат разрастался и становился таким громоздким, что трудно было его контролировать. Удар по партийному центру был, видно, давно подготовлен и обрушился в тот момент, когда уже было задумано нападение немцев на Советский Союз.

Я не представлял себе сначала масштабов провала. Я ждал обычного появления нашего связного и не дождался. Но через месяц стало ясно, что случилось нечто очень серьезное и я не имею права только ждать. Я начал сам нащупывать связь; другие делали то же самое.

Прежде всего я установил связь с Гонзой Ву́скочилом, который руководил работой в Средней Чехии. Он был человек с инициативой и подготовил кое-какой материал для

издания «Руде право»,— нельзя было, чтобы партия оставалась без центрального органа. Я написал передовицу, но мы решили, что весь материал (который был мне неизвестен) выйдет как «Майский лист», а не как номер «Руде право», так как другая группа товарищей уже выпустила газету, хотя и очень примитивного вида.

Наступили месяцы партизанских методов работы. Хотя партию и постиг сокрушительный удар, уничтожить ее он не мог. Сотни новых товарищей принимались за выполнение неоконченных заданий, на место погибших руководителей самоотверженно становились другие и не допускали, чтобы организация распалась или стала пассивной. Но центрального руководства все еще не было, а в партизанских методах таилась та опасность, что в самый важный момент — в момент ожидаемого нападения на Советский Союз — у нас могло не оказаться единства действий.

В доходивших до меня номерах «Руде право», издававшегося тоже партизанскими методами, я чувствовал опытную политическую руку. Из нашего «Майского листка», оказавшегося, к сожалению, не слишком удачным, другие товарищи, в свою очередь, увидели, что существует еще кто-то, на кого можно рассчитывать. И мы шли искать друг друга.

Это были поиски в дремучем лесу. Мы шли на голос, а он отзывался уже с другой стороны. Тяжелая потеря научила партию быть более осторожной и бдительной, и два человека из центрального аппарата, которые хотели установить между собой связь, должны были пробираться сквозь чащу многочисленных проверочных и опознавательных преград, которые ставили и они сами, и те, кто должен был их связать. Это было тем сложнее, что я не знал, кто находится на «той стороне», а он не знал, кто я.

Наконец мы нашли общего знакомого. Это был чудесный товарищ, доктор Милош Недвед, который и стал нашим первым связным. Но и это произошло почти слу-

чайно. В середине июня 1941 года я заболел и послал за ним Лиду. Он немедленно явился на квартиру к Баксам — и тут-то мы и договорились. Ему как раз было поручено искать этого «другого», и он не подозревал, что «другой» — это я. Как и все товарищи с «той стороны», он был уверен, что я арестован и что, скорее всего, меня уже нет в живых.

22 июня 1941 года Гитлер напал на Советский Союз. В тот же вечер мы с Гонзой Вы́скочилом выпустили листовку, разъяснявшую значение этой войны для нас, чехов. 30 июня произошла моя первая встреча с тем, кого я так долго искал. Он пришел в назначенное мною место, уже зная, с кем он увидится. А я все еще не знал. Стояла летняя ночь, в открытое окно вливался аромат цветущих акаций — самая подходящая пора для любовных свиданий. Мы завесили окно, зажгли свет и обнялись. Это был Гонза Зи́ка.

Оказалось, что в феврале арестовали не весь Центральный Комитет. Один из членов комитета, Зика, уцелел. Я давно был знаком с ним и давно его любил. Но по-настоящему я узнал его только теперь, когда мы стали работать вместе. Круглолицый, всегда улыбающийся, с виду похожий на доброго дядюшку, но в то же время твердый, самоотверженный, решительный, не признающий компромиссов в партийной работе. Он не знал и не хотел знать для себя ничего, кроме партийных обязанностей. Он отрекся от всего, чтобы выполнять их. Он любил людей и, в свою очередь, пользовался их любовью, но никогда не приобретал ее ценой беспринципной снисходительности.

Мы договорились в две минуты. А через несколько дней я знал и третьего члена нового руководства, который связался с Зикой еще в мае. Это был Гонза Че́рный, рослый, красивый парень, на редкость хороший товарищ. Он сражался в Испании и вернулся оттуда с простреленным легким уже во время войны через нацистскую Германию; в нем осталось кое-что от солдата, кроме того, он

обладал богатым опытом подпольной работы и был талантливым, инициативным человеком.

Месяцы напряженной борьбы крепко спаяли нас. Мы дополняли друг друга как характерами, так и своими способностями. Зика — организатор, деловитый и педантически точный, которому нельзя было пустить пыль в глаза; он тщательно проверял всякое сообщение, добираясь до сути дела, всесторонне рассматривал каждое предложение и деликатно, но настойчиво следил за выполнением любого нашего решения. Черный, руководивший саботажем и подготовкой к вооруженной борьбе, мыслил как военный человек; он был чужд всякой мелочности, отличался большим размахом, неукротимостью и находчивостью; ему всегда везло при поисках новых форм работы и новых людей. И я — агитпропщик, журналист, полагающийся на свой нюх, немного фантазер с долей критицизма — для равновесия.

Разделение функций было, впрочем, скорее разделением ответственности, чем работы. Каждому из нас приходилось вмешиваться во все и действовать самостоятельно всюду, где это могло понадобиться. Работать было нелегко. Рана, нанесенная партии в феврале, была еще свежа и так и не зажила до конца. Все связи оборвались, некоторые организации провалились полностью, а к тем, что сохранились, не было путей. Целые организации, целые заводы, а иногда и целые области месяцами были оторваны от центра. Пока налаживалась связь, нам оставалось только надеяться, что хоть центральный орган попадет им в руки и заменит руководство. Не было явок — пользоваться старыми мы не могли, опасаясь, что за ними еще наблюдают; денег на первых порах не было, трудно было добывать продовольствие, многое приходилось начинать с самого начала... И все это — в те дни, когда партия уже не могла ограничиваться одной подготовительной работой, в дни нападения на Советский Союз, когда она должна

была прямо вступить в бой, организовать внутренний фронт против оккупантов, вести «малую войну» в их тылу не только своими силами, но и силами всего народа. В подготовительные 1939—1941 годы партия ушла в глубокое подполье, она была законспирирована не только от немецкой полиции, но и от масс. Теперь, истекающая кровью, она должна была довести до совершенства конспирацию от оккупантов и одновременно покончить с конспирацией от народа, наладить связь с беспартийными, обратиться ко всему народу, вступать в союз с каждым, кто готов воевать за свободу, и решительным примером вести на борьбу и тех, кто еще колеблется.

В начале сентября 1941 года мы могли впервые сказать, что добились первых успехов. И хотя мы не восстановили разгромленную организацию (до этого было далеко), во всяком случае, опять существовало прочно организованное ядро, которое могло хотя бы частично выполнять серьезные задания. Возрождение партийной деятельности сразу сказалось. Рос саботаж, росло число забастовок на заводах. В конце сентября Берлин выпустил на нас Гейдриха.

Первое осадное положение не сломило возрастающего активного сопротивления, но ослабило его и нанесло партии новые удары. Именно тогда были разгромлены пражская партийная организация и организация молодежи, погибли также некоторые товарищи, очень ценные для партии: Ян Кре́йчи, Штанцль, Ми́лош Красный и многие другие.

Но после каждого из таких ударов становилось еще очевиднее, как несокрушима партия. Падал боец, и, если его не мог заменить один, на его место становились двое, трое. В новый, 1942 год мы вступали уже с крепко построенной организацией; правда, она еще не охватывала всех участков работы и далеко не достигла масштабов февраля 1941 года, но была уже способна выполнить

задачи в решающих битвах. В работе участвовали все, но главная заслуга принадлежала Гонзе Зике.

О том, как действовала наша печать, могут, наверное, рассказать материалы, сохраненные товарищами в тайных архивах, на чердаках и в подвалах, и мне нет надобности об этом говорить.

Наши газеты получили широкое распространение, их жадно читали не только члены партии, но и беспартийные; они выходили большими тиражами и печатались в ряде самостоятельных, тщательно обособленных друг от друга нелегальных типографий — на гектографах и стеклографах и на настоящих типографских станках. Выпускались они регулярно и быстро, как и требовали обстоятельства. Например, с приказом по армии верховного главнокомандующего от 23 февраля 1942 года первые читатели могли познакомиться уже вечером 24 февраля. Отлично работали наши печатники, группа врачей и особенно группа «Фукс-Лоренц», которая выпускала, кроме того, свой собственный информационный бюллетень под названием «Мир против Гитлера». Все остальное я делал сам, стараясь беречь людей. На случай моего провала был подготовлен заместитель. Он продолжал мою работу, когда я был арестован, и работает до сих пор.

Мы создали самый несложный аппарат, заботясь о том, чтобы всякое задание требовало как можно меньше людей. Мы отказались от длинной цепи связных, которая, как это показал февраль 1941 года, не только не предохраняла партийный аппарат, но, наоборот, ставила его под угрозу. Было, правда, больше риска для каждого из нас в отдельности, но для партии в целом это было гораздо безопаснее. Такой провал, как в феврале, больше не мог повториться.

И поэтому, когда я был арестован, Центральный Комитет, пополненный одним новым членом, мог спокойно продолжать свою работу. Ибо даже мой ближайший со-

трудник не имел ни малейшего представления о составе Центрального Комитета.

Гонзу Зику арестовали 27 мая 1942 года ночью. Это опять-таки был несчастный случай. После покушения на Гейдриха весь аппарат оккупантов был поставлен на ноги и производил облавы по всей Праге. Гестаповцы явились на квартиру в Стршешовицах, где как раз скрывался тогда Зика. Документы у него были в порядке, и он, очевидно, не привлек бы к себе внимания. Но он не хотел подвергать опасности приютившую его семью и попытался выпрыгнуть из окна третьего этажа. Он разбился; и в тюремную больницу его привезли со смертельным повреждением позвоночника. Гестаповцы не знали, кто попал в их руки. Только через восемнадцать дней его опознали по фотографии и умирающего привезли во дворец Печека на допрос. Так мы встретились с ним в последний раз. Меня привели на очную ставку. Мы подали друг другу руки, он улыбнулся мне своей широкой, доброй улыбкой и сказал:

— Здравствуй, Юля!

Это было все, что от него услышали. После этого он не сказал ни слова. После нескольких ударов по лицу он потерял сознание. А через несколько часов скончался.

Я узнал о его аресте уже 29 мая. Наша разведка работала хорошо. С ее помощью я частично согласовал с ним свои дальнейшие шаги. А затем наш план был одобрен также и Гонзой Черным. Это было последнее постановление нашего Центрального Комитета.

Гонзу Черного арестовали летом 1942 года. Тут уже не было никакой случайности, провал произошел из-за грубой недисциплинированности Яна Поко́рного, имевшего связь с Черным. Покорный вел себя не так, как следовало руководящему партийному работнику. Через несколько часов допроса — конечно, достаточно жестокого, но чего иного он мог ожидать? — через несколько часов допроса

он струсил и выдал квартиру, где встречался с Гонзой Черным. Отсюда след повел к самому Гонзе, и через несколько дней он попал в лапы гестапо.

Нам устроили очную ставку немедленно, как только его привезли.

— Ты знаешь его?

— Нет, не знаю.

Оба мы отвечали одинаково. Затем он отказался вообще отвечать. Его старое ранение избавило его от долгих страданий. Он быстро потерял сознание. Прежде чем дело дошло до второго допроса, он был уже обо всем точно осведомлен и действовал дальше в соответствии с нашим решением.

От него ничего не узнали. Его долго держали в тюрьме, долго ждали, что чьи-нибудь новые показания заставят его говорить. И не дождались.

Тюрьма не изменила его. Веселый, мужественный, он открывал отдаленные перспективы жизни другим, зная, что у него только одна перспектива — смерть.

Из Панкраца его неожиданно увезли в конце апреля 1943 года. Куда — неизвестно. Такое внезапное исчезновение имеет в себе что-то зловещее. Можно, конечно, ошибаться. Но я не думаю, чтобы нам суждено было снова встретиться.

Мы всегда считались с угрозой смерти. Мы знали: если мы попадем в руки гестапо, живыми нам не уйти. В соответствии с этим мы действовали и здесь.

И моя пьеса подходит к концу. Конец я не дописал. Его я не знаю. Это уже не пьеса. Это жизнь.

А в жизни нет зрителей.

Занавес поднимается.

Люди, я любил вас! Будьте бдительны!

9.6.43

ПОСЛЕДНИЕ ПИСЬМА

Письмо, тайно вынесенное из гестаповской тюрьмы Панкрац

Мои плоды из тех, что долго не созревают, из тех, что поднимаются из черных подземных вод, когда на горах уже лежит первый снег, и наливаются соком в туманах печальных лугов.

Ф. Кс. Шальда

ГУСТИНЕ

Милая моя!

Почти нет надежды на то, что когда-нибудь мы с тобой, держась за руки, как малые дети, пойдем по косогору над рекой, где веет ветер и светит солнце. Почти нет надежды на то, что я смогу когда-нибудь, живя в покое и удобствах, окруженный друзьями-книгами, написать то, о чем мы с тобой говорили и что накапливалось и зрело во мне двадцать пять лет. Часть жизни у меня уже отняли, когда уничтожили мои книги. Однако я не сдаюсь, не уступаю, не хочу допустить, чтобы и другая часть погибла без остатка, бесследно в камере № 267. Поэтому в минуты, которые я краду у смерти, я пишу эти заметки о чешской литературе. Никогда не забывай, что человек, который передаст их тебе, дал мне возможность не умереть всему. Карандаш и бумага, которые я от него получил, волнуют меня, как первая любовь, и я сейчас больше чувствую, чем мыслю, больше грежу, чем подыскиваю слова и составляю фразы. Нелегко будет писать без материалов,

без цитат, и поэтому кое-что из того, что я так ясно, прямо-таки ощутимо представляю себе, покажется, быть может, неясным и нереальным тем, к кому я обращаюсь. Поэтому я пишу прежде всего для тебя, моя милая, для моей помощницы и первой читательницы: ты лучше всех поймешь, что было у меня на сердце, и, возможно, вместе с Ладей и моим седовласым издателем дополнишь то, что будет нужно. Мое сердце и голова полны, а вот книг у меня никаких нет. Трудно писать о литературе, не имея под рукой ни одной книжки, которую можно было бы приласкать взглядом.

Странная вообще у меня судьба. Ты знаешь, как мне хотелось бы быть птицей или кустом, облаком или бродягой — всем, кто, как и я, любит простор, солнце и ветер. Но вот уже годы, долгие годы я живу подземной жизнью, словно корень. Один из тех неприглядных, пожелтевших корней среди тьмы и тлена, что держат над землей дерево жизни. Никакая буря не свалит дерева с крепкими корнями. Этим гордятся корни. И я. Я не жалею об этом, не жалею ни о чем. Я делал все, что было в моих силах, и делал охотно. Но свет — свет я любил и хотел бы расти ввысь, и хотел бы цвести и созреть, как полезный плод.

Ну что ж. На дереве, которое мы, корни, держали и удержали, появятся молодые побеги и созреют новые плоды — поколения новых людей — социалистическое поколение рабочих, писателей, литературных критиков и историков, которое пусть позже, но лучше расскажет о том, чего я рассказать уже не смог. И тогда, быть может, и мои плоды созреют и нальются соком, хотя на мои горы никогда уже не падет снег.

Камера № 267
28 марта 1943 г.

Из писем, написанных в гестаповских тюрьмах в Бауцене и в Берлине и прошедших через нацистскую цензуру

Бауцен, 14.6. 1943

Милая мама, отец, Либа, Вера и вообще все!

Как видите, я переменил местожительство и очутился в тюрьме для подследственных в Бауцене. По дороге с вокзала я заметил, что это тихий, чистый и приятный городок; такова же и его тюрьма (если тюрьмы вообще могут быть приятными для заключенных). Только тишины здесь, пожалуй, слишком много после оживленного дворца Печека; почти каждый заключенный — в одиночке. Но в работе время проходит вполне приятно, а кроме того — как вы видите из прилагаемой официальной памятки,— мне разрешено читать некоторые периодические издания, так что на скуку жаловаться не могу. Кстати говоря, скуку каждый создает себе сам. Есть люди, которые скучают и там, где другим живется отлично. А мне жизнь кажется интересной всюду, даже за решеткой; всюду можно чему-нибудь научиться, всюду найдешь что-нибудь полезное для будущего (если, разумеется, оно у тебя есть).

Напишите мне поскорей, что у вас нового. Руководствуйтесь прилагаемой официальной памяткой; не посылайте посылок, в крайнем случае пришлите денег. Адрес указан наверху вместе с моим именем. А сейчас от души приветствую всех вас, целую, обнимаю и надеюсь на встречу.

Ваш *Юля.*

Бауцен, 17.7. 1943

Мои милые!

Как стремительно летит время! Кажется, прошло всего несколько дней с тех пор, как я впервые написал вам

отсюда, а на столе у меня снова перо и чернила... Месяц прошел! Целый месяц! Вы, наверное, думаете, что в тюрьме время тянется медленно. Так нет же, нет. Быть может, именно потому, что здесь человек считает часы, ему особенно ясно, как коротки они, как короток день, неделя и вся жизнь.

Я один в камере, но не ощущаю одиночества. У меня здесь несколько добрых друзей: книги, станок, на котором я делаю пуговицы, пузатый глиняный кувшин с водой, к которому можно обратиться с шутливым словом (он напоминает приятеля, предпочитающего вино, а не воду), а, кроме того, в углу моей камеры живет паучок. Вы не поверите, как чудесно можно беседовать с этими товарищами, вспоминать о прошлом и петь им песни. А как поразному разговаривает станок в зависимости от моего настроения... Мы отлично понимаем друг друга! Когда я подчас забываю его протереть, он сердится и ворчит, пока я не исправлю своей оплошности.

Есть у меня и еще друзья, не в камере, а во дворике, куда мы каждый день выходим на прогулку. Двор невелик и отделен стеной от большого сада с прекрасными старыми деревьями. Во дворике есть газон, а на нем такое множество всякой травы и цветов, какого я еще не видывал на таком маленьком кусочке земли. Он похож то на лужайку в долине, то на лесную полянку, на нем появляются то анютины глазки, то маргаритки, прелестные, как девушки, то синие колокольчики и ромашки и даже папоротник — отрада, да и только! С ними тоже о многом можно поговорить. Так день, неделя, и, глядь, уже опять прошел месяц.

Да, прошел, а от вас не было вестей. Если бы несколько дней назад я не расписался в получении десяти марок от Либы, я даже не был бы уверен, что вы получили мое письмо и знаете, где я. Ни одного письма от вас я пока не получил. Возможно, они затерялись. Напишите же мне,

напишите. Писать можно раз в месяц. Как у вас дела, как живете, что с Густиной?

Целую и обнимаю всех вас, до свидания.

Ваш *Юля.*

Бауцен, 8.8. 1943

Мои милые!

Собственно, следовало бы написать «мои милыя», потому что все вы, с кем я переписываюсь,— женского пола (похоже на меня, не правда ли?). Итак, мои милыя, я живу по-прежнему, время бежит, а я, как вы мне пожелали, «сохраняю душевное спокойствие». Да и почему бы мне не сохранять его? Два ваших письма я получил и все время радуюсь им. Вы даже не можете себе представить, как много ищешь и находишь в них. Даже то, чего вы там не написали. Вам хочется, чтобы мои письма были длиннее. У меня тоже на сердце много такого, что я хотел бы сказать вам, но лист бумаги от этого не становится больше. Поэтому можете радоваться хотя бы тому, что мой почерк, который вы нередко ругали, так мелок. Половина сегодняшнего письма — для Густины. Отрежьте его и пошлите ей. Но, конечно, и сами прочтите, оно написано и для вас. Дети, когда будете писать Густине, сообщите ей мой адрес, пусть попросит разрешения написать мне.

Вы, кажется, думаете, что человек, которого ждет смертный приговор, все время думает об этом и терзается. Это не так. С такой возможностью я считался с самого начала. Вера, мне кажется, знает это. Но, по-моему, вы никогда не видели, чтобы я падал духом. Я вообще не думаю обо всем этом. Смерть всегда тяжела только для живых, для тех, кто остается. Так что мне следовало бы пожелать вам быть сильными и стойкими. Обнимаю и целую всех вас, до свидания.

Ваш *Юля.*

Бауцен, 8. 8. 1943

Моя милая Густина!

Я получил разрешение написать тебе несколько строк и спешу тотчас же сделать это. Либа писала мне, что ты уже в другом месте. Знаешь ли ты, моя милая, что мы недалеко друг от друга? Если бы ты утром вышла из Терезина и пошла на север, а я из Бауцена — на юг, к вечеру мы могли бы встретиться. То-то кинулись бы друг к другу, не правда ли? В общем, мы путешествуем по местам, связанным с прошлым моей семьи: ты в Терезине, где дядя был так прославлен, а меня перевезут в Берлин, где он умер. Не думаю, однако, что все Фучики должны умирать в Берлине.

Либа тебе, наверное, уже писала, как я живу, о том, что я один в камере и делаю пуговицы. В углу камеры, около пола, живет паучок, а за моим окном устроилась парочка синиц, близко, совсем близко, так что я даже слышу писк птенцов. Теперь они уже вывелись, а сколько было с ними забот! Я при этом вспоминал, как ты переводила мне щебетанье птиц на человеческий язык. Моя дорогая, часами я говорю с тобой и жду и мечтаю о том времени, когда мы сможем беседовать не в письмах. О многом мы тогда поговорим! Моя милая, маленькая, будь сильной и стойкой. Горячо обнимаю и целую тебя. До свидания.

Твой *Юля.*

Берлин, Плётцензее.
31 августа 1943

Мои милые!

Как вам, наверное, известно, я уже в другом месте. 23 августа я ждал в Бауцене письма от вас, а вместо него дождался вызова в Берлин. 24.8 я уже ехал туда через Герлиц и Котбус, утром 25.8 был суд, и к полудню все уже было готово. Кончилось, как я ожидал. Теперь я вместе с одним товарищем сижу в камере на Плётцензее. Мы клеим бумажные кульки, поем и ждем своей очереди.

Остается несколько недель, но иногда это затягивается на несколько месяцев. Надежды опадают тихо и мягко, как увядшая листва. Людям с лирической душой при виде опадающей листвы иногда становится тоскливо. Но дереву не больно. Все это так естественно, так просто. Зима готовит для себя и человека, и дерево. Верьте мне, то, что произошло, ничуть не лишило меня радости, она живет во мне и ежедневно проявляется каким-нибудь мотивом из Бетховена. Человек не становится меньше оттого, что ему отрубят голову. Я горячо желаю, чтобы после того, как все будет кончено, вы вспоминали обо мне не с грустью, а радостно, так, как я всегда жил. За каждым когда-нибудь закроется дверь. Подумайте, как быть с отцом: следует ли вообще говорить или дать понять ему об этом? Лучше было бы ничем не тревожить его старости. Решите это сами, вы теперь ближе к нему и к маме.

Напишите мне, пожалуйста, что с Густиной, и передайте ей мой самый нежный привет. Пусть всегда будет твердой и стойкой и пусть не останется наедине со своей великой любовью, которую я всегда чувствую. В ней еще так много молодости и чувств, и она не должна остаться вдовой. Я всегда хотел, чтобы она была счастлива, хочу, чтобы она была счастлива и без меня. Она скажет, что это невозможно. Но это возможно. Каждый человек заменим. Незаменимых нет, ни в труде, ни в чувствах. Все это вы не передавайте ей сейчас. Подождите, пока она вернется, если она вернется.

Вы, наверное, хотите знать (уж я вас знаю!), как мне сейчас живется. Очень хорошо живется. У меня есть работа, и к тому же в камере я не один, так что время идет быстро... даже слишком быстро, как говорит мой товарищ.

А теперь, мои милые, горячо обнимаю и целую вас всех и — хотя сейчас это уже звучит немного странно — до свидания.

Ваш *Юля*.

КОММЕНТАРИИ

Стр. 9. В 1925 г. в г. Пишпеке, ныне г. Фрунзе, в Киргизии, группой чехословацких трудящихся, выехавших в СССР по призыву КПЧ для участия в восстановлении и развитии народного хозяйства Страны Советов, был создан производственный кооператив «Интергельпо». Чехословацкие рабочие привезли с собой машины и оборудование, приобретенные на средства от сборов среди трудящихся Чехословакии, и вместе с советскими рабочими начали ремонтировать сельскохозяйственные машины, производить инструменты, мебель, ткать сукно, выделывать кожи и др.

Стр. 30. Цоргибель — полицей-президент Берлина, социал-демократ, приказавший в 1928 году открыть огонь во время первомайской демонстрации по безоружным рабочим.

Стр. 32. «Шмоки» — продажные и беспринципные журналисты и издания в Австро-Венгрии, по имени героя романа Фрейтага «Журналист».

Стр. 36. Градчаны — пражский Кремль, резиденция президента республики.

Стр. 39. Речь идет о делегации чехословацких трудящихся, которая по приглашению коммуны «Интергельпо» из города Фрунзе посетила в 1930 году СССР. В составе этой делегации был и Юлиус Фучик, который откликнулся на эту поездку книгой «В стране, где завтра является уже вчерашним днем», а также многочисленными статьями и докладами.

Стр. 43. Господа Прейссы и Левенштейны — политические и финансовые заправилы Чехословакии времен буржуазной республики. Ярослав Прейсс был руководителем промышленного концерна Живностенского банка и Центрального союза промышленников. Карл Левенштейн — крупный немецкий помещик, имевший поместья также и в Чехии. Лидер немецкого католического дворянства.

Стр. 45. Иван Секанина (1900—1940) — крупный адвокат и публицист, один из основателей Левого фронта в Чехословакии, защитник рабочих и организатор прогрессивной интеллигенции. В 1939 году был арестован фашистами и замучен в Заксенхаузене. Иван Секанина явился прообразом Гамзы, главного героя трилогии Марии Пуймановой «Люди на перепутье», «Игра с огнем», «Жизнь против смерти».

Стр. 46. Ян Гарус (1892—1967) — член КПЧ со времени ее основания, по профессии стекольщик. Неоднократно преследовался буржуазными властями. В 30-е годы эмигрировал в СССР, во время второй мировой войны вступил в ряды Красной Армии, а позднее сражался в рядах Чехословацкого корпуса, сформированного в СССР, против фашистов.

Стр. 47. Речь идет об игре слов. «Долейш», «Долейши» по-чешски означает «нижний», «нижайший», сравнит. степень от прилагат. «нижний».

Стр. 53. Отчет в тот же день был «иммунизован». По существовавшим во времена буржуазной республики в Чехословакии законам только речь, произнесенная в парламенте, пользовалась правами «иммунитета», то есть не могла быть запрещена обычной цензурой.

Стр. 76. Франтишек Соукуп (1871—1940) — редактор газеты «Право лиду», после 1918 года — министр юстиции, в 1929—1930 годах — председатель чехословацкого сената. Будучи членом социал-демократической партии, занимал в ней крайне правую позицию.

Стр. 76. Клофач — основатель и председатель партии национальных социалистов в Чехословакии времен буржуазной республики.

Стр. 78. Письмо адресовано Курту Конраду (1908—1941), историку-марксисту и публицисту. Во время отсутствия Ю. Фучика К. Конрад возглавлял журнал «Творба». В 1941 году К. Конрад был казнен фашистами.

Стр. 79. В начале 30-х годов Ю. Фучик неоднократно нелегально посещал Германию и писал в чешских коммунистических газетах о борьбе немецкого пролетариата против нарастающей угрозы фашизма.

Стр. 80. Имеется в виду книга об СССР «В стране, где завтра является уже вчерашним днем», которую в это время заканчивал Фучик. Книга была издана в брошюрах в 1930 году, книгой — в 1931-м.

Стр. 82. Ружена Свободова (1868—1920) — известная чешская писательница, автор психологических повестей и романов.

Стр. 83. Стршибрный и Клофач являлись лидерами национально-социалистической партии. Иржи Стршибрный был одновременно журналистом. В 1926 году он основал партию Славянские национальные социалисты, которая с 1930 года стала называться Национальной лигой, в 1935 году вошла в фашистское Национальное объединение.

Стр. 85. Богумир Шмераль (1880—1941) — один из основателей Коммунистической партии Чехословакии, политический деятель и публицист.

Стр. 105. «Где родина моя» — первая строка национального гимна Чехословакии (слова И. К. Тыла из пьесы «Фидловачка»), «...всюду — словно рай земной» — также слова из гимна.

Стр. 132. Э. Торглер позднее изменил делу рабочего класса и помогал фашистскому суду фабриковать ложные обвинения против Компартии. В 1935 году исключен из КПГ.

Стр. 173. Йозеф Стивин (1879—1941) — редактор газеты «Право лиду», в течение длительного времени депутат и заместитель председателя Национального собрания Чехословакии времен буржуазной республики, автор реформистской программы социал-демократической партии.

Стр. 183. Имеется в виду пресса фашистской реакции, аграрной реакции и прежде всего газета «Венков».

Стр. 184. Карол Сидор — главный редактор фашистского журнала «Словак».

Стр. 197. Враный, Каганек, Стоупал — реакционные журналисты и общественные деятели в буржуазной Чехословакии.

Стр. 204. Франтишек Лангер (1888—1965) — народный художник Чехословакии, во времена Первой республики был членом разных прогрессивных некоммунистических органов, основывал вместе с Ярославом Гашеком Партию мирного прогресса в рамках закона.

Стр. 204. Франтишек Кс. Шальда (1867—1937) — крупнейший чешский критик и прогрессивный деятель в области культуры.

Стр. 204. Богумил Заградник-Бродский (1862—1939) — советник министерства образования Чехословакии времен Первой респуб-

лики и третьеразрядный писатель, игнорировавший эстетическую ценность произведений.

Стр. 204. В газетах Враного, Каганка, Стоупала — имеются в виду реакционные газеты «Поледни лист», «Народни листы» и «Венков».

Стр. 226. Битва на Белой горе под Прагой произошла в 1620 году, во время которой чешские войска потерпели поражение от Габсбургов и Чехия на 300 лет, вплоть до 28 октября 1918 года, потеряла самостоятельность, попав под власть австрийской династии.

Стр. 227. Ян Амос Коменский (1592—1670) — великий чешский педагог. Основные произведения: «Великая дидактика» (1657), «Видимый мир в картинках» (1658) и др. После белогорской битвы вместе с чешскими братьями вынужден был скитаться, а потом покинуть родину. В эмиграции продолжал служить своему народу и делу его национального освобождения.

Стр. 237. Вторая республика — существовала в период с 30 сентября 1938 года (когда было подписано Мюнхенское соглашение между Германией, Францией, Великобританией и Италией об отторжении почти трети территории Чехословакии в пользу Германии) до 15 марта 1939 года, после чего Чехия и Моравия были целиком оккупированы немецко-фашистскими войсками.

Стр. 244. Первая республика — период со дня возникновения Чехословацкой республики (28 октября 1918 года) до Мюнхенского соглашения (30 сентября 1938 года).

Стр. 252. Имеется в виду Ян Неруда. Стихотворение Неруды «Вперед», цитируемое здесь, дается в переводе Николая Асеева.

Стр. 253. Имеется в виду великий чешский композитор Бедржих Сметана, автор национального гимна Чехословакии.

Стр. 253. Под великим немецким драматургом подразумевается Лессинг.

Стр. 259. Ладислав Файерабенд — один из лидеров реакционной аграрной партии, министр протекторатного, а позднее лондонского правительства Чехословакии.

Стр. 285. Имеется в виду Мюнхенское соглашение от 30 сентября 1938 года (см. прим. к стр. 237).

Стр. 288. «Соколы» — члены буржуазной спортивной организации «Сокол».

СОДЕРЖАНИЕ

---

* Материалы, отмеченные звездочкой, публикуются на русском языке впервые.

ЮЛИУС ФУЧИК

ИЗБРАННОЕ

Книга 1

Составитель *С. И. КОЛЕСНИКОВ*

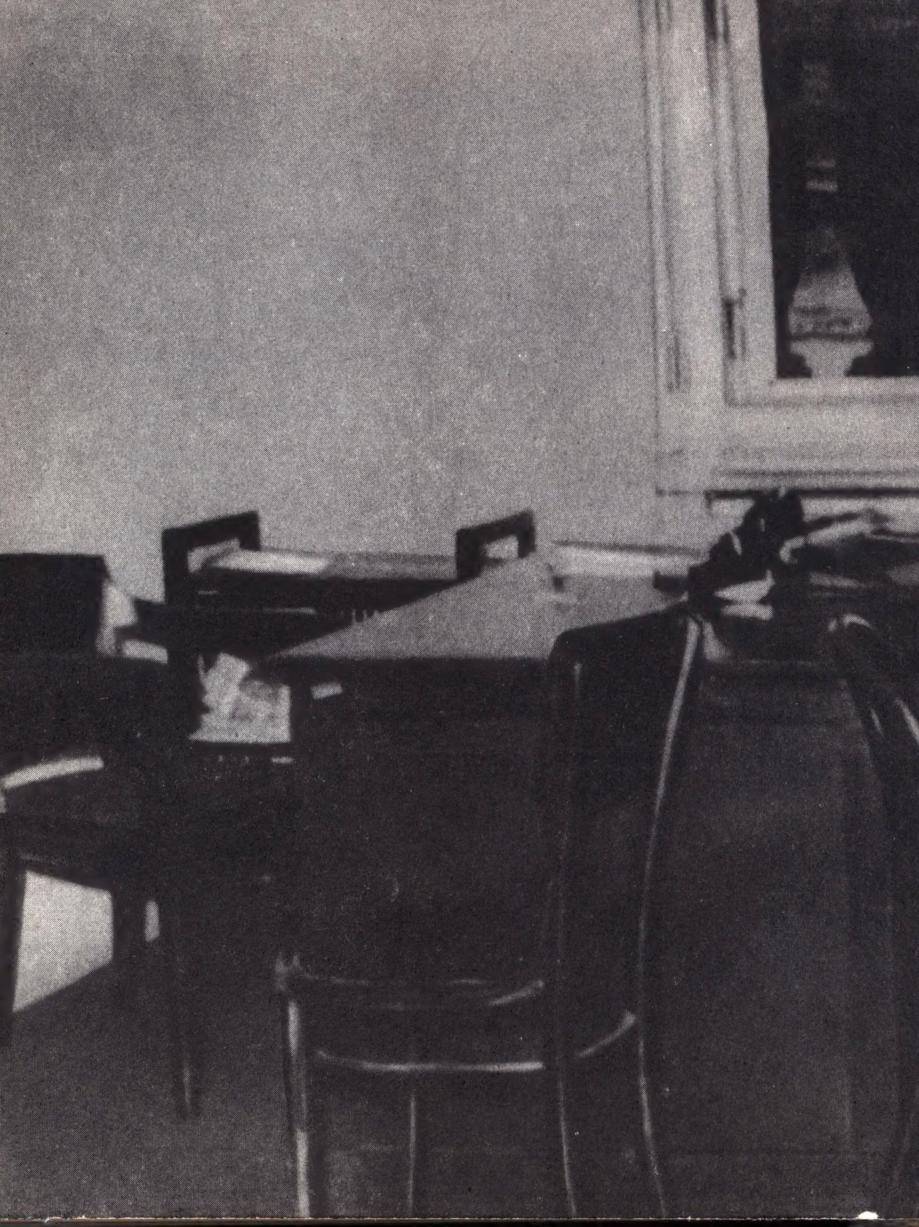
Заведующий редакцией *А. В. Никольский*
Редактор *Т. Г. Климова*
Младший редактор *Е. Б. Бурковская*
Художник *Е. А. Андрусенко*
Художественный редактор *В. И. Терещенко*
Технический редактор *Ю. А. Мухин*

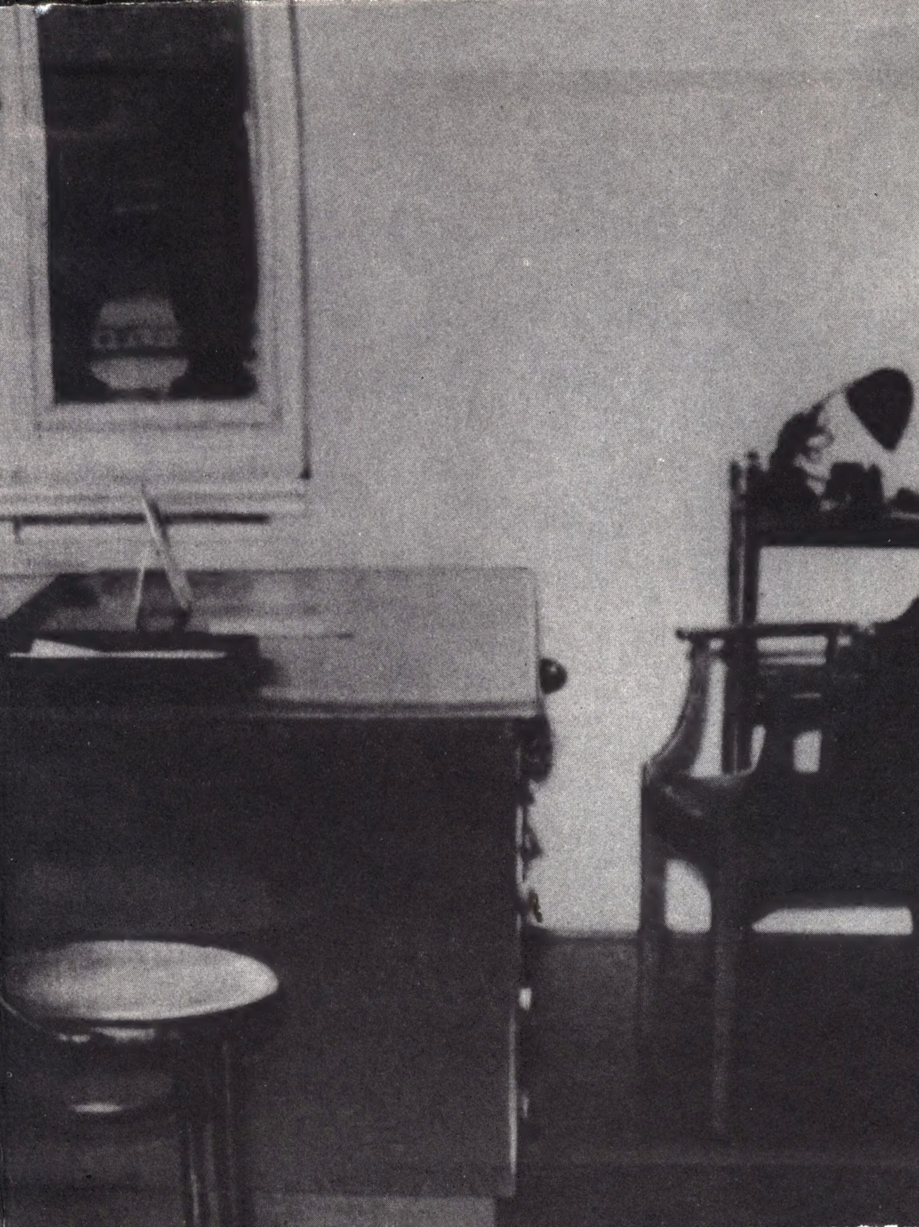
ИБ № 4103

Сдано в набор 09.09.82. Подписано в печать 18.11.82. Формат 70×108 1/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Условн. печ. л. 18,90. Условн. кр.-отт. 19,95, в суперобложке 20,21. Учетно-изд. л. 18,85. Тираж 100 тыс. экз. Заказ 2700. Цена 90 коп., в суперобложке 95 коп.

Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий». 103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.






70 коп.


ЮЛИУС
ФУЧИК
1